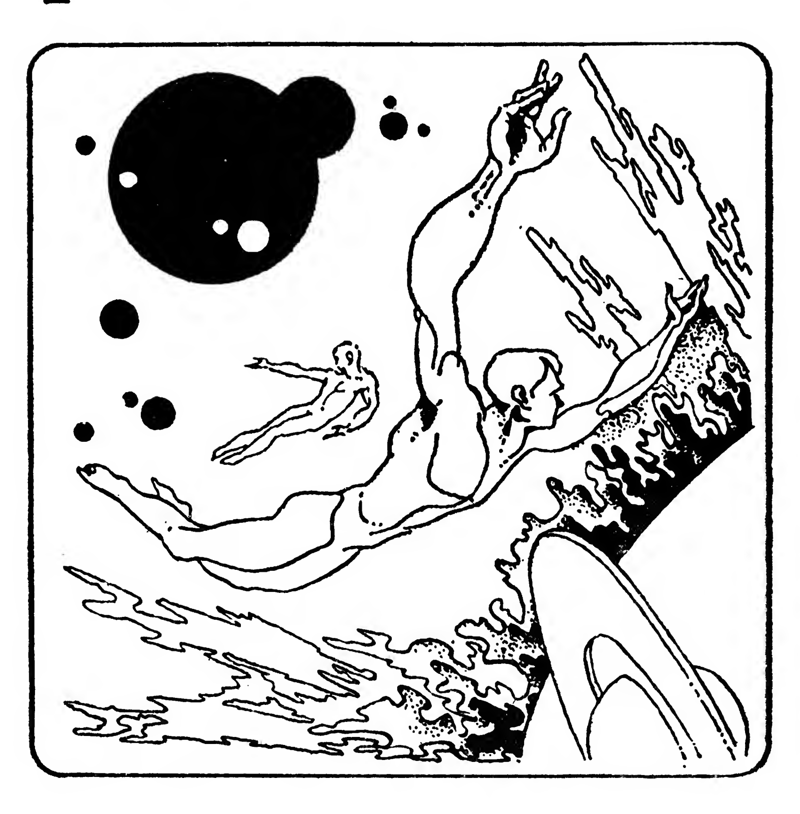
БИБЛИОТЕКА ЗНАНИЕ

научная фантастика



научная фантастика



Издательство «Знание» Москва 1985

ББК 84
Н 34

Научная фантастика. Сборник. 2-е изд.— М.: Знание, 1985.—352 с. (Библиотека «Знание»).
Н 34
1 р. 20 к. 150 000 экз.

В сборник включены лучшие из тех произведений советских писателей-фантастов, которые впервые были опубликованы в издательстве «Знание». Это рассказы известных писателей, чей путь в научной фантастике начался в 50—60-е годы (Г. Альтова, Д. Биленкина, Е. Войскунского и И. Лукодьянова, Г. Гуревича, А. Днепрова, М. Емцева и Е. Парнова), а также произведения писателей младшего поколения (В. Колупаева, Г. Шаха и других).
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Н $\frac{4700000000—195}{073(02)—85}$ Без объяв.

ББК 84
Сб.

наука



ОБ АВТОРАХ РАЗДЕЛА «НАУКА»

Гансовский Север Феликсович (1918). Писатель, член ССП СССР. По образованию филолог. Живет в Москве. Автор романов, повестей, рассказов, пьес. Дебютировал в фантастике в 1960 г. С тех пор вышли книги «Шаги в неизвестное» (1963), «Шесть гениев» (1965), «Три шага к опасности» (1969), «Идет человек» (1971), «Человек, который сделал Балтийское море» (1981).

Днепров (Мицкевич) Анатолий Петрович (1919—1975). Математик, кандидат физико-математических наук. Жил в Москве, работал в системе АН СССР. Дебютировал в фантастике в 1958 г. Автор научно-фантастических книг «Уравнение Максвелла» (1960), «Мир, в котором я исчез» (1962), «Формула бессмертия» (1963, 1972). «Пурпурная мумия» (1965), «Пророки» (1971).

Емцев Михаил Тихонович (1930), **Парнов** Еремей Иудович (1935). М. Емцев по образованию химик. Писатель, член ССП. Живет в Москве. Е. Парнов по образованию физико-химик, кандидат химических наук. Писатель, член ССП. Член Исполкома Всемирной организации писателей-фантастов. Живет в Москве. М. Емцевым и Е. Парновым в соавторстве написаны научно-фантастические книги «Падение сверхновой» (1964), «Уравнение с Бледного Нептуна» (1964), «Последнее путешествие полковника Фосетта» (1965), «Зеленая креветка» (1966), «Море Дирака» (1967), «Ярмарка теней» (1968), «Три кварка» (1969), «Клочья тьмы на игле времени» (1970). Е. Парнов автор книг о научной фантастике («Фантастика в век НТР» (1974), «Зеркало Урании» (1982).

Росоховатский Игорь Маркович (1929). Журналист, автор многих книг и статей. По образованию педагог. Живет в Киеве. Работает в редакции газеты «Юный ленинец». Дебютировал в фантастике в 1958 г. Автор научно-фантастических книг «Загадка «Акулы» (1962), «Встречи во времени» (1963), «Виток истории» (1966), «Справа командора» (1967, на укр. яз.), «Каким ты вернешься?» (1971), «Гость» (1979).

Войскунский Евгений Львович (1922), **Лукодьянов** Исай Борисович (1913—1984). Писали в соавторстве. Е. Войскунский — писатель, член ССП. Служил на флоте, заочно окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Живет в Москве. Автор книг о военных моряках, о морских путешествиях. И. Лукодьянов был инженером-механиком. Жил в Баку. Е. Войскунский и И. Лукодьянов дебютировали в фантастике в 1961 г. Авторы повестей и рассказов, опубликованных в периодике, а также научно-фантастических книг «Экипаж «Меконга» (1962), «На перекрестках времени» (1964), «Очень далекий Тартесс» (1968), «Плеск звездных морей» (1970), «Ур, сын Шама» (1975), «Незаконная планета» (1980), «Черный столб» (1981).

Альтов Генрих Саулович (1926). Инженер-изобретатель, автор полутора десятков изобретений. Живет в Баку. Преподает основы теории изобретательства. В фантастике дебютировал в 1957 г. Некоторые произведения написаны в соавторстве с В. Журавлевой. Автор научно-фантастических книг «Легенды о звездных капитанах» (1961), «Опаляющий разум» (1968), «Создан для бури» (1971) и нескольких десятков рассказов в антологиях и периодике.

С. ГАНСОВСКИЙ

День гнева

Председатель комиссии. Вы читаете на нескольких языках, знакомы с высшей математикой и можете выполнять кое-какие работы. Считаете ли вы, что это делает вас Человеком?
Отарк. Да, конечно. А разве люди знают что-нибудь еще?

Из допроса отарка.
Материалы Государственной комиссии

Двое всадников выехали из поросшей густой травой долины и начали подниматься в гору. Впереди на горбоносом чалом жеребце лесничий, а Дональд Бетли на рыжей кобыле за ним. На каменистой тропе кобыла споткнулась и упала на колени. Задумавшийся Бетли чуть не свалился, потому что седло — английское скаковое седло с одной подпругой — съехало лошади на шею.

Лесничий подождал его наверху.

— Не позволяйте ей опускать голову, она спотыкается.

Бетли, закусив губу, бросил на него досадливый взгляд. Черт возьми, об этом можно было предупредить и раньше! Он злился также и на себя, потому что кобыла обманула его. Когда Бетли ее седлал, она надула брюхо, чтобы потом подпруга была совсем свободной.

Он так натянул повод, что лошадь заплясала и подала назад.

Тропа опять стала ровной. Они ехали по плоскогорью, и впереди поднимались одетые хвойными лесами вершины холмов.

Лошади шли длинным шагом, иногда сами переходя на рысь и стараясь перегнать друг друга. Когда кобылка выдвигалась вперед, Бетли делались видны загорелые, чисто выбритые худые щеки лесничего и его угрюмые глаза, устремленные на дорогу. Он как будто вообще не замечал своего спутника.

«Я слишком непосредствен,— думал Бетли.— И это мне мешает. Я с ним заговаривал уже раз пять, а он либо отвечает мне односложно, либо вообще молчит. Не ставит

меня ни во что. Ему кажется, что если человек разговорчив, значит, он болтун и его не следует уважать. Просто они тут в глуши не знают меры вещей. Думают, что это ничего не значит — быть журналистом. Даже таким журналистом, как... Ладно, тогда я тоже не буду к нему обращаться. Плевать!..»

Но постепенно настроение его улучшилось. Бетли был человек удачливый и считал, что всем другим должно так же нравиться жить, как и ему. Замкнутость лесничего его удивляла, но вражды к нему он не чувствовал.

Погода, с утра дурная, теперь прояснилась. Туман рассеялся. Мутная пелена в небе разошлась на отдельные облака. Огромные тени быстро бежали по темным лесам и ущельям, и это подчеркивало суровый, дикий и какой-то свободный характер местности.

Бетли похлопал кобылку по влажной, пахнущей потом шее.

— Тебе, видно, спутывали передние ноги, когда отпускали в ночное, и от этого ты спотыкаешься. Ладно, мы еще столкуемся.

Он дал лошади повода и нагнал лесничего.

— Послушайте, мистер Меллер, а вы и родились в этих краях?

— Нет,— сказал лесничий, не оборачиваясь.

— А где?

— Далеко.

— А здесь давно?

— Давно,— Меллер повернулся к журналисту.— Вы бы лучше потише разговаривали. А то они могут услышать.

— Кто они?

— Отарки, конечно. Один услышит и передаст другим. А то и просто может подстеречь, прыгнуть сзади и разорвать... Да и вообще лучше, если они не будут знать, зачем мы сюда едем.

— Разве они часто нападают? В газетах писали, таких случаев почти не бывает.

Лесничий промолчал.

— А они нападают сами? — Бетли невольно оглянулся. — Или стреляют тоже? Вообще оружие у них есть? Винтовки или автоматы?

— Они стреляют очень редко. У них же руки не так устроены... Тьфу, не руки, а лапы! Им неудобно пользоваться оружием.

— Лапы,— повторил Бетли.— Значит, вы их здесь за людей не считаете?

— Кто? Мы?

— Да, вы. Местные жители.

Лесничий сплюнул.

— Конечно, не считаем. Их здесь ни один человек за людей не считает.

Он говорил отрывисто. Но Бетли уже забыл о своем решении держаться замкнуто.

— Скажите, а вы с ними разговаривали? Правда, что они хорошо говорят?

— Старые хорошо. Те, которые были еще при лаборатории... А молодые хуже. Но все равно, молодые еще опаснее. Умнее, у них и головы в два раза больше.— Лесничий вдруг остановил коня. В голосе его была горечь. — Послушайте, зря мы все это обсуждаем. Все напрасно. Я уже десять раз отвечал на такие вопросы.

— Что напрасно?

— Да вся эта наша поездка. Ничего из нее не получится. Все останется, как прежде.

— Но почему останется? Я приехал от влиятельной газеты. У нас большие полномочия. Материал готовится для сенатской комиссии. Если выяснится, что отарки действительно представляют такую опасность, будут приняты меры. Вы же знаете, что на этот раз собираются послать войска против них.

— Все равно ничего не выйдет,— вздохнул лесничий.— Вы же не первый сюда приезжаете. Тут через год кто-нибудь бывает, и все интересуются только отарками. Но не людьми, которым приходится с отарками жить. Каждый спрашивает: «А правда, что они могут изучить геометрию?.. А верно, что есть отарки, которые понимают теорию относительности?» Как будто это имеет какое-нибудь значение! Как будто из-за этого их не нужно уничтожать!

— Но я для того и приехал,— начал Бетли,— чтобы подготовить материал для комиссии. И тогда вся страна узнает, что...

— А другие, вы думаете, не готовили материалов? — перебил его Меллер.— Да и кроме того... Кроме того, как вы поймете здешнюю обстановку? Тут жить нужно, чтобы понять. Одно дело проехаться, а другое — жить все время. Эх!.. Да что говорить! Поедем.— Он тронул коня.— Вот

отсюда уже начинаются места, куда они заходят. Вот от этой долины.

Журналист и лесничий были теперь на крутизне. Тропинка, змеясь, уходила из-под копыт коней все вниз и вниз. Далеко под ними лежала заросшая кустарником долина, перерезанная вдоль быстрой узкой речкой. Сразу от нее вверх поднималась стена леса, а за ней — в необозримой дали — забеленные снегами откосы Главного хребта.

Местность просматривалась отсюда на десятки километров, но нигде Бетли не мог заметить и признака жизни — ни дымка из трубы, ни стога сена. Казалось, край вымер.

Солнце скрылось за облаком, сразу стало холодно, и журналист вдруг почувствовал, что ему не хочется спускаться вниз за лесничим. Он зябко передернул плечами. Ему вспомнился теплый, нагретый воздух его городской квартиры, светлые и тоже теплые комнаты редакции. Но потом он взял себя в руки: «Ерунда! Я бывал и не в таких переделках. Чего мне бояться? Я прекрасный стрелок, у меня великолепная реакция. Кого еще они могли бы послать, кроме меня?» Он увидел, что Меллер взял из-за спины ружье, и сделал то же самое со своим.

Кобыла осторожно переставляла ноги на узкой тропе.

Когда они спустились, Меллер сказал:

— Будем стараться ехать рядом. Лучше не разговаривать. Часам к восьми нужно добраться до фермы Стеглика. Там переночуем.

Они тронулись и ехали около двух часов молча. Поднялись вверх и обогнули Маунт-Беар так, что справа у них все время была стена леса, а слева обрыв, поросший кустарником, но таким мелким и редким, что там никто не мог прятаться. Спустились к реке и по каменистому дну выбрались на асфальтированную, заброшенную дорогу, где асфальт потрескался и в трещинах пророс травой.

Когда они были на этом асфальте, Меллер вдруг остановил коня и прислушался. Затем он спешился, стал на колени и приложил ухо к дороге.

— Что-то неладно,— сказал он, поднимаясь.— Кто-то за нами скачет. Уйдем с дороги.

Бетли тоже спешился, и они отвели лошадей за канаву в заросли ольхи.

Минуты через две журналист услышал цокот копыт.

Он приближался. Чувствовалось, что всадник гонит вовсю.

Потом через жухлые листья они увидели серую лошадь, скачущую торопливым галопом. На ней неумело сидел мужчина в желтых верховых брюках и дождевике. Он проехал так близко, что Бетли хорошо рассмотрел его лицо и понял, что видел уже этого мужчину. Он даже вспомнил, где. Вечером в городке возле бара стояла компания. Человек пять или шесть, плечистых, крикливо одетых. И у всех были одинаковые глаза. Ленивые, полузакрытые, наглые. Журналист знал эти глаза— глаза гангстеров.

Едва всадник проехал, Меллер выскочил на дорогу.

— Эй!

Мужчина стал осаживать лошадь и остановился.

— Эй, подожди!

Всадник вгляделся, узнал, очевидно, лесничего. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Потом мужчина махнул рукой, повернул лошадь и поскакал дальше.

Лесничий смотрел ему вслед, пока звук копыт не затих вдали. Потом он вдруг со стоном ударил себя кулаком по голове.

— Вот теперь-то уже ничего не получится! Теперь наверняка.

— А что такое? — спросил Бетли. Он тоже вышел из кустов.

— Ничего... Просто теперь конец нашей затее.

— Но почему? — Журналист посмотрел на лесничего и с удивлением увидел в его глазах слезы.

— Теперь все кончено,— сказал Меллер, отвернулся и тыльной стороной кисти вытер глаза.— Ах, гады! Ах, гады!

— Послушайте! — Бетли тоже начал терять терпение.— Если вы так будете нервничать, пожалуй, нам действительно не стоит ехать.

— Нервничать! — воскликнул лесничий.— По-вашему, я нервничаю? Вот посмотрите!

Взмахом руки он показал на еловую ветку с красными шишками, свесившуюся над дорогой шагах в тридцати от них.

Бетли еще не понял, зачем он должен на нее смотреть, как грянул выстрел, в лицо ему пахнул пороховой

дымок, и самая крайняя, отдельно висевшая шишка свалилась на асфальт.

— Вот как я нервничаю.— Меллер пошел в ольшаник за конем.

Они подъехали к ферме как раз, когда начало темнеть.

Из бревенчатого недостроенного дома вышел высокий чернобородый мужчина с всклокоченными волосами и стал молча смотреть, как лесничий и Бетли расседлывают лошадей. Потом на крыльце появилась женщина, рыжая, с плоским невыразительным лицом и тоже непричесанная. А за ней — трое детей. Двое мальчишек восьми или девяти лет и девочка лет тринадцати, тоненькая, как нарисованная ломкой линией.

Все эти пятеро не удивились приезду Меллера и журналиста, не обрадовались и не огорчились. Просто стояли и молча смотрели. Бетли это молчание не понравилось.

За ужином он попытался завести разговор.

— Послушайте, как вы тут управляетесь с отарками? Очень они вам досаждают?

— Что? — чернобородый фермер приложил ладонь к уху и перегнулся через стол.— Что? — крикнул он.— Говорите громче. Я плохо слышу.

Так продолжалось несколько минут, и фермер упорно не желал понимать, чего от него хотят. В конце концов он развел руками. Да, отарки здесь бывают. Мешают ли они ему? Нет, лично ему не мешают. А про других он не знает. Не может ничего сказать.

В середине этого разговора тонкая девочка встала, запахнулась в платок и, не сказав никому ни слова, вышла.

Как только все тарелки опустели, жена фермера принесла из другой комнаты два матраса и принялась стелить для приезжих.

Но Меллер ее остановил:

— Пожалуй, мы лучше переночуем в сарае.

Женщина, не отвечая, выпрямилась. Фермер поспешно встал из-за стола.

— Почему? Переночуйте здесь.

Но лесничий уже брал матрасы.

В сарай высокий фермер проводил их с фонарем. С минуту смотрел, как они устраиваются, и один момент на лице у него было такое выражение, будто он собирается что-то сказать. Но он только поднял руку и почесал голову. Потом ушел.

— Зачем все это? — спросил Бетли.— Неужели отарки и в дома забираются?

Меллер поднял с земли толстую доску и припер ею тяжелую крепкую дверь, проверив, чтобы доска не соскользнула.

— Давайте ложиться,— сказал он.— Всякое бывает. В дома они тоже забираются.

Журналист сел на матрас и принялся расшнуровывать ботинки.

— А скажите, настоящие медведи тут остались? Не отарки, а настоящие дикие медведи. Тут ведь вообще-то много медведей водится, в этих лесах?

— Ни одного,— ответил Меллер.— Первое, что отарки сделали, когда из лаборатории вырвались, с острова,— это они настоящих медведей уничтожили. Волков тоже. Еноты тут были, лисицы — всех в общем. Яду взяли в разбитой лаборатории, мелкоту ядом травили. Здесь по всей округе дохлые волки валялись — волков они почему-то не ели. А медведей сожрали всех. Они ведь и сами своих даже иногда едят.

— Своих?..

— Конечно, они ведь не люди. От них не знаешь, чего ждать.

— Значит, вы их считаете просто зверьми?

— Нет.— Лесничий покачал головой.— Зверьми мы их не считаем. Это только в городах спорят, люди они или звери. Мы-то здесь знаем, что они и ни то и ни другое. Понимаете, раньше было так: были люди и были звери. И все. А теперь есть что-то третье — отарки. Это в первый раз такое появилось за все время, пока мир стоит. Отарки не звери, хорошо, если б они были только зверьми. Но и не люди, конечно.

— Скажите,— Бетли чувствовал, что ему все-таки не удержаться от вопроса, банальность которого он понимал,— а верно, что они запросто овладевают высшей математикой?

Лесничий вдруг резко повернулся к нему.

— Слушайте, заткнитесь насчет математики, наконец! Заткнитесь! Я лично гроша ломаного не дам за того, кто знает высшую математику. Да, математика для отарков хоть бы хны! Ну и что?... Человеком нужно быть — вот в чем дело.

Он отвернулся и закусил губу.

«У него невроз,— подумал Бетли.— Да еще очень сильный. Он больной человек».

Но лесничий уже успокаивался. Ему было неудобно за свою вспышку. Помолчав, он спросил:

— Извините, а вы его видели?

— Кого?

— Ну, этого гения, Фидлера.

— Фидлера?.. Видел. Я с ним разговаривал перед самым выездом сюда. По поручению газеты.

— Его там, наверное, держат в целлофановой обертке? Чтобы на него капелька дождя не упала.

— Да, его охраняют.— Бетли вспомнил, как у него проверили пропуск и обыскали его в первый раз возле стены, окружающей Научный центр. Потом еще проверка и снова обыск — перед въездом в институт. И третий обыск — перед тем как впустить его в сад, где к нему и вышел сам Фидлер.— Его охраняют. Но он действительно гениальный математик. Ему тринадцать лет было, когда он сделал свои «Поправки к общей теории относительности». Конечно, он необыкновенный человек, верно ведь?

— А как он выглядит?

— Как выглядит?

Журналист замялся. Он вспомнил Фидлера, когда тот в белом просторном костюме вышел в сад. Что-то неловкое было в его фигуре. Широкий таз, узкие плечи. Короткая шея... Это было странное интервью, потому что Бетли чувствовал, что проинтервьюировали скорее его самого. То есть Фидлер отвечал на его вопросы. Но как-то несерьезно. Как будто он посмеивался над журналистом и вообще над всем миром обыкновенных людей там, за стенами Научного центра. И спрашивал сам. Но какие-то дурацкие вопросы. Разную ерунду вроде того, например, любит ли Бетли морковный сок. Как если бы этот разговор был экспериментальным — он, Фидлер, изучает обыкновенного человека.

— Он среднего роста,— сказал Бетли.— Глаза маленькие... А вы разве его не видели? Он же тут бывал, на озере и в лаборатории.

— Он приезжал два раза,— ответил Меллер.— Но с ним была такая охрана, что простых смертных и на километр не подпускали. Тогда еще отарков держали за загородкой и с ними работали Рихард и Клейн. Клейна они потом съели. А когда отарки разбежались, Фидлер здесь

уже не показывался... Что же он теперь говорит насчет отарков?

— Насчет отарков?.. Сказал, что то был очень интересный научный эксперимент. Очень перспективный. Но теперь он этим не занимается. У него что-то связанное с космическими лучами... Говорил еще, что сожалеет о жертвах, которые были.

— А зачем это все было сделано? Для чего?

— Ну, как вам сказать?.. — Бетли задумался.— Понимаете, в науке ведь так бывает: «А что, если?» Из этого родилось много открытий.

— В каком смысле — «А что, если?»

— Ну, например: «А что, если в магнитное поле поместить проводник под током?» И получился электродвигатель... Короче говоря, действительно эксперимент.

— Эксперимент,— Меллер скрипнул зубами.— Сделали эксперимент — выпустили людоедов на людей. А теперь про нас никто и не думает. Управляйтесь сами, как знаете. Фидлер уже плюнул на отарков и на нас тоже. А их тут расплодились сотни, и никто не знает, что они против людей замышляют.— Он помолчал и вздохнул: — Эх, подумать только, что пришло в голову! Сделать зверей, чтобы они были умнее, чем люди. Совсем уж обалдели там, в городах. Атомные бомбы, а теперь вот это. Наверное, хотят, чтобы род человеческий совсем кончился.

Он встал, взял заряженное ружье и положил рядом с собой на землю.

— Слушайте, мистер Бетли. Если будет какая-нибудь тревога, кто-нибудь станет стучаться к нам или ломиться, вы лежите, как лежали. А то мы друг друга в темноте перестреляем. Вы лежите, а я уж знаю, что делать. Я так натренировался, что, как собака, просыпаюсь от одного предчувствия.

Утром, когда Бетли вышел из сарая, солнце светило так ярко и вымытая дождиком зелень была такая свежая, что все ночные разговоры показались ему всего лишь страшными сказками.

Чернобородый фермер был уже на своем поле — его рубаха пятнышком белела на той стороне речки. На миг журналисту подумалось, что, может быть, это и есть счастье — вот так вставать вместе с солнцем, не зная тревог и забот сложной городской жизни, иметь дело только с рукояткой лопаты, с комьями бурой земли.

Но лесничий быстро вернул его к действительности. Он появился из-за сарая с ружьем в руке.

— Идемте, покажу вам одну штуку.

Они обошли сарай и вышли в огород с задней стороны дома. Тут Меллер повел себя странно. Согнувшись, перебежал кусты и присел в канаве возле картофельных гряд. Потом знаком показал журналисту сделать то же самое.

Они стали обходить огород по канаве. Один раз из дома донесся голос женщины, но что она говорила, было не разобрать.

Меллер остановился.

— Вот посмотрите.

— Что?

— Вы же говорили, что охотник. Смотрите!

На лысинке между космами травы лежал четкий пятипальный след.

— Медведь? — с надеждой спросил Бетли.

— Какой медведь? Медведей уже давно нет.

— Значит, отарк?

Лесничий кивнул.

— Совсем свежие,— прошептал журналист.

— Ночные следы,— сказал Меллер.— Видите, засырели. Это он еще до дождя был в доме.

— В доме? — Бетли почувствовал холодок в спине, как прикосновение чего-то металлического.— Прямо в доме?

Лесничий не ответил, кивком показал журналисту в сторону канавы, и они молча проделали обратный путь.

У сарая Меллер подождал, пока Бетли отдышится.

— Я так и подумал вчера. Еще когда мы вечерком приехали и Стеглик стал притворяться, что плохо слышит. Просто он старался, чтобы мы громче говорили и чтобы отарку все было слышно. А отарк сидел в соседней комнате.

Журналист почувствовал, что голос у него хрипнет.

— Что вы говорите? Выходит, здесь люди объединяются с отарками? Против людей же!

— Вы тише,— сказал лесничий.— Что значит «объединяются»? Стеглик ничего и не мог поделать. Отарк пришел и остался. Это часто бывает. Отарк приходит и ложится, например, на заправленную постель в спальне. А то и просто выгонит людей из дома и занимает его на сутки или на двое.

— Ну а люди-то что? Так и терпят? Почему они в них не стреляют?

— Как же стрелять, если в лесу другие отарки? А у фермера дети и скотина, которая на лугу пасется, и дом, который можно поджечь... Но главное — дети. Они же ребенка могут взять. Разве уследишь за малышами? И кроме того, они тут у всех ружья взяли. Еще в самом начале. В первый год.

— И люди отдали?

— А что сделаешь? Кто не отдавал, потом раскаялись...

Он не договорил и вдруг уставился на заросль ивняка шагах в пятнадцати от них.

Все дальнейшее произошло в течение двух-трех секунд.

Меллер вскинул ружье и взвел курок. Одновременно над кустарником поднялась бурая масса, сверкнули большие глаза, злые и испуганные, раздался голос:

— Эй, не стреляйте! Не стреляйте!

Инстинктивно журналист схватил Меллера за плечо. Грянул выстрел, но пуля только сбила ветку. Бурая масса сложилась вдвое, шаром прокатилась по лесу и исчезла между деревьями. Несколько мгновений слышался треск кустарника, потом все смолкло.

— Какого черта! — Лесничий в бешенстве обернулся.— Почему вы это сделали?

Журналист, побледневший, прошептал:

— Он говорил, как человек... Он просил не стрелять.

Секунду лесничий смотрел на него, потом гнев его сменился усталым равнодушием. Он опустил ружье.

— Да, пожалуй... В первый раз это производит впечатление.

Позади них раздался шорох. Они обернулись.

Жена фермера сказала:

— Пойдемте в дом. Я уже накрыла на стол.

Во время еды все делали вид, будто ничего не произошло.

После завтрака фермер помог оседлать лошадей. Попрощались молча. Покивали друг другу.

Когда они поехали, Меллер спросил:

— А какой у вас, собственно, план? Я толком и не понял. Мне сказали, что я должен проводить тут вас по горам, и все.

— Какой план?.. Да вот и проехать по горам. Повидать людей — чем больше, тем лучше. Познакомиться с

отарками, если удастся. Одним словом, почувствовать атмосферу.

— На этой ферме вы уже почувствовали?

Бетли пожал плечами.

Лесничий вдруг придержал коня.

— Тише...

Он прислушивался.

— За нами бегут... На ферме что-то случилось.

Бетли еще не успел поразиться слуху лесничего, как сзади раздался крик:

— Эй! Меллер, эй!

Они повернули лошадей, к ним, задыхаясь, бежал фермер. Он почти упал, взявшись за луку седла Меллера.

— Отарк взял Тину. Потащил к Лосиному оврагу.

Он хватал ртом воздух, со лба падали капли пота.

Одним махом лесничий подхватил фермера на седло. Его жеребец рванул вперед, грязь высоко брызнула из-под копыт.

Никогда прежде Бетли не подумал бы, что он может с такой быстротой мчаться на коне по пересеченной местности. Ямы, стволы поваленных деревьев, кустарники, канавы неслись под ним, сливаясь в каком-то бешеном, ломаном ритме. Где-то веткой с него сбило фуражку, он даже не заметил.

Впрочем, это и не зависело от него. Его лошадь в яростном соревновании старалась не отстать от жеребца. Бетли обхватил ее за шею. Каждую секунду ему казалось, что он сейчас будет убит.

Они проскакали лесом, большой поляной, косогором, обогнали жену фермера и спустились в большой овраг.

Тут лесничий спрыгнул с коня и, сопровождаемый фермером, побежал узкой тропкой в чащу редкого молодого просвечивающего сосняка.

Журналист тоже оставил кобылу, бросив повод ей на шею, и кинулся за Меллером. Он бежал за лесничим, и в уме у него автоматически отмечалось, как удивительно переменился тот. От прежней нерешительности и апатии Меллера не осталось ничего. Движения его были легкими и собранными, ни секунды не задумываясь, он менял направление, перескакивал ямы, подлезал под низкие ветви. Он двигался, как будто след отарка был проведен перед ним жирной меловой чертой.

Некоторое время Бетли выдерживал темп бега, потом стал отставать. Сердце у него прыгало в груди, он чувст-

вовал удушье и жжение в горле. Он перешел на шаг, несколько минут брел в чаще один, потом услышал впереди голоса.

В самом узком месте оврага лесничий стоял с ружьем наготове перед густой зарослью орешника. Тут же был отец девушки.

Лесничий сказал раздельно:

— Отпусти ее. Иначе я тебя убью.

Он обращался туда, в заросль.

В ответ раздалось рычание, перемежаемое детским плачем.

Лесничий повторил:

— Иначе я тебя убью. Я жизнь положу, чтобы тебя выследить и убить. Ты меня знаешь.

Снова раздалось рычание, потом голос — но не человеческий, а какой-то граммофонный, вяжущий все слова в одно,— спросил:

— А так ты меня не убьешь?

— Нет, — сказал Меллер.— Так ты уйдешь живой.

В чаще помолчали. Раздались только всхлипывания.

Потом послышался треск ветвей, белое мелькнуло в кустарнике. Из заросли вышла тоненькая девушка. Одна рука была у нее окровавлена, она придерживала ее другой.

Всхлипывая, она прошла мимо трех мужчин, не поворачивая к ним головы, и побрела, пошатываясь, к дому.

Все трое проводили ее взглядом.

Чернобородый фермер посмотрел на Меллера и Бетли. В его широко раскрытых глазах было что-то такое режущее, что журналист не выдержал и опустил голову.

— Вот, — сказал фермер.

Они остановились переночевать в маленькой пустой сторожке в лесу. До озера с островом, на котором когда-то была лаборатория, оставалось всего несколько часов пути, но Меллер отказался ехать в темноте.

Это был уже четвертый день их путешествия, и журналист чувствовал, что его испытанный оптимизм начинает давать трещины. Раньше на всякую случившуюся с ним неприятность у него наготове была фраза: «А все-таки жизнь чертовски хорошая штука». Но теперь он понимал, что это дежурное изречение, вполне годившееся, когда в комфортабельном вагоне едешь из одного города в другой или входишь через стеклянную дверь в

вестибюль отеля, чтобы встретиться с какой-нибудь знаменитостью, что это изречение решительно неприменимо для случая со Стегликом, например.

Весь край казался пораженным болезнью. Люди были апатичны, неразговорчивы. Даже дети не смеялись.

Однажды он спросил у Меллера, почему фермеры не уезжают отсюда. Тот объяснил, что все, чем местные жители владеют,— это земля. Но теперь ее невозможно было продать. Она обесценилась из-за отарков.

Бетли спросил:

— А почему вы не уезжаете?

Лесничий подумал. Он закусил губу, помолчал, потом ответил:

— Все же я приношу какую-то пользу. Отарки меня боятся. У меня ничего здесь нет. Ни семьи, ни дома. На меня никак нельзя повлиять. Со мной можно только драться. Но это рискованно.

— Значит, отарки вас уважают?

Меллер недоуменно поднял голову.

— Отарки?.. Нет, что вы! Уважать они тоже не могут. Они же не люди. Только боятся. И это правильно. Я же их убиваю.

Однако на известный риск отарки все-таки шли. Лесничий и журналист оба чувствовали это. Было такое впечатление, что вокруг них постепенно замыкается кольцо. Три раза в них стреляли. Один выстрел был сделан из окна заброшенного дома, а два — прямо из леса. Все три раза после неудачного выстрела они находили медвежьи следы. И вообще следы отарков попадались им все чаще и чаще с каждым днем...

В сторожке, в сложенном из камней маленьком очаге, они разожгли огонь и приготовили себе ужин. Лесничий закурил трубку, печально глядя перед собой.

Лошадей они поставили напротив раскрытой двери сторожки.

Журналист смотрел на лесничего. За то время пока они были вместе, с каждым днем все повышалось его уважение к этому человеку. Меллер был необразован, вся его жизнь прошла в лесах, он почти ничего не читал, с ним и двух минут нельзя было поддерживать разговора об искусстве. И тем не менее журналист чувствовал, что он не хотел бы себе лучшего друга. Суждения лесничего всегда были здравы и самостоятельны, если ему нечего было говорить, он молчал. Сначала он показался журна-

листу каким-то издерганным и раздражительно слабым, но теперь Бетли понимал, что это была давняя горечь за жителей большого заброшенного края, который по милости ученых постигла беда.

Последние два дня Меллер чувствовал себя больным. Его мучила болотная лихорадка. От высокой температуры лицо его покрылось красными пятнами.

Огонь прогорел в очаге, и лесничий неожиданно спросил:

— Скажите, а он молодой?

— Кто?

— Этот ученый, Фидлер.

— Молодой,— ответил журналист.— Ему лет тридцать. Не больше. А что?

— То-то и плохо, что он молодой,— сказал лесничий.

— Почему?

Меллер помолчал.

— Вот они, способные, их сразу берут и помещают в закрытую среду. И нянчатся с ними. А они жизни совсем не знают. И поэтому не сочувствуют людям.— Он вздохнул.— Человеком сначала надо быть. А потом уже ученым.

Он встал.

— Пора ложиться. По очереди придется спать. А то отарки у нас лошадей зарежут.

Журналисту вышло бодрствовать первому.

Лошади похрупывали сеном возле небольшого прошлогоднего стожка.

Он уселся у порога хижины, положив ружье на колени.

Темнота спустилась быстро, как накрыла. Потом глаза его постепенно привыкли к мраку. Взошла луна. Небо было чистое, звездное. Перекликаясь, где-то наверху пролетела стайка маленьких птичек, которые в отличие от крупных птиц, боясь хищников, совершают свои осенние кочевья по ночам.

Бетли встал и прошелся вокруг сторожки. Лес плотно окружал поляну, где стоял домик, и в этом была опасность. Журналист проверил, взведены ли курки у ружья.

Он стал перебирать в памяти события последных дней, разговоры, лица и подумал о том, как будет рассказывать об отарках, вернувшись в редакцию. Потом ему пришло в

голову, что, собственно, эта мысль о возвращении постоянно присутствовала в его сознании и окрашивала в совсем особый цвет все, с чем ему приходилось встречаться. Даже когда они гнались за отарком, схватившим девочку, он, Бетли, не забывал, что как ни жутко здесь, но он сможет вернуться, уйти от этого.

«Я-то вернусь,— сказал он себе.— А Меллер? А другие?..»

Но эта мысль была слишком сурова, чтобы он решился сейчас додумывать ее до конца.

Он сел в тень от сторожки и стал размышлять об отарках. Ему вспомнилось название статьи в какой-то газете: «Разум без доброты». Это было похоже на то, что говорил лесничий. Для него отарки не были людьми, потому что не имели «сочувствия». Разум без доброты. Но возможно ли это? Может ли вообще существовать разум без доброты? Что начальнее? Не есть ли эта самая доброта следствие разума? Или наоборот?.. Действительно, уже установлено, что отарки способнее людей к логическому мышлению, что они лучше понимают абстракцию и отвлеченность и лучше запоминают. Уже ходили слухи, что несколько отарков из первой партии содержатся в Военном министерстве и посажены там за решение каких-то особых задач. Но ведь и «думающие машины» тоже используются для решения всяких особых задач. И какая тут разница?

Он вспомнил, как один из фермеров сказал им с Меллером, что недавно видел почти совсем голого отарка, и лесничий ответил на это, что отарки в последнее время все больше делаются похожими на людей. Неужели они и в самом деле завоюют мир? Неужели Разум без Доброты сильнее человеческого разума?

«Но это будет не скоро,— сказал он себе.— Даже если и будет. Во всяком случае, я-то успею прожить и умереть».

Но затем его тотчас ударило: дети! В каком мире они будут жить — в мире отарков или в мире кибернетических роботов, которые тоже не гуманны и тоже, как утверждают некоторые, умнее человека?

Его сынишка внезапно появился перед ним и заговорил:

— Папа, слушай. Вот мы — это мы, да? А они — это они. Но ведь они тоже думают про себя, что они — мы?

«Что-то вы слишком рано созреваете,— подумал Бетли.— В семь лет я не задавал таких вопросов».

Где-то сзади хрустнула ветка. Мальчик исчез.

Журналист тревожно огляделся и прислушался. Нет, все в порядке.

Летучая мышь косым трепещущим полетом пересекла поляну.

Бетли выпрямился. Ему пришло в голову, что лесничий что-то скрывает от него. Например, он еще не сказал, что это был за всадник, который в первый день обогнал их на заброшенной дороге.

Он опять оперся спиной о стену домика. Еще раз сын появился перед ним и снова с вопросом:

— Папа, а откуда все? Деревья, дома, воздух, люди? Откуда все это взялось?

Он стал рассказывать мальчику об эволюции мироздания, потом что-то остро кольнуло в сердце и Бетли проснулся.

Луна зашла. Но небо уже немного посветлело.

Лошадей на поляне не было. Вернее, одной не было, а вторая лежала на траве, и над ней копошились три серые тени. Одна выпрямилась, и журналист увидел огромного отарка с крупной тяжелой головой, оскаленной пастью и большими, блещущими в полумраке глазами.

Потом где-то близко раздался шепот:

— Он спит.

— Нет, он уже проснулся.

— Подойди к нему.

— Он выстрелит.

— Он выстрелил бы раньше, если бы мог. Он либо спит, либо оцепенел от страха. Подойди к нему.

— Подойди сам.

А журналист действительно оцепенел. Это было как во сне. Он понимал, что случилось непоправимое, надвинулась беда, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Шепот продолжался:

— Но тот, другой. Он выстрелит.

— Он болен. Он не проснется... Ну, иди, слышишь!

С огромным трудом Бетли скосил глаза. Из-за угла сторожки показался отарк. Но этот был маленький, похожий на свинью.

Преодолевая оцепенение, журналист нажал на курки ружья. Два выстрела прогремели один за другим, две картечины унеслись в небо.

Бетли вскочил, ружье выпало у него из рук. Он бросился в сторожку, дрожа захлопнул за собой дверь и накинул щеколду.

Лесничий стоял с ружьем наготове. Его губы пошевелились, журналист скорее почувствовал, чем услышал вопрос:

— Лошади?

Он кивнул.

За дверью послышался шорох. Отарки чем-то подпирали ее снаружи.

Раздался голос:

— Эй, Меллер! Эй!

Лесничий метнулся к окошку, высунул было ружье. Тотчас черная лапа мелькнула на фоне светлеющего неба; он едва успел убрать двустволку.

Снаружи удовлетворенно засмеялись.

Граммофонный, растягивающий голос сказал:

— Вот ты и кончился, Меллер.

И, перебивая его, заговорили другие голоса:

— Меллер, Меллер, поговори с нами...

— Эй, лесник, скажи что-нибудь содержательное. Ты же человек, должен быть умным...

— Меллер, выскажись, и я тебя опровергну...

— Поговори со мной, Меллер. Называй меня по имени. Я Филипп...

Лесничий молчал.

Журналист неверными шагами подошел к окошку. Голоса были совсем рядом, за бревенчатой стеной. Несло звериным запахом — кровью, пометом, еще чем-то.

Тот отарк, который назвал себя Филиппом, сказал под самым окошком:

— Ты журналист, да? Ты, кто подошел?..

Журналист откашлялся. В горле у него было сухо.

Тот же голос спросил:

— Зачем ты приехал сюда?

Стало тихо.

— Ты приехал, чтобы нас уничтожили?

Миг опять была тишина, затем возбужденные голоса заговорили:

— Конечно, конечно, они хотят истребить нас... Сначала они сделали нас, а теперь хотят уничтожить...

Раздалось рычание, потом шум. У журналиста было такое впечатление, что отарки подрались.

Перебивая всех, заговорил тот, который называл себя Филиппом:

— Эй, лесник, что же ты не стреляешь? Ты же всегда стреляешь. Поговори со мной теперь.

Где-то сверху вдруг неожиданно ударил выстрел.

Бетли обернулся.

Лесничий взобрался на очаг, раздвинул жерди, из которых была сложена крыша, крытая сверху соломой, и стрелял.

Он выстрелил дважды, моментально перезарядил и снова выстрелил.

Отарки разбежались.

Меллер спрыгнул с очага.

— Теперь нужно достать лошадей. А то нам туго придется.

Они осмотрели трех убитых отарков.

Один, молодой, действительно был почти голый, шерсть росла у него только на загривке.

Бетли чуть не стошнило, когда Меллер перевернул отарка на траве. Он сдержался, схватившись за рот.

Лесничий сказал:

— Вы помните, что они не люди. Хоть они и разговаривают. Они людей едят. И своих тоже.

Журналист осмотрелся. Уже рассвело. Поляна, лес, убитые отарки — все на миг показалось ему нереальным.

Может ли это быть?.. Он ли это, Дональд Бетли, стоит здесь?..

— Вот здесь отарк съел Клейна,— сказал Меллер. — Это один из наших рассказывал, из местных. Его тут наняли уборщиком, когда была лаборатория. И в тот вечер он случайно оказался в соседней комнате. И все слышал...

Журналист и лесничий были теперь на острове, в главном корпусе Научного центра. Утром они сняли седла с зарезанных лошадей и по дамбе перебрались на остров. У них осталось теперь только одно ружье, потому что двустволку Бетли отарки, убегая, унесли с собой. План Меллера состоял в том, чтобы засветло дойти до ближайшей фермы, взять там лошадей. Но журналист выговорил у него полчаса на осмотр заброшенной лаборатории.

— Он все слышал,— рассказывал лесничий.— Это было вечером, часов в десять. У Клейна была какая-то установка, которую он разбирал, возясь с электрическими проводами, а отарк сидел на полу, и они разговаривали.

Обсуждали что-то из физики. Это был один из первых отарков, которых тут вывели, и он считался самым умным. Он мог говорить даже на иностранных языках... Наш парень мыл пол рядом и слышал их разговор. Потом наступило молчание, что-то грохнуло. И вдруг уборщик услышал: «О господи!..» Это говорил Клейн, и у него в голосе был такой ужас, что у парня ноги подкосились. Затем раздался истошный крик: «Помогите!» Уборщик заглянул в эту комнату и увидел, что Клейн лежит, извиваясь, на полу, а отарк гложет его. Парень от испуга ничего не мог делать и просто стоял. И только когда отарк пошел на него, он захлопнул дверь.

— А потом?

— Потом они убили еще двоих лаборантов и разбежались. А пять или шесть остались, как ни в чем не бывало. И когда приехала комиссия из столицы, они с ней разговаривали. Этих увезли. Но позже выяснилось, что они в поезде съели еще одного человека...

В большой комнате лаборатории все оставалось, как было. На длинных столах стояла посуда, покрытая слоем пыли, в проводах рентгеновской установки пауки сплели свои сети. Только стекла в окнах были выбиты, и в проломы лезли ветви разросшейся одичавшей акации.

Меллер и журналист вышли из главного корпуса.

Бетли очень хотелось посмотреть установку для облучения, и он попросил у лесничего еще пять минут.

Асфальт на главной улочке брошенного поселка пророс травой и молодым, сильным уже кустарником. Поосеннему было далеко видно и ясно. Пахло прелыми листьями и мокрым деревом.

На площади Меллер внезапно остановился.

— Вы ничего не слышали?

— Нет,— ответил Бетли.

— Я все думаю, как они все вместе стали осаждать нас в сторожке,— сказал лесничий.— Раньше такого никогда не было. Они всегда по одиночке действовали.

Он опять прислушался.

— Как бы они нам не устроили сюрприза. Лучше убираться отсюда поскорее.

Они дошли до приземистого круглого здания с узкими, забранными решеткой окнами. Массивная дверь была приоткрыта, бетонный пол у порога задернулся тонким ковриком лесного мусора — рыжими елочными иглами, пылью, крылышками мошкары.

Осторожно они вошли в первое помещение с нависающим потолком. Еще одна массивная дверь вела в низкий зал.

Они заглянули туда. Белка с пушистым хвостом, как огонек, мелькнула по деревянному столу и выпрыгнула в окно сквозь прутья решетки.

Миг лесничий смотрел ей вслед. Он прислушался, напряженно сжимая ружье, потом сказал:

— Нет, так не пойдет.

И поспешно двинулся обратно.

Но было поздно.

Снаружи донесся шорох, входная дверь, чавкнув, затворилась. Раздался шум, как если бы ее заваливали чем-нибудь тяжелым.

Секунду Меллер и журналист смотрели друг на друга, потом кинулись к окну.

Бетли выглянул наружу и отшатнулся.

Площадь и широкий высохший бассейн, неизвестно зачем когда-то построенный тут, заполнялись отарками. Их были десятки и десятки, новые вырастали, как из-под земли. Гомон уже стоял над этой толпой не людей и не зверей, раздавались крики, рычание.

Ошеломленные, лесничий и Бетли молчали.

Молодой отарк недалеко от них встал на задние лапы. В передних у него было что-то круглое.

— Камень,— прошептал журналист, все еще не веря случившемуся.— Он хочет бросить камень.

Но это был не камень.

Круглый предмет пролетел, возле решетки ослепительно блеснуло, горький дым пахнул в стороны.

Лесничий шагнул от окна. На лице его было недоумение. Ружье выпало из рук, он схватился за грудь.

— Ух ты, черт! — сказал он и поднял руку, глядя на окровавленные пальцы. — Ух ты, дьявол! Они меня прикончили.

Бледнея, он сделал два неверных шага, опустился на корточки, потом сел к стене.

— Они меня прикончили.

— Нет! — закричал Бетли.— Нет! — Он дрожал, как в лихорадке.

Меллер, закусив губы, поднял к нему белое лицо.

— Дверь!

Журналист побежал к выходу. Там, снаружи, уже опять передвигали что-то тяжелое.

Бетли задвинул один засов, потом второй. К счастью, тут все было устроено так, чтобы накрепко запираться изнутри.

Он вернулся к лесничему.

Меллер уже лежал у стены, прижав руки к груди. По рубахе у него расползалось мокрое пятно. Он не позволил перевязать себя.

— Все равно,— сказал он.— Я же чувствую, что конец. Неохота мучиться. Не трогайте.

— Но ведь к нам придут на помощь! — воскликнул Бетли.

— Кто?

Вопрос прозвучал так голо, так открыто и безнадежно, что журналист похолодел.

Они молчали некоторое время, потом лесничий спросил:

— Помните, мы всадника видели еще в первый день?

— Да.

— Скорее всего, это он торопился предупредить отарков, что вы приехали. Тут у них связь есть: бандиты в городе и отарки. Поэтому отарки объединились. Вы этому не удивляйтесь. Я-то знаю, что если бы с Марса к нам прилетели какие-нибудь осьминоги, и то нашлись бы люди, которые с ними стали бы договариваться.

— Да, — прошептал журналист.

Время до вечера протянулось для них без изменений. Меллер быстро слабел. Кровотечение у него остановилось. Он так и не позволил трогать себя. Журналист сидел с ним рядом на каменном полу.

Отарки оставили их. Не было попыток ни ворваться через дверь, ни кинуть еще гранату. Гомон голосов за окнами то стихал, то возникал вновь.

Когда спустилось солнце и стало прохладнее, лесничий попросил напиться. Журналист напоил его из фляжки и вытер ему лицо водой.

Лесничий сказал:

— Может быть, это и хорошо, что появились отарки. Теперь станет яснее, что же такое Человек. Теперь-то мы будем знать, что Человек — это не такое существо, которое может считать и выучить геометрию. А что-то другое. Уж очень ученые загордились своей наукой. А она еще не все.

Меллер умер ночью, а журналист жил еще три дня.

Первый день он думал только о спасении, переходил от отчаяния к надежде, несколько раз стрелял через окна, рассчитывая, что кто-нибудь услышит выстрелы и придет к нему на помощь.

К ночи он понял, что эти надежды иллюзорны. Его жизнь показалась ему разделенной на две никак не связанные между собой части. Больше всего его и терзало именно то, что они не были связаны никакой логикой и преемственностью. Одна жизнь была благополучной разумной жизнью преуспевающего журналиста, и она кончилась, когда он вместе с Меллером выехал из города к покрытым лесами горам Маунт-Беар. Эта первая жизнь никак не предопределяла, что ему придется погибнуть здесь на острове, в здании заброшенной лаборатории.

Во второй жизни все могло и быть и не быть. Она вся составилась из случайностей. И вообще ее целиком могло не быть. Он волен был и не поехать сюда, отказавшись от этого задания редактора и выбрав другое. Вместо того чтобы заниматься отарками, ему можно было вылететь в Нубию на работы по спасению древних памятников египетского искусства.

Нелепый случай привел его сюда. И это было самое жуткое.

Несколько раз он как бы переставал верить в то, что с ним произошло, принимался ходить по залу, трогать стены, освещенные солнцем, и покрытые пылью столы.

Отарки почему-то совсем потеряли интерес к нему. Их осталось мало на площади и в бассейне. Иногда они затевали драки между собой, а один раз Бетли с замиранием сердца увидел, как они набросились на одного из своих, разорвали его и принялись поедать.

Ночью он вдруг решил, что в его гибели будет виноват Меллер. Он почувствовал отвращение к мертвому лесничему и вытащил его тело в первое помещение к самой двери.

Час или два он просидел на полу, безнадежно повторяя:

— Господи, но почему же я?.. Почему именно я?..

На второй день у него кончилась вода, его стала мучить жажда. Но он уже окончательно понял, что спастись не может, успокоился, снова стал думать о своей жизни — теперь уже иначе. Ему вспомнилось, как еще в самом начале этого путешествия у него был спор с лесничим.

Меллер сказал ему, что фермеры не станут с ним разговаривать. «Почему?» — спросил Бетли. «Потому что вы живете в тепле, в уюте,— ответил Меллер.— Потому что вы из верхних. Из тех, которые предали их».— «Но почему я из верхних? — не согласился Бетли.— Денег я зарабатываю не на много больше, чем они?» — «Ну и что? — возразил лесничий.— У вас легкая, всегда праздничная работа. Все эти годы они тут гибли, а вы писали свои статейки, ходили по ресторанам, вели остроумные разговоры...»

Он понял, что все это была правда. Его оптимизм, которым он так гордился, был, в конце концов, оптимизмом страуса. Он просто прятал голову от плохого. Читал в газетах о казнях в Алжире, о голоде в Индии, а сам думал, как собрать денег и обновить мебель в своей большой пятикомнатной квартире, каким способом еще на одно деление повысить хорошее мнение о себе у того или другого влиятельного лица. Отарки — отарки-люди — расстреливали протестующие толпы, спекулировали хлебом, втайне готовили новые войны, а он отворачивался, притворялся, будто ничего такого нет.

С этой точки зрения вся его прошлая жизнь вдруг оказалась, наоборот, накрепко связанной с тем, что случилось теперь. Никогда не выступал он против зла, и вот настало возмездие.

На второй день отарки под окном несколько раз заговаривали с ним. Он не отвечал.

Один отарк сказал:

— Эй, выходи, журналист. Мы тебе ничего не сделаем.

А другой, рядом, засмеялся.

Бетли снова думал о лесничем. Но теперь это были уже другие мысли. Ему пришло в голову, что лесничий был герой. И, собственно говоря, единственный настоящий герой, с которым ему, Бетли, пришлось встречаться. Один, без всякой поддержки, он выступил против отарков, боролся с ними и умер непобежденный.

На третий день у журналиста начался бред. Ему представилось, что он вернулся в редакцию своей газеты и диктует стенографистке статью.

Статья называлась «Что же такое человек?».

Он громко диктовал:

— В наш век удивительного развития науки может показаться, что она в самом деле всесильна. Но попробуем представить себе, что создан искусственный мозг, вдвое превосходящий человеческий и работоспособный.

Будет ли существо, наделенное таким мозгом, с полным правом считаться Человеком? Что действительно делает нас тем, что мы есть? Способность считать, анализировать, делать логические выкладки или нечто такое, что воспитано обществом, имеет связь с отношением одного лица к другому и с отношением индивидуума к коллективу? Если взять пример отарков...

Но мысли его путались...

На третий день утром раздался взрыв. Бетли проснулся. Ему показалось, что он вскочил и держит ружье наготове. Но в действительности он лежал, обессиленный, у стены.

Морда зверя возникла перед ним. Мучительно напрягаясь, вдруг вспомнил, на кого был похож Фидлер. На отарка!

Потом эта мысль сразу же смялась. Уже не чувствуя, как его терзают, в течение десятых долей секунды Бетли успел подумать, что отарки, в сущности, не так уж страшны, что их всего сотня или две в этом заброшенном краю. Что с ними справятся. Но люди!.. Люди!..

Он не знал, что весть о том, что пропал Меллер, уже разнеслась по всей округе, и доведенные до отчаяния фермеры выкапывали спрятанные ружья.

А. ДНЕПРОВ

Ферма Станлю

> По-видимому, можно вырастить законченный индивид из одной-единственной клетки, взятой, например, из кожи человека. Сделать это было бы подвигом биологической техники, заслуживающим самой высокой похвалы.
>
> *А. Тьюринг*
> *Может ли машина мыслить?*

Он сидел на краю парковой скамейки, и его поношенные ботинки нервно топтали сырую землю. В руках у него была толстая суковатая палка. Когда я сел рядом, он нехотя повернул лицо в мою сторону. Глаза у него были красные, будто заплаканные или, скорее, плачущие, а тонкие губы изображали месяц, перевернутый рогами книзу.

Взглянув на меня, он надвинул шляпу на глаза, а каблуки ботинок чаще застучали о землю.

Я встал и хотел было пересесть на другую скамейку, но он вдруг сказал:

— Нет, почему же, сидите...

Я остался.

— У вас есть часы? — спросил старикашка.

— Есть.

— Который час?

— Без пятнадцати четыре...

Он глубоко вздохнул и посмотрел туда, где за скелетами осенних деревьев возвышалось бесцветное здание клуба «Сперри-дансинг».

Помолчав, еще несколько раз вздохнул и затем поднял шляпу над бровями.

— А сейчас сколько времени?

— Без одной минуты четыре... Вы кого-нибудь ждете?

Он повернул свое плачущее лицо ко мне и кивнул головой.

Видимо, предстоящая встреча не предвещала для него ничего хорошего.

Старик подвинулся ко мне поближе и откашлялся...

— Все точно... Точно так же, как пятьдесят лет назад...

Я сообразил, что старика терзают воспоминания.

— Да-а, — неопределенно протянул я,— все проходит... Ничего с этим не поделаешь.

Он придвинулся ближе. Плачущий рот изобразил подобие иронической улыбки.

— Говорите, все проходит? Как бы не так...

— Ну, конечно, воспоминания остаются,— спохватился я.— Так сказать, память о прошлом. Память, наша постоянная и надоедливая спутница.

— Если бы это было только так...

После некоторой паузы старик снова спросил у меня, который час, а затем сказал:

— Еще час...

— ?

Он неопределенно махнул рукой.

— Логика мысли и логика жизни не имеют ничего общего,— вдруг произнес он.

Я как будто проснулся, потому что логика была по моей части. Стоит кому-нибудь произнести слово «логика», как я сразу оживаю.

— В этом вы не правы! Логика мысли есть отражение логики жизни.

— Вы так думаете?

— Уверен.

— Сколько вам лет?

Сейчас начнется урок старческой мудрости, подумал я и ответил:

— Двадцать девять.

Вместо «урока» старик сказал:

— Им тоже примерно столько же...

— Кому — им?

Он кашлянул.

— Кому? — переспросил я.

— Моим... э... отпрыскам.

— Вы ждете своих родственников?

— Вроде... Впрочем, если хотите, я расскажу вам одну небольшую историю... Все равно ждать еще целый час... Я попытаюсь разубедить вас кое в чем...

Я засмеялся.

— При помощи частных примеров можно доказать все, что угодно.

— А я не только докажу, но и покажу...

«Странный старикашка»,— подумал я.

— Вам, конечно, покажется, что моя история — бред. Но вы убедитесь! Вы что-нибудь в науке понимаете?

Тут наступила моя очередь иронически улыбнуться.

— Я бакалавр наук...

— Значит, есть надежда, что вы поймете.

— Ну хорошо, давайте вашу историю,— сказал я, не скрывая насмешки. Конечно же, сейчас я услышу какую-нибудь лишенную смысла чепуху. А старик просто болтлив, как многие в его возрасте.

Он громко высморкался.

— Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в нашем обществе царит такая неразбериха и неурядица? — спросил мой собеседник и продолжал, не дожидаясь ответа: — Так вот, беспорядки, неустроенность и хаос нашего общества объясняются тем, что в нем живут разные люди. Да, да, именно поэтому. Люди чудовищно разные, во всем — по своему полу, виду, росту, возрасту, образу мыслей... Они живут в разных домах и питаются разной пищей, они любят разные вещи и читают разные книги. Нет двух людей на свете, которые бы хоть в чем-нибудь были совершенно одинаковыми. И даже когда два человека говорят, что они любят одно и то же, то и тогда они абсолютно разные, потому что, например, слово «дерево» каждый понимает по-своему. Это относится к любым словам, произносимым людьми на одном и том же языке. Даже простейшие слова, вроде «да» или «нет», понимаются людьми по-разному.

— Что-то непонятно,—попробовал возразить я.

— Непонятно? Ну вот простой пример. Я вас спрашиваю: сейчас осень? И вы, конечно, ответите мне «да». И я отвечу «да». И любой человек ответит «да». Но все миллионы «да» будут разными. Ведь говоря «да», вы с этим коротким словечком связываете целый мир переживаний, образов, воспоминаний. Для вас осень — одно, для меня — другое, для третьего — третье и так далее.

— Простите, но вы очень усложняете вопрос... Мы говорим, что в формально-логическом смысле...

— Ах, в формально-логическом! — он сделал попытку засмеяться.— А существует ли для человека формально-логический смысл? Вам, конечно, известны из истории примеры, когда государства нарушали скрепленные торжественными печатями и подписями договоры... И когда выяснялись причины нарушений, оказывалось, что один и тот же текст договора обе высокие договаривающиеся сто-

роны понимали по-разному! Вот вам и формально-логический смысл! Люди не могут, понимаете, принципиально не могут мыслить формально-логическими категориями. Это могут делать только машины, да и то не всегда...

— Но ведь есть же наука — формальная логика! — возразил я.

— Ну и пусть себе будет. Мало ли какие науки есть... Я сейчас говорю не о науках, которые являются вынужденным упрощением действительности, а о самом сложном, о человеке... Для него не существует формально-логического мышления. И в этом вся трагедия. Представляете: общество, в котором сотни миллионов человек говорят на одном языке и тем не менее понимают друг друга не более, чем скопище иностранцев... И даже когда они делают вид, что понимают друг друга, то и это ложь...

Я решил не спорить со своим собеседником, хотя мог бы привести тысячу примеров, опровергающих его аргументы. Я чувствовал, что не это самое главное в его рассказе.

— Допустим,— согласился я.— Допустим, что вы правы, и социальная неустроенность нашего мира объясняется по-вашему. Что из этого следует?

— А из этого следует, что никакие социальные реформы и преобразования не имеют никакого смысла.

— Не слишком ли пессимистично?

— Вы задумывались над тем, почему кусок железа — устойчивое образование? Или кусок золота? Или кусок натрия? — вместо ответа спросил меня старик.

«Шизофреник»,— решил я про себя.

— Нет, не задумывался,— нарочно ответил я, изобразив в голосе удивление.

— Вот видите. Мы не в состоянии пристально и с аналитической глубиной смотреть на обычные вещи. Мы просто принимаем их, как они есть, и считаем это в порядке вещей. А я утверждаю, что и железо, и золото, и любой другой плотный, устойчивый материал таковы потому, что состоят из абсолютно тождественных частей, из одних и тех же атомов... или хотя бы из одних и тех же молекул.

Ого! Вот это обобщение!

— Да, да, именно поэтому. Во всей Вселенной атомы углерода, и атомы золота, и атомы железа — одно и то же, тождественное самому себе. И когда эти одинаковые во всем бесконечном мире атомы собираются вместе, они образуют монолитную структуру. Однородную и устойчи-

вую во всей своей массе... Стоит в эту массу внедриться чужеродным элементам, и монолитность и однородность разрушаются...

— Железо ржавеет,— неожиданно для себя подсказал я пример.

— Совершенно верно. И таких примеров множество.

— Да, но...

— Нет, не «но»! — воскликнул старик.— Человек — атом общества. Но слово «человек» — собирательное. Как и слово «атом». Разница в том, что люди принципиально разные, а атомы одного и того же элемента принципиально тождественны.

— Послушайте, нельзя же переносить законы физики и химии на жизнь общества! Это доказано как дважды два.

— А по-моему, можно,— упрямо возразил старик.

Я не стал возражать, хотя он говорил очевидную чепуху.

— Если мы хотим построить идеальное общество, мы прежде всего должны подумать об идеальной тождественности его атомов...

От неожиданности я отодвинулся в сторону и с опаской посмотрел на старика. В сгустившихся сумерках его лицо показалось мне еще более плаксивым.

— По-вашему...

— Да, да, молодой человек. Нужно начинать со стандартизации атомов общества, со стандартизации людей.

Я не выдержал:

— Но это же чушь, бессмыслица, глупость!

— О, да! В мое время тоже были чудаки, которые повторяли то же самое! Но, во-первых, в ходе развития самой цивилизации заложены силы, которые в некотором смысле приводят к стандартизации людей, правда, частичной...

— Этого никогда не было и не будет!

— Вы просто не наблюдательны! Кстати, который час?

— Мы разговариваем уже пятнадцать минут.

— Хорошо. Вы говорите, никогда этого не будет? А тысячи людей, работающих на одинаковых машинах и выполняющих одни и те же операции, разве это не элемент стандартизации? А люди, которым изо дня в день внушают определенные инструкции, разве в некотором смысле они не стандартны?

Куда гнул старикашка?

— Общество, как и всякая физическая система, должно совершенно автоматически стремиться к устойчивому состоянию, и оно автоматически должно привести к стандартизации людей... Но сколько лет еще пройдет, прежде чем наступит полная тождественность людей! Тысячи, может быть, сотни тысяч... Много!

— Вы сказали «во-первых»... А что «во-вторых»?

— Сейчас я перехожу к этому. Во-вторых, люди не могут ждать золотого века полной стандартизации. Я даже иногда думаю, что это никогда полностью, то есть в идеале, и не произойдет. Поэтому нужно позаботиться об этом сейчас.

— Вы хотите сказать, стандартное воспитание...

— О, этого абсолютно мало! Совершенно недостаточно! Вы не можете избежать того, что даже при стандартном воспитании вы не получите одинаковых людей... Они от рождения разные, по своим склонностям, способностям, талантам...

— Так что же делать? — спросил я, не скрывая насмешки, но старик будто не заметил ее и самодовольно потер ладони. Мне показалось, что он даже улыбнулся. Взглянув еще раз на темные контуры «Сперри-дансинга», он вкрадчиво спросил:

— Вы когда-нибудь слышали такую фамилию — Форкман?

— Да, это был в свое время известный биохимик...

— Именно. А что вы еще о нем знаете?

— Пожалуй, больше ничего.

— Я — его ученик.

— Вот как...

— Вы не знаете, какое открытие сделал профессор Форкман?

— Нет, не знаю...

— Он научился выращивать взрослых человеческих индивидов из одной-единственной клетки, взятой из кожи человека.

«Снова начинает бредить,— решил я.— У шизофреников всегда так. За периодом логического мышления следуют совершенно лишенные логики скачки...»

— Ну и что?

— В этом дело. Здесь ключ к решению проблемы стандартизации!

— Не понимаю...

— Представьте себе, что у вас из кожи изъяли сто клеток, и вы по методу профессора Форкмана вырастили сто одинаковых особей! Они, имея в основе одну и ту же генетическую информацию, будут совершенно тождественны между собой и тождественны вам.

Я вздрогнул. Вот это ход!

— Любопытно. И кто-нибудь такой эксперимент произвел?

— Да.

— Кто?

— Я.

Было бы очень любопытно разглядеть лицо старика в этот момент. Наверное, на нем была написана воинствующая и злая гордость. Я не представлял, как это могло совместиться с его плаксивым выражением.

— И что получилось?

— Я должен рассказать все по порядку.

— Хорошо. Это очень интересно...

— Секрет своего открытия Форкман передал только мне. Я почти о нем забыл, пока, с возрастом, не стал задумываться над бедами нашего существования. И после я пришел к выводу о стандартизации...

— Кого же вы выбрали за стандарт?

— О, я и моя жена перебрали многих своих знакомых, обсудили их со всех сторон, и все они оказались с изъянами. Знаете, они все имели какие-либо врожденные физические, или умственные, или моральные изъяны. Одним словом, это был очень мучительный выбор... Тогда мы остановили наш выбор на себе.

Я снова не мог сдержать саркастической улыбки. На этот раз старик заметил:

— Не смейтесь... Я и моя Арчи в молодости были незаурядными личностями, с интеллектом выше среднего и совсем не плохи на вид... Кроме того, достигнув зрелого возраста, мы обнаружили у себя достаточно мудрости для стандартного человека монолитного однородного общества...

— Я не сомневаюсь в ваших качествах,— прервал я своего собеседника.— Должен заметить, однако, что эту мудрость вы приобрели, она следствие вашего жизненного опыта и опыта многих других людей, который вы усвоили. Впрочем, продолжайте.

— Мы вырастили по методу Форкмана двух мальчиков и двух девочек... Они были точными копиями нас в

соответствующем возрасте. Я и Арчи проделали опыт по вегетативному выращиванию наших юных копий на ферме Гринбол...

— Не слишком ли мало стандартных людей для монолитности нашего будущего общества?

— Не иронизируйте, молодой человек! Вам следовало бы спросить, почему дети были выращены на ферме Гринбол.

— Разве это существенно?

— Абсолютно. Дело в том, что именно на этой ферме протекали младенческие, детские и юношеские годы мои и Арчи.

— Ну и что же?

— А то, что для тождественности этих существ было абсолютно необходимо тождественное воспитание... Я и Арчи очень хорошо помнили наши годы, прошедшие на этой ферме... Мы решили воссоздать их со всей скрупулезностью на наших... э... детях.

— Для чего?

— Для этого существовали две причины. Во-первых, мы могли легко воспроизвести весь цикл воспитания, а во-вторых, таким образом мы обеспечивали повторение нашего эксперимента в будущем.

Я начал смутно представлять всю дикость замысла.

— Вы хотите сказать, что, повторив свой жизненный путь в созданных вами существах, вы добьетесь того, что в определенный момент и они придут к тем же самым выводам, что и вы, и тоже повторят опыт по выращиванию своих копий, а их потомки сделают то же самое и так далее?

— Вы сообразительны.

— Но этого не может быть! — воскликнул я на этот раз уже достаточно серьезно.

— Это так и случилось...

— Боже мой!

— Я вам докажу. А сейчас имейте терпение выслушать все до конца. Так вот, я занялся мальчиками, а Арчи — девочками. Я должен признаться, что наша работа доставляла нам истинное наслаждение. Знаете, я как-то читал одного ученого, который исследовал жизненный путь многих пар близнецов. Он обнаружил, что однояйцовые близнецы не только похожи друг на друга внешне, но их жизненный путь и их судьба во многом совпадают. Помню, он приводил пример двух братьев-близнецов,

которые расстались в раннем детстве, а по прошествии многих лет выяснилось, что они были женаты на поразительно похожих женщинах, занимались одной и той же профессией, оба имели собак, и обе собаки носили одно и то же имя! Тогда я не поверил в это. Во время работы в Гринболе я воочию убедился, что генетическое тождество детей позволяет без особого труда добиться и их духовного тождества. Но самым поразительным было другое: в наших отпрысках я и Арчи видели свои копии, свое детство, затем юность и молодость. Мы смотрели на детей и восклицали: «Смотри, Арчи! Они полезли на тополь! Помнишь, я в семь лет сделал то же самое, а ты, как и наши девочки, бросала в меня мячом!» И действительно, мальчики, как по команде, полезли на один и тот же старый тополь, а девочки начали бросать в них мячи!

«Дик! Девочки склонились над колодцем! Бьюсь об заклад, что они уронили ведро! Сейчас мальчишки за ним полезут!»

И действительно, мальчишки лезли за ведром...

— Оба за одним ведром? — спросил я.

— Да. Я и Арчи смотрели на них, на их жизнь, как на фантастическое, повторенное дважды свое собственное бытие, перенесенное на тридцать лет назад! Если и есть у человека шанс когда-нибудь вернуть свою молодость, то только таким путем.

— А как вы их отличали друг от друга?

— Мальчики имели одно и то же имя — Дик, а девочки — Арчи. Но у каждого был свой номер. Его мы нашивали им сзади, как это делают спортсменам. Вскоре мальчики начали ухаживать за девочками.

— Точно так же, как вы за своей будущей женой?

— Да-да! Возникла сложность с местом свидания, потому что они назначали одно и то же место... Но после они к этому привыкли...

— А они не путали друг друга?

— Представьте себе, нет...

— Любопытно, что же произошло дальше...

— Арчи прожила на ферме до четырнадцатилетнего возраста, а я — до восемнадцати лет... После Арчи уехала с родителями в Нью-Йорк... Поэтому, достигнув четырнадцати лет, девочки уехали вместе с Арчи в Нью-Йорк, чтобы там повторить курс жизни, который в свое время прошла Арчи. Это они сделали без труда, с большим успехом, и стали еще больше походить на Арчи в молодости.

Они вернулись на ферму через два года, когда юноши достигли двадцатилетнего возраста. Они еще прожили на ферме по три года... И тут-то произошло несчастье...

— Какое?

— Моя жена Арчи повесилась...

— Какой ужас!

— Да! Но ужас был не только в самом факте самоубийства. Скорее, в причине трагедии.

— Может быть, вам не стоит об этом вспоминать?

— Стоит! Очень даже стоит... Дело в том, что пока обе Арчи жили в Нью-Йорке, Дики немного к ним поохладели и стали наведываться на соседнюю ферму, к дочерям мистера Сольпа... У Сольпов всегда были большие семьи. В мое время у них было три дочери... И теперь их было три... И вот Дики к ним повадились в гости...

— Так почему ваша жена...

— Однажды, вскоре после ее приезда из Нью-Йорка, мы ужинали у Сольпов и задержались до позднего вечера.

Я болтал со стариками Сольпами, а моя Арчи куда-то вышла. Вдруг она вбежала в комнату вся в слезах, с безумными глазами. В ответ на вопрос, что случилось, она только еще сильнее заплакала.

По дороге на нашу ферму она не разрешила мне взять ее за руку, даже прикоснуться... За какие-нибудь полчаса мы стали совершенно чужими.

Только после ее самоубийства я догадался, вернее, понял, что случилось. Она, узнав, что в семье Сольпов гостят наши Дики, поднялась наверх и совершенно случайно подслушала разговор юношей с дочерьми нашего приятеля.

Мои сыновья клялись в верности и любви дочерям Сольпов и заверяли, что если те не станут их женами, то неизбежный брак с Арчи будет для Диков проклятием всей жизни. Они говорили, что не любят этих холодных дурочек и только из уважения к старикам, то есть к нам, согласились на них жениться. Они предлагали дочкам Сольпов немедленно бежать...

— Это произвело впечатление на вашу жену?

— Еще бы! Она сразу поняла, что до нашего брака я ей изменял.

— То есть,— пробормотал я тупо.

— Мои парни повторили то же самое, что когда-то сделал я.

Это было ужасно...

— Арчи поняла, что обманулась, веря в мою любовь и добродетель. Она повесилась на одном из дубов, что растут у нас над ручьем. После этого я покинул ферму вместе со своим семейством и переехал сюда...

— Скажите, а юные Арчи знали о происшедшем?

— Конечно, нет, они спали, как и моя Арчи в те далекие времена... Так вот, я переехал со всем семейством в Нью-Йорк... Мальчики поступили на биологический факультет колледжа, как когда-то и я, а девочки устроились телефонистками на центральной почте... Так они жили порознь, уже фактически без моего вмешательства, до тех пор, пока однажды не встретились в кино... Это была радостная встреча. Их нежная дружба возобновилась... Будьте добры, который час?

— Сейчас ровно шесть.

— Хорошо, в нашем распоряжении еще пятнадцать минут... Кстати, они встретились в том же самом кинотеатре, в котором когда-то я встретился с Арчи...

— Удивительно!

— Я уже ничему не удивлялся. Я знал всю игру от начала до конца. Я точно знаю день и час, когда они переженятся. Если вы никуда не спешите, пройдемтесь в «Сперри-дансинг»...

— Зачем?

— Вы их там увидите... Они сегодня придут сюда на танцы... Я и Арчи тоже сюда ходили.

— Господи! — воскликнул я.— А что же будет дальше?

— Это мы сейчас узнаем. Я просто дрожу от ожидания... Все, все до мельчайших подробностей должно повториться!

Мы пошли по совершенно темной аллее, старик ощупывал дорогу палкой, а я слегка поддерживал его под руку. Теперь окна клуба «Сперри-дансинг» сияли, и оттуда доносилась музыка.

Это был второразрядный клуб с дешевыми входными билетами. После темноты осеннего вечера глаза не могли привыкнуть к яркому свету. Джаз ревел во всю свою латунную глотку. Затем музыка прекратилась, и вдруг две одинаковые черно-белые пары бросились в нашу сторону.

— Папа! Папа Дик! Как ты узнал, что мы здесь?

Парни и девушки кричали одновременно и, как мне показалось, в унисон.

Старик Дик вытащил носовой платок и вытер глаза.

Я никак не мог понять, плачет ли он или у него жестокий насморк.

— Я догадался, что вы здесь.

— Удивительно! Ведь мы тебе об этом не говорили!

— Отцовское сердце. Знаете, оно всегда чувствует... Думаю, дай зайду.

— Мы очень рады тебя видеть. Ты у нас мудрый и можешь решить один спор, который у нас возник.

Мой собеседник как-то странно съежился, как будто бы его собирались бить.

— Я вас слушаю.

— Мы спорили о том, что нельзя создать гармоническое общество из принципиально разных людей. Что ты на это скажешь?

Старик сморщился еще больше.

— Об этом как-нибудь в другой раз.

— Нет, ты скажи свое мнение. А то мы будем так спорить без конца.

— Месяца через полтора вы придете к выводу самостоятельно. Тогда приходите ко мне.

— Мы пришли к выводу, что если из разных людей нельзя создать монолитное общество, то нужно попытаться...

В этот момент снова заиграл оркестр, и Дики со своими Арчи бросились танцевать. У меня в глазах зарябило. Почти насильно я вытащил старика из зала:

— Послушайте, я не могу допустить, чтобы эти прекрасные девушки, которые вскоре станут женами своих Диков, будут рано или поздно болтаться на ветках дуба, который растет у вас на ферме Гринбол.

— А что поделаешь,— упавшим голосом сказал Дик.

— Нужно немедленно рассказать им о происшествии в семействе Сольпов!

— А вы думаете, мою Арчи не предупреждали? Она не верила ни одному слову... А когда я узнал имя одного ябеды, то...

— То что?

— В молодости я очень метко стрелял... Я имею в виду, мои Дики очень метко стреляют.

— Вы хотите сказать...

— Это еще будет. Не скоро.

В моей голове все начало путаться.

— Что вы сейчас намерены делать? — спросил я старика.

— Ничего. Я теперь уже не в состоянии что-нибудь сделать.

— Значит, все повторится?

— Да. Все. Они придут к тому же выводу, что и я и Арчи. Потом они ограбят аптеку...

— Ограбят аптеку?! Для чего?

— Чтобы добыть химические реактивы, которые необходимы для выращивания людей по методу профессора Форкмана.

— Разве вы доставали реактивы таким путем?

— Да... Я был вынужден... После того как взорвал танкер с нефтью...

— Вы взорвали танкер с нефтью? Да вы с ума сошли!

— Я был вынужден. Для проведения опыта мне нужны были деньги. Мне их пообещал один делец за то, что я подложу адскую машину в танкер с нефтью... Ему это было нужно для какой-то аферы...

— Послушайте, но сейчас такого дельца может не оказаться!

Старик горько хихикнул.

— Окажется. Они есть во все времена... Это — стандартизовавшийся тип афериста...

— Но ведь теперь Диков два. Меня волнует вопрос, потопят ли они один танкер общими усилиями или два танкера?

— Не знаю. Если следовать логике событий, то два.

— Какой ужас! Нет, это просто невероятно! Это нужно немедленно прекратить!

— Увы...

— Вы себе представляете нашествие ваших внуков на семью Сольпов после того, как их будет четыре! Это будет кошмар!

— Будет кошмар...

— Бедные Сольпы!

— Очень бедные, что поделаешь...

— А после четыре Арчи! Да у вас на ферме скоро дубов не хватит, чтобы...

— К тому времени подрастут другие.

— Они разнесут все аптеки в стране! Потопят весь танкерный флот!..

— Наверное...

Я вдруг остолбенел, уставившись в темноту парка.

— Почему вы замолчали? — прохрипел старик.

— Я себе представил, как в этом парке будет сидеть

сто старых Диков, чтобы посмотреть на тысячу своих стандартных отпрысков. Я представил себе вашу ферму Гринбол, превращенную в фабрику стандартных людей. Ее так и назовут: ферма Станлю. И там постоянно будут стандартно воспитываться тысячи, а потом сотни тысяч вегетативных отпрысков. И можно будет посадить целый лес дубов... А семейство Сольпов, боже, что в конце с ними будет?!

— Не знаю, не знаю...

До выхода из парка мы дошли молча. Идя рядом с этим страшным стариком, мне вдруг показалось, что я иду с самой неумолимой судьбой, с материализованным в форме уродливого старца кошмаром, который с неотвратимой неизбежностью должен повториться во все увеличивающемся масштабе. Нет, этого нельзя допустить! Нельзя!

Я схватил старика за руку.

— Послушайте! Неужели вы действительно верите в эту чушь о стабилизации общества через стандартизацию людей?

— А если и нет — какая разница? Сейчас делу не поможешь...

— Можно! Нужно! Через полицию, тайных агентов! Нужно предупредить ваших детей!

— Вы хотите, чтобы я за свое собственное преступление отомстил своим собственным детям? Ведь во всем виноват я, понимаете, я один! И пусть их сейчас четверо, а после будет шестнадцать и так далее. Они повторят только то, что сделал я! Если и есть смысл говорить о первородном грехе, то он здесь, налицо! Я во всем виноват...

Сейчас он по-настоящему заплакал, хрипло, неумело, по-старчески, даже не закрывая лица руками...

— Стойте! У меня есть один к вам вопрос! Очень важный вопрос.

— Я знаю ваш вопрос,— прохрипел старик, не переставая всхлипывать.

— Но вы не знаете, о чем я хочу вас спросить...

— Знаю... Прощайте... Прощайте...

Он быстро засеменил вдоль решетки парка, громко стуча своей тяжелой палкой по асфальту. Я застыл в нерешительности, глядя на сгорбленную удаляющуюся фигуру страшного старца, пока он не скрылся в темноте...

Я так и не спросил старика, передал ли он своим отпрыскам тайну профессора Форкмана. Если нет, тогда все

будет в порядке и стандартных людей не будет. А если — да?

Хотя все равно. Прав все-таки я. Как бы то ни было, нельзя переносить законы физики и химии на жизнь общества.

С момента этой странной встречи прошло несколько десятков лет. И вдруг я стал замечать, что на моем пути стали часто попадаться очень похожие друг на друга люди, что они одинаково одеты и говорят об одном и том же. Очень похожие молодые мамаши нянчат одинаковых младенцев. С экранов кино на меня смотрят одинаковые актеры и актрисы. Почти тождественные лица и фигуры мелькают на обложках журналов и книг.

Как-то мимо меня промаршировала рота солдат, и я чуть было не вскрикнул — до того все солдаты были на одно лицо! «Рота Диков...» — прошептал я в ужасе. Целая толпа одинаковых девушек, Арчи, выступала в одном мюзик-холле...

Вот поэтому и еще по многим другим причинам я иногда думаю, что ферма Станлю существует и развивается, и, может быть, мое правительство даже оказывает ей всяческую поддержку.

М. ЕМЦЕВ, Е. ПАРНОВ

Оружие твоих глаз

Неповторимый запах железной дороги. Властный запах. Он уводит назад, назад. Заставляет припомнить давно пережитое, отшумевшее. С каждым днем оно уходило все дальше. И всегда возвращалось. Еще вчера он стоял у вагонного окна. Убегали столбы, и параллели проводов то подымались, то опускались. Уносились деревья, стога сена и белые хатки. Только горизонт оставался неподвижен. Будто он не подвластен ни времени, ни движению, этот далекий и чистый горизонт.

Сергей Александрович Мохов еще раз прошелся вдоль путей, взглянул на часы и не очень уверенно направился к вокзалу. Поравнявшись с причудливым кирпичным строением, на котором было написано «Кипяток», он остановился, опять посмотрел на черный циферблат своих часов и долго глядел на смутное свое отражение. Он никуда не спешил. И если бы его спросили, зачем он пришел сюда, не смог бы дать ясного ответа.

Когда-то он жил в этом городе. Помнил разрушенные его дома и пыльную листву высоких южных тополей. Здесь закончил школу, и воспоминание о выпускном вечере все еще грустно и ласково сжимало сердце. Они пришли на вокзал тогда прямо из школы. Разгоряченные, чуточку хмельные. Куда-то звали уходящие в ночь рельсы, чуть мерцали фиолетово-синие огоньки на путях.

Родился он в Херсоне, эвакуирован был в Свердловск. Может быть, поэтому и покинул без сожаления тихий украинский городок, в котором прожил три года. Уехал учиться в Москву.

Переписка с друзьями по школе быстро оборвалась — мальчишкам не до писем. Увлекли, закружили новые привязанности. Растерял, позабыл адреса. Шутка ли! Почти два десятилетия... Целая жизнь.

Он никого не нашел здесь из тех, с кем хотел повидаться. Все разъехались, разлетелись по огромной стране. Исчезли руины. Появились кварталы новых домов. Сгинула толкучка, на пустыре построили стадион (товарищеская встреча между футбольными командами «Шинник» — «СКА» сегодня в 18.30). Карлов замок превратился в краеведческий музей.

А Юрка? Юрка уехал неизвестно куда. Что поделаешь?.. Пора домой. К трудам и заботам.

Но как тревожит душу этот догорающий день! Все ли он сделал для того, чтобы отыскать стертые временем следы?

Сладковато пахнет разогретый на солнце битум, ослепительный блик чуть дрожит на горячем рельсе, и ревет маневровый паровоз на запасном пути.

Нужно взять билет, съездить в гостиницу за чемоданом, а не ходить тут неведомо зачем. Поезд отправляется в 19.03. Можно успеть перекусить на дорогу... Взять в вагон бутылку минералочки, купить керамическую свистульку сынишке...

В воздухе уже летает прилипчатый тополиный пух. Пыльный закат пламенеет в стеклах. Время почти не движется. Только в черном циферблате часов появляется и исчезает слегка искаженное отражение немолодого уже человека.

Сергей Александрович чуть наклонил голову и решительно зашагал к вокзалу. Но у буфета остановился, помедлил немного и толкнул обшарпанную дверь.

Он взял кружку пива и два бутерброда — с колбасой и сыром. Присел за круглый мраморный столик. На холодной кружке туманный налет. Медленно тает пена. Сергей Александрович немного отпил и отодвинул кружку.

На холодной кружке туманный налет. Медленно тает пена. Сергей немного отпил и отодвинул кружку.

— Твой Шкелетик снова загудел в больницу,— сказал Юрка.

Они сидели в привокзальном буфете. Для Сережи это была первая в жизни кружка пива. Горьковатый терпко пахнущий хмелем напиток не нравился ему, но он не подавал виду. Пил и попыхивал сигаретой, как взрослый.

— Что с ним?

— Все то же. Голова, приступы.

Они помолчали и приложились к кружкам.

— И охота тебе с ним возиться,— лениво сказал Юрка.

Охота? При чем тут охота? Но как объяснить это Юрке! Как объяснить...

— Месяц проваляется, придет к концу четверти. Отстанет по всем предметам,— глядя в окно, сказал Сережа. Там медленно двигался тяжелый состав. На открытых платформах матово поблескивали груды угля.

— Он не отстанет,— криво улыбнулся Юрка.— Вундеркинд.

Да, вундеркинд. Ну и что? Это ему не даром дается.

— Каждый из нас по-своему вундеркинд,— философски сказал Сережа.— Просто другой он. Понимаешь? Другой,— Сережа с трудом находил нужные слова.— Почему ты его не любишь? Почему вы все его не любите? За что? С самого начала настроились против парня. Почему, спрашивается?

— А чем он, по-твоему, хорош? — вспылил Юрка.— Почему ты один из всего класса с ним дружишь? Больше никто, только ты.

Сейчас у Юрки противные нахальные глаза. Они и вообще-то не очень скромны, эти голубые бусинки, но сейчас особенно. Неохота откровенничать с человеком, когда у него такой взгляд. Все же пиво крепкое. Забирает. У Сережи слегка шумело в ушах. Он улыбнулся. Не очень-то весело улыбнулся.

— Пойдем отсюда, здорово паровозами воняет.

Они поднялись. Вокзальный буфет помещался в вагончике, вкопанном в землю. Там же были касса и диспетчерская. Разрушенный прямым попаданием фугаски вокзал представлял собой аккуратно прибранные развалины. По ту сторону железнодорожного полотна работала камнедробилка. Водопад мелких камней грохотал по металлическому желобу.

Сошли с перрона и зашагали по мощеной дороге, обсаженной с двух сторон липами. Апрельское солнце и мартовское пиво размаривали. Юра сломал ветку и, ободрав с нее листья, получил длинную и тонкую хворостину. Он щелкал ею себя по ногам и рассматривал небо.

«Не в настроении. Он всегда молчит, когда ему что-то не нравится. И чего он злится?»

— Слушай, Юрко,— нерешительно начал Сережа.

— Ну? — Юрка встрепенулся.

«Не злится, а ревнует. Ведь он тоже мой друг. Он хороший парень и... умеет держать язык за зубами».

— Я тебе кое-что расскажу, Юрко, только... Это история сложная... Одним словом, надо молчать, понимаешь?

Юрка кивнул. У него даже вспыхнули уши от любопытства.

Сережа некоторое время шел молча. Обдумал, что он может рассказать Юрке. Пожалуй, все... Только об одном придется молчать.

— Ты помнишь, как его к нам в класс привели? — спросил он.

Юра улыбнулся. Как не помнить?

— У нас над ним любят подшучивать,— сказал Сережа,— наши мужички не очень-то народ соображающий. А зря. Сашка интересный человек.— И опять замолк.

Они шли сначала по булыжнику, затем по асфальту. Аллея лип кончилась, потянулись городские развалины. По обеим сторонам дороги торчали холмы щебня и голые стены, сквозь которые был виден горизонт, скрученная проволока, смятые, как вареные макаронины, рельсы. Время вершило свой однообразный уравнивающий суд. Лес наступал на развалины и побеждал. Первая зелень распустилась именно здесь, на щербатых холмах войны.

Весна только еще начиналась, но все деревья уже были усеяны крохотными листочками. А через месяц городок утонет в пыльной листве. В степных краях, где родился Сережа, такого не было, листва там редкая, с восковым налетом, будто искусственная.

— Так что ты хотел сказать о Сашке? — нетерпеливо спросил Юра.

— Несправедливы мы к нему. Когда Алексей Иванович его привел, он сразу не понравился нашим. И с тех пор пошло...

Когда Алексей Иванович ввел в класс нового ученика, тот поразил всех своей худобой и бледностью. Мальчишки настороженно молчали, и Алексей Иванович сказал:

— Вот ваш новый товарищ, его зовут Саша.

Зашумели, загалдели, и вдруг кто-то сказал:

— Шкелетик прибыл.

Алексей Иванович, очевидно, не расслышал, на лице Саши тоже ничего не отразилось. Было непонятно, видит ли он то, что находится перед ним. Было непонятно, слышит ли он то, что произносится рядом с ним. Это был непонятный мальчик. Отсутствующее выражение его лица беспокоило учителей и вызывало насмешки учеников. «Шкелетик» — это не самое худшее прозвище, придуманное изобретательными ребятами.

— А ты знаешь, что Саша с отцом был в концлагере у фашистов? Отец погиб, а он выжил. Чудом выжил.

— Вот как? — сказал Юрка.— Ну и что?

— Ну, знаешь?

«Для него это ничего не значит. Так, пустячок. Был

или не был, неважно. Посмотрел бы я на тебя, каким бы ты стал после Освенцима».

— Поэтому он и стал такой,— заключил Сережа.

— Какой такой? — ухмыльнулся Юра.

— Ну... больной и странный немножко. А наши этого не понимают. Даже учителя некоторые. Не любят его. А за что?

— Слишком умничает. Много из себя воображает. Генчик прямо ему сказал, что он выскочка. Разве неправда?

— Неправда. Сашка и впрямь умный. Он хочет до всего сам докопаться, он не такой, как все остальные, он...— Сережа подумал и заключил: — А Генчик сволочь. Фашист.

— Нет. Генчик самый умный. Он еще при панской Польше в университете преподавал. Его работы и за границей известны.

— Что же он сейчас школьным учителем стал? — насмешливо спросил Сережа.— Не признают его талантов? Или с немцами путался?

— Он сам не хочет. Он дома работает.

Сережа недоверчиво покачал головой. Юрка загорячился.

— Не веришь? Я сам видел. Мы прошлый год в Карловом замке яблоки воровали, и я заглянул в окно на втором этаже...

— Генчик живет в Карловом замке?

— Ну да. И в комнате у него я видел приборы какие-то, колбы, ну чисто наш физический кабинет.

— Все равно он сволочь,— твердо заключил Сережа.— И, наверное, с бандеровцами связан. В таком месте живет, не может быть, чтобы лесные гости к нему не захаживали.

— Ну, об этом оперативники лучше знают, чем мы с тобой. Во всяком случае до сих пор его не забрали.

— Потому что не накрыли. Может, он нужен им как приманка. Посмотришь, еще накроют. Генчик фашист, помяни мое слово. Я фашиста за сто шагов чую. Недаром мой отец четыре года в плену провел. А Сашку Генчик ненавидит за то, что еврей. Вот почему Генчик не любит Сашку.

— Нет,— сухо сказал Юрка.— Генчик настоящий ученый. Он показухи и хвастовства не любит. А Сашка, неважно, еврей он или нет, всегда на первое место лезет.

Поэтому Генчик его осаживает. Не понимаю, почему ты со своим Сашкой, как с писаной торбой, носишься?

Сережа насупился.

— Он мой товарищ, да и твой тоже. С ним интересно. А Генчик... С девяти до трех он учитель физики средней школы, а вот хотел бы я знать, чем он занимается с пяти вечера и до девяти утра.

— Что ты хочешь сказать!

— Ничего. Я уверен, что этот фашист связан с бандеровцами. И места лучше, чем Карлов замок, для этого вряд ли найдешь.

Юра нахмурился. Он отвернулся и сплюнул.

— Ерунда! Но если хочешь, мы можем проверить. Подсмотрим, что делает Генчик по вечерам и даже ночью. Не сробеешь? Я Карлов замок знаю.

У Сережи перехватило дыхание.

Вот оно что! Это интересно. Скучноватый субботний день наполнился гремящими звуками. Ревели сирены, взрывались гранаты, рассыпались пулеметные очереди.

— Что ж, давай. Можно попробовать.

Юра испытующе посмотрел на него.

— Ты не бойся, мы не с пустыми руками пойдем. У меня есть «вальтер».

У него есть «вальтер»! Да, конечно, Сережа сам сколько раз держал в руках эту замечательную штуку. Темная вороненая сталь с голубыми дымящимися разводами, рифленая рукоятка — именное оружие какого-то фрица. Юрка откопал его возле сгоревшего «тигра».

— А патроны есть? У тебя же не было патронов?

— Достанем.

Они помолчали.

— Зачем нам это нужно? Ведь никто спасибо не скажет, а если узнают про оружие, здорово погореть можно.— Сережа задумчиво чертил на земле замысловатые узоры.

— Как знаешь,— Юрка встал со скамейки.— Я пойду, мне отец велел быть дома, дрова рубить надо. А ты куда сейчас?

— Зайду Сашку проведаю. Как он и что. Может, ему чего надо.

— Ладно. Бывай.— Юра ушел, насвистывая песенку.

Сережа долго смотрел ему вслед. «И пока за туманами видеть мог паренек,— подпевал он про себя уходящей мелодии,— на окошке на девичьем все горел огонек...»

В больнице Саши не было. Сестра сказала, что он про-

вел у них всю ночь, утром ему сделали укол и он ушел домой.

Сережа пошел на Здолунивскую, где в маленьком полуразвалившемся от старости домике жил Саша со своей теткой Зосей. Впрочем, какая она ему тетка? Так, старая знакомая отца, которая из жалости приютила сироту. Приют этот был для Саши тяжелым испытанием. Тетка Зося пила. В свободное от работы время она запивала неудавшуюся жизнь самогоном.

Саша спал, накрыв лицо «Занимательной арифметикой» Перельмана.

Сережа присел на краешек колченогого венского стула и огляделся. Ну и конура! Маленькое окошко выходит в огород, сквозь пыльные стекла видны скучные, небрежно вскопанные грядки.

В комнате всего и мебели, что никелированная кровать с отвинченными шариками, стол, кухонный шкаф да два стула. Рисованые обои давно стерлись, и на Сережу глядели угрожающие лиловые пятна. Воздух затхлый, нежилой.

Сережа прошелся по комнате. На столе аккуратной стопкой лежат учебники. В открытой тетрадке размашистым Сашиным почерком написано: «Упражнение №...»

Ящик стола выдвинут, и в нем Сережа увидел темную старинную шкатулку. Интересно! Сашка никогда не показывал ее. Сережа знал все Сашкино барахло: коллекцию карманных фонарей, набор радиоламп к немецкому приемнику, оккупационные марки, цветные фотографии прибалтийского курорта, серую монету в 10 пфеннигов и несколько автоматных гильз. Но шкатулки раньше не было. Никогда Сережа не видел у него шкатулки. Или он до сих пор ее прятал, или недавно достал. Вряд ли он мог ее купить: на тети Зосины гроши не развернешься. Скорей всего кто-то подарил ему эту красивую штуковину.

Сережа приподнял крышку. Изнутри на ней была наклеена фотография немолодого мужчины с печальными глазами, на дне лежало... Что это может быть? Два черных полированных диска, скрепленных дужкой посредине и с проволочками по бокам.

Сережа извлек странную штуковину. Похоже на очки. Очки для слепых.

Сережа повертел их в руках, посмотрел на свет и поднес к глазам. Самые обычные темные очки! Он отвернулся от окна и уставился в темный угол. И тогда ему показа-

лось, что он смотрит сквозь темное стекло на ярко освещенный киноэкран, где только что демонстрировался интересный фильм и внезапно оборвалась лента. Яркие точки и полосы прыгали, образуя причудливые узоры, и разгорались все сильнее, сильнее. Грязные обои едва проглядывали сквозь это неожиданное сияние.

— Ты что, обалдел!

Разъяренный Саша сорвал диски с Сережиного носа и спрятал их в шкатулку. Руки у него тряслись.

Сережа смущенно потер переносицу.

— Что это за штука, Саша?

— Что! Что! Не твоего ума дело. Как ты вошел?

Он постепенно успокоился и аккуратно уложил очки в шкатулку. Сережа недоуменно глядел на его худую спину с острыми лопатками и тонкие голые ноги.

«Чего он так разволновался? Что-то здесь неладно...»

— Дверь не заперта, вот я и вошел.

— У этой пьяной дурехи все нараспашку. И душа, и двери,— сердито сказал Саша. Он забрался под одеяло и сурово посмотрел на Сережу. Потом улыбнулся.

— Садись. Не обижайся, что я так... Ты меня напугал. Эта штука опасная... Что делал?

— С Юркой ходил на вокзал пиво пить... Как здоровье?

— Да ничего. Как обычно. Думал, будет хуже, но сразу после укола очухался и отпросился домой. Не люблю больницу. Что нового в школе?

— Ничего особенного. Алексей Иванович велел узнать, что с тобой...

Они перекинулись еще несколькими фразами, но разговор явно не клеился. Сережа через силу выдавливал из себя слова. Саша внимательно посмотрел на него. Сережа хорошо знал этот взгляд. Еще тогда, в первый раз, он поразил Сережу своей неподвижной безучастностью к внешнему миру. Только позже Сережа понял, что поверхностное равнодушие скрывало крайнюю уязвимость.

— Слишком много хочешь знать, дружище,— сказал Саша.

И Сережа вспомнил, что в первый же день Саша подошел к нему и сказал что-то очень похожее. Он сказал: «Хочешь поговорить со мной, дружище?» И Сережа ответил тогда так же, как и сейчас:

— Да, хочу.

Саша улыбнулся и, заложив руки под голову, сказал:

— Притащи-ка из кухни чайник и чашку для себя.

Сережа прихлебывал холодный чай из кружки с обломанным краем, Саша пил из помутневшего от времени граненого стакана.

Сереже показалось, что он не хочет рассказывать.

Но когда они покончили с чаем, Саша подобрал колени, уставился на лиловое пятно обоев и вдруг рассмеялся.

— Ты знаешь, с этой штукой, которую ты только что держал в руках, у меня связано очень многое... Если все рассказать...

Он снова замолк.

— Я об этом ни с кем не говорил. Почти ни с кем. Один раз пытался, но мне не поверили, и я с тех пор — ни-ко-му. Ни слова. А хочется... Только смотри — молчание. Даже Юрке. Понимаешь!

— Ну?! — сказал Сережа.

— Да, молчать ты умеешь. Я знаю, что ты умеешь молчать. А я вот не умею. Мне бы и сейчас помолчать... ну да все равно. Расскажу-ка я тебе одну сказочку...

— Сказку я тебе сам расскажу,— сердито сказал Сережа.

— Это будет очень страшная сказка,— улыбнулся Саша.

— Мы сегодня с Юркой повешенного бандеровца видели.

— Э-э,— махнул рукой Саша,— я видел сотни повешенных.

— Юрка в первый раз увидел.

— Юрка хороший парень,— сказал Саша,— но ему еще до многого придется доходить. Ну ладно. Так хочешь слушать сказку-быль?

— Сам знаешь, что хочу. Чего спрашивать?

Саша опять улыбнулся, совсем как мудрый старик.

— Время. Что есть время? По метрике я старше тебя на три года. А по-настоящему — на тридцать три. Ну так вот...

Лицо его стало серьезным и печальным. Сереже вдруг вспомнилась фотография внутри шкатулки.

— Дело было так. В одной каменоломне, где работали заключенные концлагеря, упал человек.

— Разве в Освенциме были каменоломни? — удивился Сережа.— Я читал, что...

— Кто тебе сказал, что это было в Освенциме? В великой Германии было много разных хороших мест, куда

могли упрятать неарийцев. Итак, человек упал. Упал и скатился по склону. Так бывает, когда человек слаб, как ребенок, когда его часто бьют и он живет в напряженном ожидании смерти. Когда он уже почти потерял все человеческое, он фактически труп, который едва способен переставлять ноги, а его принуждают делать работу большого крепкого здорового мужчины. Кстати, большинство входящих в газовые камеры были именно такие, потерявшие человеческий облик полутрупы-полулюди. Для многих смерть стала избавлением от страданий. Ну ладно... Человек упал, и капо не забил его до смерти, и начальник команды не заметил, и часовой не выстрелил. Человек получил возможность пролежать несколько минут на куче щебня, в углублении скалы, скрытый от лучей палящего солнца. Потом он мне рассказывал, что, открыв глаза, сразу увидел это.

— Что это?..

Саша посмотрел на него.

— Не перебивай. Я рассказываю сказку-быль. Догадывайся сам. Сходи-ка на кухню. Еще чайку хочется.

Сережа быстро поставил чайник и вернулся. Саша продолжал свой рассказ.

— Оно ослепило его. Ему показалось, что он смотрит на солнце. В действительности он лежал, уткнувшись носом в черный блестящий кусок породы. Человек ощупал его и отодвинул от себя, перевернулся на бок и снова посмотрел. Теперь оно не ослепляло его. Порода эта выглядела, как антрацит. Холодный металлический блеск, тонкая радужная пленка, сложная паутина поверхностных трещин. И в то же время она походила на друзу плотно сросшихся кристаллов, на их гранях сверкало солнце, далекое безжалостное солнце сорок четвертого года... Человек рассматривал неведомый минерал и ждал, когда прозвучит выстрел. Впрочем, он знал, что не услышит, как прозвучит смертный выстрел.

Но выстрела не было, и человек встал. Он подтянул ноги, опираясь на локти, приподнялся. А потом и выпрямился во весь рост, как и подобает человеку. И, пошатываясь, пополз вверх, туда, где его ждала смерть.

А вечером, когда рабочая команда вернулась в свои бараки и после проверки разошлась по блокам, человек обнаружил, что нашел удивительный минерал. Он сразу понял это. Человек этот был геолог, и не существовало для него немых камней. Каждый камень сверкал и звучал

для него по-своему. Он умел различать немую музыку камня. Но мелодия черных кристаллов была ему незнакома. Он услышал сильные красивые звуки, он услышал большую, как мир, музыку, но инструментовка ее была ему непонятна. Голод, страх смерти, болезни и надругательства не убили в нем желания знать. Желание знать в нем было всегда не меньше желания жить. Он и жил для того, чтобы знать.

Человек нашел себе игрушку, и она согревала его душу, как греет душу мальчишки выигранный в расшибалочку пятак. В долгие безрадостные вечера и ночи, лежа на голых неструганых нарах, человек ощупывал минерал руками и вспоминал... Он вспоминал те сотни и тысячи образцов, которые когда-то ощупывали его пальцы. Тупая тоска и безысходное отчаяние отступали под натиском воспоминаний, разгорался тусклый огонек надежды и веры... Минерал расслоился на несколько пластинок, и однажды человек заметил странное явление. Минерал начинал светиться, если его приближали к глазам! Накрыв глаза пластинками, человек лежал в темноте, где ворочались, кашляли, хрипели и умирали люди, а перед его глазами сверкал ослепительный солнечный свет. Просто свет в его чистом виде, свет и больше ничего, но и это было чудо!

Еще одно удивительное свойство черного минерала обнаружил человек. Он светился только в темноте или в тени, на ярком солнце свечение меркло, и человек видел окружавший его печальный мир, как в темном стекле.

Человек не разгадал тайны черных пластинок. Он решил их использовать. От яркого летнего солнца, от страшной известковой пыли каменоломен у заключенных гноились глаза, они слепли и попадали в газовую камеру. Человек сделал себе очки и надел их. К нему подошел капо и остановился напротив него, закрыв собой солнце. У этого убийцы была увесистая дубинка, которой он заколотил насмерть не одного заключенного. Человек стоял и ждал удара. Возможно, последнего удара. И тогда к нему в сердце хлынула лютая ненависть. Ненависть к палачам, истязателям детей и старцев. Ненависть ко всему, что обозначалось словом «фашист». Ненависть ко всем тем, о ком знал, читал и чьи портреты видел в газетах и журналах. Человека душила ненависть. Она была чистая, освобожденная от нерешительности или колебаний.

Но человек стоял неподвижно и ждал удара. Он не мог даже пошевелиться и уж, конечно, не мог нанести смертельного удара своему истязателю. Ярость бушевала только в его голове и сердце.

Сквозь черные пластины, как через толщу океанской воды, он видел темную фигуру капо. Рука с палкой взлетела вверх... сейчас! смерть! Но неожиданно удар получился слабый, нерешительный. Очки слетели с носа, упали на камень, от них откололся кусочек, это и теперь заметно... а человек остался стоять. Зато капо схватился за грудь, задохнулся и выронил палку. Несколько секунд этот зверь, эта горилла, тряс головой, словно избавляясь от навязчивого кошмара, потом повернулся и пошатываясь поплелся прочь.

А на другой день человек узнал, что капо умер. Конечно, этот капо был маловажной фигурой в блоке, он мог умереть от чего угодно и как угодно, но, когда за несколько часов скончался и штурмфюрер войск СС Отто Шромм, человек задумался. Дело в том, что человек и на Отто Шромма посмотрел сквозь черные очки. Штурмфюрер выходил из блока, и человек увидел его жирный затылок в нескольких шагах от себя. Секунды ненависти было достаточно, чтобы, охнув, эсэсовец схватился за затылок и застыл как вкопанный. Сопровождавший Шромма холуй отволок эсэсовца в штаб. К вечеру штурмфюрер испустил дух.

Тогда человек понял, что у него есть оружие. Он мог убивать ненавистью. Ненавистью, которая стала целью и смыслом его существования...

Саша откинулся на подушку и вяло улыбнулся:

— Ну, как сказочка?

— Жаль, что это только сказочка,— тихо сказал Сережа.— Что же дальше?

— Да, жаль. Человек, то есть... впрочем, пусть будет человек. Человек начал мстить. Не было для эсэсовцев страшнее лагеря, чем тот, где находился этот человек. Фашисты умирали от мгновенного кровоизлияния в мозг, паралича, менингита. К сожалению, это не могло продолжаться. Очки действовали на близком расстоянии, и для каждого «выстрела» человеку приходилось неимоверно напрягаться. Его силы были на исходе, он чувствовал, что малейшая неосторожность выдаст его и погубит чудесную находку. На выручку пришел случай, и человеку удалось связаться с подпольной группой сопротивления, действо-

вавшей в лагере. Одним словом, с помощью черных очков семь человек бежали и скрылись в предгорьях Карпат. Среди них был и этот человек.

— А как очки оказались у тебя?

— Очень просто. Мой отец был один из семерых беглецов.

— И что же дальше? — нетерпеливо спросил Сережа.

Саша молчал, на бледное лицо легли голубые тени. Оно казалось прозрачным и чистым, как фарфоровое.

— Я очень устал, Сережа, доскажу в другой раз,— он закрыл глаза.

Сережа осторожно встал. Что ж, надо уходить. Больняга этот Сашка... Какой у него жалкий, несчастный вид. Сережа покачал головой и выскользнул из комнаты.

На улице он вдохнул чистого весеннего воздуха. А что, если у Сашки и впрямь те очки, которые убивали фашистов? Было бы здорово...

Этот Карлов замок так похож на замок, как я на средневекового рыцаря.

Сережа стоял на валу и смотрел вниз. Перед ним лежало болотистое поле, поросшее молодой травой. По ту сторону луга тянулась развалившаяся каменная ограда. За оградой — сад и двухэтажный старый домик. Замком его прозвали за островерхую черепичную крышу, увенчанную тонким высоким шпилем.

Сережа видел стеклянную веранду, выходящую в сад. Окна заколочены фанерой. Между деревьями бродили куры с выводками цыплят.

Над оградой появилась Юркина голова. Он замахал рукой: давай, дескать, живее сюда. Сережа неохотно спустился с вала и направился к замку. Под ногами жадно чавкала мокрая трава.

Глупости все это. Просто игра в сыщиков. Юрка любит такую чепуху. Ничего не получится. Попадемся... И пистолета нет. Юркин отец нашел его в тайнике и забрал. Юрке влетело.

— Давай,— зашептал Юрка. Он был возбужден, глаза горели.— Хозяев нет, на рынок уехали. Сегодня воскресенье. А Генчик на конференции учителей, раньше вечера не придет.

Сережа перелез через забор и спрыгнул в сад. Земля липкая, как тесто. Сделав несколько шагов, он остановился.

— Слушай, Юр, может, не стоит, а?

— Брось ты! Мы ж только посмотрим и сразу уйдем.

— Так ведь двери заперты.

— Э! На веранде все доски болтаются, я уже одну оторвал. А с веранды дверь ведет в комнаты нашего Ярослава. Мы только посмотрим, что у него там, и сразу уйдем, ей-ей, ты не волнуйся.

Они с трудом протиснулись в щель и оказались на веранде, заставленной грудой пустых банок и битыми горшками. Садовая земля была насыпана прямо на дощатый пол.

— Хе, не очень-то хозяйновитый наш преподобный пан профессор,— насмешливо сказал Юрка, озираясь по сторонам.

— А что ему? Это дело хозяев уборкой заниматься. Смотри, какой смешной цветок!

Сережа показал на ярко-красный, очевидно, недавно распустившийся цветок с одним непомерно большим лепестком. Остальные три почему-то не успели развиться. Вырванный с корнем цветок валялся в углу, его выдавал только яркий цвет.

— А вон какая уродина! — Юра показал на толстый ствол без листьев, торчавший из старого горшка. Голубые и розовые прожилки напоминали рисунок кровеносной системы из атласа анатомии.

— А вот какой!

— И здесь тоже...

Мальчики осмотрелись и поняли, что это не простая свалка.

— Больные растения. Наверное, хозяева... — предположил Юрка.

Выходившая из комнат дверь вдруг скрипнула и стала отворяться. Мальчики застыли. От страха Сережа даже вспотел.

Влипли! В дырку двоим не пролезть, дверь в сад на замке.

Юрка, побледневший, независимо заложил руки за спину. Сережа шмыгнул носом. Стояла глубокая тишина, только поскрипывала медленно открывающаяся дверь.

Из нее вышел кот. Мальчики дружно вздохнули. Кот был страшен на вид. С чудовищно раздутой головой, облезлой шерстью, затекшими глазами. Он поднял голову и жалобно мяукнул.

Юрка оттолкнул его ногой и просунул голову в щель. Затем, осмелев, вошел. Сережа послушно двинулся следом.

Комната чем-то походила на веранду. Заставленная невообразимой рухлядью, она напоминала мебельный склад, где хранят вещи, обреченные на сожжение. Лестница в углу прихожей вела на второй этаж. Под лестницей стоял массивный кованый сундук.

Из прихожей раскрытые стеклянные двери вели в гостиную. Виднелся лишь край стола, покрытого темно-красной бархатной скатертью, и старенький диван с бугристым сиденьем.

Мальчики переглянулись. Затаив дыхание, Сережа сделал шаг вперед. Он так и не понял, что произошло. Очевидно, он за что-то зацепился и предмет с грохотом покатился на пол.

В гостиной раздались шаркающие шаги.

— Кто здесь?

Как гром оглушил оцепеневших мальчиков. Шаги приближались. Сережа бросился к лестнице. Сзади раздавалось прерывистое Юркино дыхание. Они вознеслись на второй этаж, как духи, гонимые петушиным криком.

Внизу голос сказал несколько слов по-польски. Послышалось мяуканье, затем грубая брань по-русски. Дверь на веранду хлопнула, щелкнул засов. Человек внизу прошаркал, что-то бормоча, и все стихло.

Мальчики огляделись. Комната на втором этаже походила и на лабораторию и на кабинет. Здесь было много книг, некоторые валялись прямо на полу. Большой письменный стол загроможден приборами. Перед письменным столом огромное венецианское окно, за ним сад, зеленый луг и вал, приведший их к Карлову замку.

— Что делать? — прошептал Сережа.

— Тсс,— Юра прижал палец к губам. Они стояли, боясь пошевелиться, взволнованные, сознавая, что попали в скверную историю. Они забрались в чужой дом, как воришки, и каждую минуту их могли поймать.

На цыпочках они подошли к письменному столу. Меньше всего он напоминал стол школьного учителя. Скорее это было рабочее место радиолюбителя. Элетрический паяльник, канифоль, олово, раствор кислоты в бюксе, старые радиолампы и батареи. Несколько мудреных радиосхем с надписями на немецком языке. Изорванные, закапанные иностранные журналы, чертежи, расчеты.

Ох, и упрямый этот Юрка. Ведь могли же просто прийти к своему учителю. Задача трудная, никак решить не можем, объясните, пожалуйста. Сережа зябко поежился.

— Юрко, давай тикать.

Юрка сердито посмотрел на него.

— Накроют нас. Тикать надо, пока Генчик не вернулся.

— Зачем? — горячо зашептал Юра.— Зачем тикать? Мы сейчас спрячемся, а когда придет Генчик, все подслушаем. Даром мы что ли сюда залезли?

— Куда спрячешься?

— Да хоть сюда! — Юрка указал на массивный темный шкаф.

— А Генчик придет да откроет?

— Он только посмеется над нами,— убежденно прошептал Юрка.

Вдруг снова раздались шаркающие шаги.

Мальчики бросились к большому платяному шкафу. К счастью, дверца не заперта. Она скрипнула только один разик и, может, не было слышно, так как лестница уже потрескивала под тяжестью грузного тела. В шкафу одежды оказалось немного, и два друга поместились там между сильно пронафталиненными костюмами. Дверцы остались приоткрыты ровно на Юркин палец. Сережины ноги топтали мягкие податливые узлы с бельем. Юра почти вплотную придвинул лицо к щели. В комнате щелкнула зажигалка и запахло табачным дымом.

Сережа попытался придвинуться ближе, но потерял равновесие и с ужасом подумал, что сейчас упадет. Оперся рукой о заднюю стенку шкафа и... провалился в пустоту. В шкафу не было задней стенки, ее заменяла черная плотная штора. Сережа попал в чуланчик, из которого можно было подняться на чердак. Он просунул руку в шкаф, нащупал Юрку и потянул к себе.

На чердаке они отдышались.

— Ну и ну,— прошептал Сережа.

Юрка ткнул пальцем вниз.

— Бандит,— сказал он, прижавшись к самому уху Сережи.

— Тикать надо,— тоскливо сказал Сережа.

Юрка согласно кивнул головой.

Они направились было к слуховому окну, но их внимание привлек странный предмет возле одного окошка. Накрытый темным покрывалом, он напоминал алтарь. Спутанные провода уходили от него в пол чердака и к шпилю Карлова замка. Юрка не утерпел, подошел и сдернул покрывало.

Ребята ахнули. Блестящая штука на колесиках походила на огромный фотоаппарат. Ее объектив смотрел на городок, который громоздился своими развалинами сразу же за бывшим крепостным валом.

Сережа прищурился и увидел вдали тонкую ленточку Главной улицы, зеленый пух городского парка, готический остов костела.

— Съемки ведет,— прошептал Сережа.

Юрка скептически пожал плечами.

— А чего там фотографировать? — прошептал он в ответ. — Развалины? Аэродром все равно сюда не попадает. Нет, тут что-то другое. Пошли. Накрой, а то заметит.

Они высунули головы в слуховое окно и тотчас отпрянули. К Карлову замку подъезжала машина. В виллисе сидели Генчик и трое военных с малиновыми погонами. Они оживленно переговаривались, пока машина въезжала во двор. Сережа успел хорошо рассмотреть белокурый чуб Генчика, его крепкие белые зубы. Он рассказывал что-то веселое. Военные смеялись. Голосов не было слышно.

Внизу в кабинете Генчика послышались польские и русские проклятия, упал стул. Человек тяжело затопал вниз.

— Испугался энкаведешников,— сказал Юрка.

— А как же нам?..

— Погодим малость. Посмотрим, что будет. Может, этот бандит сам забрался к Генчику.

Сережа был здорово напуган, но сейчас ухмыльнулся.

— Сам! Держи карман шире. Он Генчика поджидает.

Двое военных вошли в дом. Третий остался за рулем. До ребят доносились глухие голоса и раскаты смеха. Никогда в школе не видели они своего учителя таким веселым. На уроках и на переменах он был ужас какой постный и серьезный.

Сидели долго. Солнце склонилось к закату. Тени на лугу стали острыми и глубокими. Похолодало. У Сережи по спине побежали мурашки, руки заледенели; Юра развлекался, ощупывая и разглядывая «фотоаппарат».

Солдат в виллисе дремал, развалившись на сиденье. Внизу кто-то пытался запеть.

— Выпивают, должно быть,— заметил Юрка.— Им сейчас не до нас. Давай двигать, уже стемнело.

— Только бы на глаза солдату не попасться,— сказал Сережа.

— А мы спустимся с другой стороны, там я видел водосточную трубу.

Путешествие по крутому скату крыши оказалось нелегким делом. Хорошо, что многие черепицы лежали неровно и было куда поставить ногу. Юра первым скользнул вниз. Ржавая труба загромыхала. Сережа несколько мгновений болтал в воздухе ногами, затем нащупал трубу и, обдирая ладони, стал спускаться. Жесть вибрировала и дрожала, издавая ухающие звуки. Сережа спрыгнул и притаился. Рядом на корточках сидел Юрка.

— Тихо!

Несколько секунд, задержав дыхание, они прислушивались. Вокруг них стояла тишина, только из дома доносились приглушенные возгласы гостей. Пригибаясь, чтобы их не могли увидеть из окон, они обогнули дом.

И тут что-то заставило ребят обернуться. Прямо за их спиной из окошка подвала смотрел человек. Стремясь разглядеть их получше, он буквально прилип к грязному стеклу. Ребята увидели широкий белый расплющенный нос и черные усы. И до того был страшен этот безмолвный испытующий взгляд, шедший, казалось, из глубины земли, что Сережа, вскрикнув, бросился в сад. Юрка затопал вслед за ним.

Они перемахнули через ограду и побежали к валу, не разбирая дороги. Уже совсем стемнело, и они порядком забрали в сторону. До вала добежали, вымокнув по пояс, усталые, с дрожащими коленями.

Погони не было. В Карловом замке зажглись огни.

Юрка сел на землю, снял ботинки и вылил из них воду. Сережа проделал то же самое.

— Чтобы я еще раз играл в сыщики-разбойники...— раздраженно сказал он, очищая со штанин комья грязи.— Что я скажу матери?

— А я что скажу батьке и матери? — философски заметил Юра.— Что-нибудь скажу. И ты что-нибудь скажешь. Придумаем. А наведаться в Карлов замок еще придется.

— Ты что?

— А как же? Ничего не доказано.

— Вот те раз! Как так не доказано? Ты видел бандита? Кстати, почему ты решил, что он бандит?

— Ты на меня положись. Если я говорю, это уж точно.

Они шагали по аллейке, ведущей к городу.

— Это тот самый, что смотрел?

— Не знаю, у того, наверху, я видел только спину. А лица не видел. Может, и тот, а может, и другой.

— Ну, хорошо,— рассудительно сказал Сережа,— если это бандит, тогда нужно пойти заявить на Генчика, и все в порядке.

— Ты пойдешь?

— Нет.

— То-то. Надо же проверить, что и как. Видишь, у Генчика и среди военных есть друзья. Может, он для наших работает? А мы тут заявимся, вот выискались какие умные, умнее всех на свете, скрытого фашиста, дескать, обнаружили. Да нам, если что не так, потом на край света придется бежать. Ведь засмеют. В школе пальцами будут показывать. Нет, я за самодеятельность. Давай понаблюдаем. Что страшного? Ну руки поцарапали, ноги промочили. Эка невидаль!

— Ладно,— сказал Сережа,— занимайся самодеятельностью. Только без меня.

— Как так?

— А так! Я тебе не помощник.

— Э,— сказал Юра,— я знаю, ты меня одного не бросишь.

Сережа поморщился. Юрка был прав.

— Как ты думаешь, что у него за аппарат? — спросил вдруг Сережа.

— Не знаю. Но, по-моему,— сказал Юрка,— преступник не станет заниматься наукой. Ему не до радиосхем.

— А может, у него шпионский радиопередатчик?

— Давно бы засекли.

Они вошли в город и, стараясь держаться подальше от света, направились по домам...

Сережа принес для Саши домашние задания, чтобы он не отстал от класса. Тетя Зося, завитая, нарядная, даже красивая, встретила Сережу радостно:

— Наш гарный хлопчик пийшов на шпацир! Йому покращало.

— Где же он шпацирует? — улыбнулся Сережа. Ему нравилась эта веселая женщина. Как-то не верилось тому, что о ней говорили.

— Так где завжды. На валах.

Сережа нашел Сашу на скамейке под старым вязом.

— Ожил?

Саша сидел, запрокинув лицо к солнцу.

— Греюсь, как видишь. Солнце меня не берет, зато я его беру терпением. Принес задания?

Странное дело, почему с Сашкой всегда так тревожно? Может быть, за это его и не любят ребята. Их раздражает его внутреннее напряжение. Сидит, молчит, а чем-то волнует. Что-то такое в нем происходит, невидимое для глаза, но... Они его не понимают; они не понимают, а человек мучится у них на глазах, и никто не хочет замечать. А я понимаю? Понимаю, потому я с ним, хотя и не знаю, как могу ему помочь. Может быть, это только любопытство? Может быть... Ну и что? Это хорошее любопытство. Если пойму, сделаю что нужно. Он молчит, значит, так надо, пусть помолчит.

Сережа вытянул ноги, теплые солнечные лучи навевали лень и покой. Если закрыть глаза, можно услышать, как поют деревья, земля и небо. Особенно небо. Песня неба была далекая и ласковая. Может, там поют птицы? Нет, так поет само небо. Облака и бездонная синяя глубина звучали, как далекие скрипки.

— Как Юрка? — И в вопросе, простом и естественном, все то же скрытое напряжение.

Почему он заинтересовался Юркой? Он никогда ни о ком не расспрашивал.

— Ничего.

— Не знаю, чего ты с ним водишься?

— Он хороший парень. Надежный друг и... в общем, мне с ним нравится.

— Он неплохой,— заметил Саша.

Чего в нем Сережа терпеть не мог, так вот этого снисходительного тона. Тоже мне, бывалый человек.

— Он не неплохой, он просто хороший,— сердито сказал Сережа.

Саша чуть улыбнулся.

И улыбка у него бывает иногда не очень приятная.

— Пусть будет по-твоему. Юрка хороший. Только... он еще очень сырой, ему еще ой-ой сколько головой работать надо, пока он поймет, что эта за штука жизнь.

— Ну и пусть,— возразил Сережа,— у него еще есть время. А кто из нас не сырой? Я? Ты?

— Ты не сырой,— засмеялся Саша,— ты мягкий, теплый и сухой. Об тебя можно греться. И я не сырой.

Он помолчал и добавил:

— Я злой, Сережа, я очень злой. Потому что у меня есть одна заветная мечта и нету сил эту мечту исполнить.

— Наговариваешь на себя, Сашок...

— Брось ты! Не наговариваю, а недоговариваю. Ты меня не знаешь. Ты ребенок, мальчишка, а я старик. Мне с вами на одной парте сидеть смешно. Все эти игры и забавы для меня так, тьфу! Да и сил у меня для них нет. Я свои силы для другого берегу.

— Поэтому на тебя ребята зуб имеют, что ты перед всеми заносишься и самым умным себя считаешь.

— Не заношусь я, просто мне не до них. А на уроках я занимаюсь делом. Мне нужно получить четкие правильные знания. Мне некогда в морской бой играть, я из-за своей головы да нервов месяцами в школу не заглядываю, сам знаешь. У меня все рассчитано, у меня цель в жизни есть. А что у вас? Ну что с вас спрашивать? Вам пятнадцать лет, а мне тридцать, сто тридцать!

Саша замолчал, закрыл сверкающие черные глаза и подставил лицо солнцу. Они молчали, и молчание длилось бесконечно долго, время текло медленной и густой медовой струей. И не было конца вязкому молчанию, льющемуся теплу из синих небес, назойливому жужжанию невидимых мух.

— Саша,— робко попросил Сережа,— ты обещал досказать мне про черные очки. Это те самые? Неужели они могут убивать? Ты пробовал?

— Ишь ты какой... А впрочем, сказавший «а», да скажет «б».

Он нахмурил брови.

— Так получилось, что я был в другом лагере, не там, где отец. И, как ни странно, ближе, чем он, к гибели. Я не изнывал от непосильного труда в каменоломнях, меня везли прямо в газовые камеры. Это был Освенцим, будь он проклят отныне и навсегда! Спасло меня чудо — меня не сожгли сразу, а дали возможность умереть от дизентерии и голода, ну, а если бы я это выдержал, тогда бы, конечно, сожгли. Потом немцы ударились в бегство, не забыв прихватить с собой и уцелевших узников. Начались мои скитания по лагерям. Но до окончательной ликвидации дело не дошло. В одно прекрасное утро немецкая охрана исчезла. А вскоре подошли американцы. Я тогда уже был очень болен. А месяцы, проведенные в западной зоне, меня окончательно доконали. Нервы стали совсем никудышные. Я не буду рассказывать, что мне пришлось вынести потом, это слишком много, да и вредно слушать детям. Одним словом, я выбрался оттуда и вернулся сюда, подо

Львов, в родные места. Я знал, что не найду своей матери, она погибла в газовой камере. Но я не знал, что сталось с отцом. Он скрывался у чужих людей, он был блондин с голубыми глазами, и его не могли схватить на улице. В концлагерь его привело предательство. Вот так...

Саша замолк.

— Дай сигарету, Сережа.

— У меня с собой нет.

— Ладно, черт с ними, с сигаретами. Да, дома меня ожидала огромная радость. Это даже не радость, а счастье. Меня встречал живой и почти здоровый отец. Что тут было! Я узнал, что своим вызволением из западной зоны обязан в значительной мере усилиям отца. Он разыскал меня... Мы попытались жить заново. Ведь мы были не только родственники, но и товарищи по страданию. Все шло отлично. Отец с головой влез в работу, он хорошо знал людей и наши условия. Выезжая в село, он не клал в коляску мотоцикла автомат, как то делает наш уполномоченный, что живет напротив, но... в кармане его лежали черные очки.

— Как? Они же были у геолога?

— Из семерых, покинувших концлагерь, в живых остался только отец. Остальные погибли. Кто в партизанах, кто умер в дороге от истощения. Геолог передал отцу очки как память о славном побеге.

— Они ими пользовались?

— Отец говорил, что пуля в тех обстоятельствах была вернее, чем стреляющие очки. Тем более что только у геолога все получалось очень здорово. Наверное, он был какой-то особенный. Так или иначе, отец возил с собой очки, как талисман. Но заклинания бессильны перед коварством. Отец получил письменное приглашение от старого знакомого из одного села. Однажды он как раз проезжал мимо по райкомовским делам и решил навестить своего бывшего приятеля. Он пошел один. Его уже там ждали «лесные братья». Три часа они мучили...

— Не рассказывай.

— Нет, не думай, я уже прошел через это. Предатель потом рассказывал, что слышал все, сидя в каморке, рядом с горницей, где бандеровцы истязали моего отца. Он слышал, как его били, как накачивали водой, как ломали ребра, раздавливали досками органы, он слышал все. Он поседел, потому что бандиты угрозой вынудили его написать записку и ему было жалко моего отца. Но еще боль-

ше ему было жалко своих детей и жену, которым грозила в случае отказа смерть. Итак, однажды домой привезли тело моего отца, которого не смог убить Гитлер и которого убили бандиты, а в кармане у него лежали черные очки. Я думаю, он просто не успел ими воспользоваться.

Саша отвернулся. Сережа молчал.

— Вот какой грустный конец у этой истории,— сказал Саша.— Ты не горюй, Сержик. Теперь уж ничему не поможешь. А очки я тоже ношу с собой. В нагрудном кармане. Вот здесь.

Он хлопнул себя по груди.

— Они... работают? — тихо спросил Сережа.

— Нет, никогда я не замечал, чтобы они работали. Впрочем, сам понимаешь, я не могу проверить их на людях.

— На плохих можно,— убежденно сказал Сережа.

— И на плохих нельзя. Только когда я встречу тех... я надену очки.

— А что, очки ни разу не стреляли?

— Нет, Сержик, может, они вообще никогда не будут стрелять, может, в них должен смотреть особый человек, как тот геолог, не знаю. Сколько я на кошек и собак ни смотрел, ничего с этой живностью не происходило. У нашего Кабысдоха, по-моему, после выстрела из очков только аппетит прибавился. Жрать стал раза в полтора больше.

— Слушай! — заволновался Сережа.— Нужно показать учителям, ученым, это ж интересная штука!

— Не надо,— жестко сказал Саша,— никому ничего не надо показывать. Сначала я посчитаюсь с отцовыми убийцами, а потом будем показывать.

Они опять замолчали. И было в этом молчании какое-то затаенное кипение.

— Я, Сережа, мечтаю быть прокурором. Большим прокурором. Как, скажем, Руденко. Выступать на международных судах, там, где судят страшных преступников, которых судили, например, на Нюрнбергском процессе. Я мстить хочу, Сережа. Не только за отца, а вообще за всех убитых, замученных. Я вот думаю, поймают тех, кто истязал отца, и что будет? Что? Ну, может, расстрел или там двадцать лет, если найдется какой-то оправдательный повод. Пуля для убийцы? Это что? Мгновенная смерть, почти незаметное избавление от страданий. Там, в лагерях, люди мечтали о пуле! На совести у преступников

годы, не часы, а годы мучения людей, и мгновенная смерть — в расплату. Годы преступлений — и миг наказания. Тысячи, десятки тысяч часов насилий и зверств — и секунда возмездия. Несправедливо это, Сережа! Наказание должно быть соизмеримо с преступлением! Преступник должен знать, что возмездие — это всего лишь обмен ролями, и чем страшнее мучение жертвы, тем страшнее кара. Подумаешь, приговорили Геринга к виселице!

— Он отравился,— тихо сказал Сережа.

— Да. Это что? Насмешка над всеми павшими по воле этого выродка! Когда я найду отцовых убийц, они у меня пройдут все ступени, которые прошел отец. Три года постоянного страха смерти и три часа нечеловеческих мучений. Они у меня узнают...

Саша говорил отрывисто, взволнованно. Было странно, что белое лицо его даже не порозовело под солнцем.

— Ты не прав, Саша,— тихо сказал Сережа,— мы не фашисты. Мы не можем мучить человека, даже если он большой преступник. А убийцам всегда дорога своя шкура, поэтому смерть для них — самое большое наказание.

— Нет! — Саша отчаянно замотал головой.— Это мы так думаем. И это неправильно. Для того чтобы скончался Гитлер, пришлось смерти скосить пятьдесят миллионов человек. За одну жизнь сумасшедшего пятьдесят миллионов невинных? Нет, ты это понимаешь, Сережа?

Он повернулся к Сереже, его широко распахнутые, как окна, глаза излучали недоумение и боль.

— Я этого не понимаю,— говорил Саша уже глухо, устало, почти безнадежно,— я думаю, думаю и не понимаю. Но знаю, что если б Гитлер... знаешь, смерть от пули, от цианистого калия для таких убийц все равно что палочка-выручалочка. Нагадил, накровянил, наследил и... на тот свет.

Саша стукнул кулаком по колену. «Словно кастаньетами щелкнул»,— подумал Сережа.

— Теперь понял, почему я хочу выучиться на прокурора?

— Почему? — наивно заметил Сережа.

— Эх ты, детеныш. Я сделаю боль наказания равной боли преступления. Вот тогда убийцы всех мастей и масштабов будут долго чесать затылок, прежде чем решиться на что-либо. Я их...

Внезапно он задохнулся и схватился за виски. Лицо его помертвело.

— Что с тобой?

— Пойдем отсюда,— он медленно приподнялся, — немного перегрелся.

Сережа проводил его домой. Руки у Саши были холодные и липкие, он держался за Сережино плечо, тяжело дышал.

В своей кровати он быстро успокоился и подмигнул Сереже:

— Вот такой я, старик. Не гожусь ни к черту.

— Чего там. Ты еще ничего,— неуверенно отозвался Сережа.

Саша улыбнулся и закрыл глаза. Они молчали.

Вот он, оказывается, какой, Сашка. Что же, так оно и должно быть. Если человек страдает, он быстро становится взрослым· Вот почему он так зол. И черные очки...

Сережа взглянул на друга. У того по-прежнему веки были опущены, но глаза под ними шевелились, значит, не спит.

— Саша,— тихо сказал Сережа,— дай мне посмотреть в очки.

— Только на меня не смотри, гляди в окно, на солнце, в угол, чтоб блестело, куда хочешь — улыбнулся он. Это была странная улыбка с закрытыми глазами. Странная и немного жуткая.

Сережа взял очки. Теперь он хорошо рассмотрел их. Диски шлифовались вручную, края их в нескольких местах были отбиты. Сережа приблизил очки к глазам.

— Слушай, а почему они светятся? Это тоже от солнца?

— Нет, они светятся и ночью. И вечером, и утром. Если только не глядеть прямо на солнце. Такое уж у них свойство. Я не знаю, почему они светятся. Свечение остается, даже если закрыть глаза. Попробуй, если хочешь.

— Да, правда! Вот здорово! — воскликнул Сережа, прижимая диски к векам.— Это необыкновенные очки!

— Еще бы! Я часто так... смотрю в них с закрытыми глазами. Похоже, словно смотришь из-под воды на солнце. Правда?

— Да, вроде того,— согласился Сережа,— только ярче. Какие-то маленькие молнии пробегают, и точки, и круги. Вот интересно!

— Ты только не очень увлекайся,— сказал Саша,— а то голова начнет болеть. У меня уже был приступ из-за них.

Повертев еще очки, Сережа спрятал их в шкатулку.

— Когда ты выйдешь?

— Не знаю. Думаю, к майским праздникам. Ты уже пошел? Передавай привет своему Юрке.

— Ладно.

Маленькая трибуна и маленькая площадь перед нею были заполнены народом. Шествие праздничных колонн еще не началось, знамена и транспаранты лениво покачивались, люди громко говорили, пели песни, смеялись. Школьники в ожидании парада бродили по улице, выходящей на площадь.

Сережу кто-то дернул за рукав. Он резко обернулся.

— А, это ты, Юрко? Чего тебе?

У Юрки был загадочный вид.

— Слухай, пошли отсюда, погуляем. Нас пропустят часа через два, не раньше.

— Идет.

Шли молча. Сначала вверх по Главной улице, затем у ресторана «Бристоль» повернули направо и вышли на валы.

— Куда мы идем?

— К Генчику в гости.

— Я не хочу! — Сережа остановился.

— Ну что ты? — горячо заговорил Юрка.— Генчика нет дома, он на демонстрацию пошел. Я видел, он на мотоцикле к школе подъезжал. Хозяева тоже, наверное, пошли посмотреть, так что...

— А тот? Бандит с усами? Ты же сам говорил, что видел у него автомат, когда подглядывал из шкафа. Загудим к нему прямо в лапы. Пристрелит, как щенят.

— Брось ты! Этого бандита там уже давно нет. Я думаю, он не имеет никакого отношения к нашему Генчику. Он, должно быть, приходил к хозяевам.

— Выгораживаешь ты своего Генчика!

— Не похож Генчик на человека, у которого связь с бандеровцами. У него много знакомых среди военных, даже среди оперативников.

— Генчик ведет двойную игру,— сердито сказал Сережа.— И нашим, и вашим. Хитрый он. А военные тоже, наверное, переодетые бандеровцы. — Ему пришла в голову здравая мысль: — Юрка. А что нам делать в Карловом замке, если там никого нет? За кем следить?

— Э! — махнул Юрка.— Нам не надо следить. Мы

стащим ту штуку, что на чердаке, и узнаем, передатчик это или нет.

— Да ты в своем уме? Она полтонны весит, ее с места не сдвинуть!

— Ну-ну, не полтонны, от силы центнер. Но мы ее трогать не будем. Мы выверпем кое-какие детали и покажем специалистам.

— Ерунда это,— сказал Сережа,— я тебе без специалистов скажу, что ничего мы не узнаем. Пустая это затея. Ребячество.

— Ты что, боишься?

Сережа помолчал. Потом тряхнул головой· Знала б мама...

— Ладно, пошли.

В Карлов замок они проникли уже опробованным путем: через пролом в каменной ограде. Юрка заметил возле одного дерева небрежно присыпанный землей труп кошки.

— Смотри, Сережа, это тот кот, что был в прошлый раз.

— Да. Ну и страшилище. Кто мог его так замордовать?

На этот раз они не полезли на веранду, а обошли замок со всех сторон. Все двери были закрыты. Юрка присаживался и осторожно заглядывал в окошки подвала.

— Ну, что?

— Ничего не видно. Дрова да уголь.

Сережа взобрался на дерево и заглянул в окно второго этажа.

— Кто-нибудь есть?

— Ничего. Никого.

Они потоптались перед парадной дверью. Постучали. Позвонили. Снова постучали, снова позвонили. Молчание.

— Ну, ладно, пошли на веранду.

Оказалось, что дверь в комнаты заперта. Ребята переглянулись.

— Что делать?

— Пошли домой,— сказал Сережа.

— Я придумал.— Юрка подошел к водосточной трубе.— Полезли?

— Соседи увидят...

— Где те соседи? За километр? Увидят, если будут смотреть в бинокль. Полезли.

Труба скрипела и стонала, но выдержала. Через несколько минут они уже были на крыше и, распластавшись, поползли к слуховому окну.

— Юрко, окно закрыто!

— А, сто чертей ихней маме! Разбей стекло, только осторожно, локтем, не поранься.

Дзень!.. Черная звезда вела в пыльную темноту чердака. Юрка легонько обломал острые края.

После солнечного дня чердак показался им черным подземельем. Некоторое время они приглядывались. Ничего не изменилось, возле одного из окошек темнела массивная установка.

— Ну, давай, — шепнул Юра,— нужно действовать быстро.

Они начали стаскивать чехол. Вдруг сзади раздался голос:

— Осторожно! Поломаете аппарат. Не оборачиваться! Стреляю.

Затем голос скомандовал:

— Поднимите руки вверх и сделайте шаг назад! Еще шаг, еще, так, ложитесь.

На головы ребят упала черная тряпка. Кто-то прошел рядом с ними и сказал:

— Будете так лежать. При попытке двинуться стреляю без предупреждения. Молчать, не переговариваться, отвечать на мои вопросы. Отвечайте: фамилия, имя?

Они сказали.

— Учитесь, работаете?

На это ответил только Юра, Сережа не мог, он задыхался под тяжелой накидкой.

Юра начал врать. Сереже показалось, что он врет довольно складно. Сбежала, дескать, любимая мамина кошка, и они отправились ее искать. Им сказали, что ее видели рядом с Карловым замком, и они решили...

— Врешь,— прервал голос,— лежи, молчи и постарайся придумать что-нибудь поинтереснее. А правду я из тебя все равно добуду.

Сережа лежал, уткнувшись носом в пол, и слышал, как рядом посапывает Юра.

— Я задыхаюсь,— сказал Сережа.— Можно лечь удобнее?

— Ложись,— ответил голос,— но не пытайся бежать или подсмотреть, пристрелю.

Сереже казалось, что уши у него заложены ватой. Голос едва проникал сквозь сукно. Бу-бу-бу.

На кого он похож? Говорит по-украински с едва уловимым акцентом, скорее немецким, чем польским. Но это

не тот, с усами. У того голос был хриплый и акцент чисто местный, галицийский...

Сережа повертел головой, освобождаясь от тяжести тряпки. Юркино сопение резко усилилось, и Сережа понял, что он находится совсем рядом под одним воздушным колоколом со своим испытанным другом. Страшная слабость, которая владела его телом с той минуты, как они услышали голос, стала уходить, на смену ей пришло напряженное нервное возбуждение.

Он почувствовал удар по ногам.

— Ты что, не слышишь? Я сказал тебе, вытяни руки по швам!

Сережа вытянул, и от этого лежать стало еще неудобнее. Щека упиралась в какой-то колючий предмет, который вонзался в тело, как нож.

«Почему я не услышал, что сказал бандит? Это тряпка... Она мешает, она изолирует голос, вот в чем дело. Недослышишь, а он тебя пристрелит, с него станется. Нужно было сказать ему, что я не слышу, а то всадит пулю. Но раз так, можно говорить тихо, и он тоже не услышит...»

— Юрко... Юрко, ты меня слышишь?

— Да...

— Что нам делать?

— Не знаю.

Они замолчали. Раздался шум, на чердаке появился еще кто-то. Два голоса забубнили по-польски. Сережа услышал, как назвали его и Юркину фамилии. Топот ног. Ругань. Опять шаги. Кто-то бегал по чердаку.

— Это Генчик,— зашептал Юрка,— тот ему сказал, что задержал нас при очень странных обстоятельствах. Генчик ругается. Говорит, не до нас, уже началась демонстрация. Сейчас пойдут летчики. Нужно начинать...

Сережа слышал, как двое мужчин, переговариваясь, суетились где-то совсем рядом. Послышался скрип открываемого окна. Генчик (теперь Сережа узнал его голос) бросал короткие фразы на немецком языке. Второй отвечал на смеси украинского и польского.

— Ну, что они говорят, Юрка?

— Сейчас... плохо слышно, я немецкий хуже знаю, чем польский. Вот... второй хочет нас пристрелить, а Генчик говорит, что сейчас нельзя привлекать внимания и времени нет, пусть лежат... После опыта... Волна пройдет по Главной улице до площади, трибуны тоже захватит... Это

все же не луч, а волна... Конечно, жертвы будут и среди населения... Это посильнее атомной бомбы, за нее там руками и ногами ухватятся... Но мы должны навести сначала порядок здесь... Первый опыт на такое расстояние может и не удаться. Он что-то включил.

Ребята услышали гудение высоковольтного трансформатора, Генчик крикнул, и его помощник бросился в дальний угол чердака. Пробегая мимо ребят на обратном пути, он наступил на тряпку, покрывавшую их головы. Завеса сползла с их глаз, и они увидели...

Ярослав Генчик без пиджака, в праздничной рубашке и новых брюках яростно вертел сверкающий штурвал установки. Окно на крыше было открыто, и никелированный ствол аппарата смотрел на город. Помогавший Генчику бандеровец был в форме сержанта войск НКВД. Он присел возле аппарата на корточки и смотрел в бинокль.

Генчик снова сказал что-то непонятное, гудение усилилось. Сережа видел только напряженные спины людей, возившихся у аппарата.

— Они там и не подозревают, что уже умерли,— сказал человек с биноклем.

— Бесшумная и невидимая,— отрывисто бросил Генчик.

Гудение в аппарате усилилось, оно постепенно перешло в вой.

Генчик только пожимал плечами, его слов уже не было слышно. Аппарат визжал, как пила на лесопильном заводе. Визг вздымался выше, выше, чердак наполнялся воем, воздух густел и сотрясался, на головы мальчишек сыпалась пыль и куски черепицы.

Генчик рявкнул и взмахнул рукой. Из аппарата вырвалась короткая белая молния и ударила учителя физики в грудь. Корпус аппарата краснел, краснел, словно наливался кровью, и вдруг лопнул. Вспыхнуло яркое пламя, и Сережа закрыл глаза. А когда открыл, увидел над собой Юрку в клубах дыма.

— Давай, давай. Дом горит...

Мальчишки кубарем скатились с крыши. Они бежали еще быстрее, чем в прошлый раз.

На валах они впервые перевели дух. Тонкие струйки дыма соединялись над домом в большое синеватое облако.

К замку уже мчалась пожарная машина.

Дойдя до дома, Сережа спросил:

— Так кто, по-твоему, Генчик?

— Фашист,— убежденно сказал Юра.

Дома Сережу ждала неприятная новость. Мать сказала ему, что с Сашей случилось несчастье...

— Когда? — удивился Сережа.— Он же все время лежал дома?

— А сегодня взял и вышел на демонстрацию, и с ним там случился приступ, не то еще что-то, какой-то взрыв... Я точно не знаю, но он очень плох сейчас. Ты сходил бы, проведал его, как-никак без отца и матери.

— Меня все же впустили в палату к Саше,— рассказывал потом Сережа Юрке.— Тетя Зося поплакала и ушла. Я долго сидел у него. Голова вся забинтована, он ничего не видел, но говорил довольно внятно, только голос был глухой и слабый.

Говорил он очень медленно. Слова падали, как капли из закрытого крана. Я и сейчас помню каждое слово. Я держал его за руку и чувствовал неровный пульс.

В тот день Саша очень хорошо себя чувствовал и решил пойти на демонстрацию.

Из дому он вышел часов около десяти. Захотелось побродить по праздничному городу, потолкаться среди людей, смотреть, смеяться. Был он очень слаб, голова кружилась от крепкого воздуха.

На Главной улице было еще шумнее, еще веселее и теснее, изредка его окликали знакомые. От света и гама у него кружилась голова, заболели глаза. Он достал черные очки и надел. Сразу стало легче.

Парад уже начался, шли летчики. Торжественно играл духовой оркестр. Он повернулся и посмотрел вверх, туда, где Главная улица переходила в разрушенный пригород. Деревья над далекими домами казались похожими на темные облака. Оттуда, из-за города, веяло душистой прохладой весенней земли.

Он стоял, наслаждаясь теплым весенним днем и близкой человеческой радостью.

Внезапно все изменилось. На горизонте, куда он смотрел, возникла ярко-красная точка, от нее побежали концентрические кольца, они становились все больше, больше... Вскоре он очутился внутри огромной трубы из плотных разноцветных колец. Все вокруг — люди, дома, мостовая, небо, деревья, машины — пришло в движение и, сплющиваясь, деформируясь, вытягивалось в виде колец, превращалось в стенки этой трубы.

Он сорвал очки в испуге. Рядом бурлил людской поток. Никому не было дела до его странной галлюцинации.

Он опять надел очки. Видение повторилось. Он встревожился, потом его охватил настоящий страх. Он понимал, что происходит что-то ужасное. Опасное для людей, которые беззаботно смеялись и весело шли, взявшись за руки. Ведь этого раньше не было. А потом оно возникло. И оно менялось.

Он видел, как концентрические круги пришли в движение. Они перемещались с бешеной скоростью. Наслаивались друг на друга, уменьшались, уменьшались, пока не обратились в дьявольскую красную точку. Труба, в которой он стоял, вертелась, ввинчивалась в горизонт. Его затошнило, и он вновь снял очки, а потом вновь их надел и вновь попал в гигантский водоворот, в котором уже ничего нельзя было различить: ни земли, ни неба. Перед ним была суживающаяся воронка, и он стоял внутри нее.

Тогда он решил, что мираж рожден его больным мозгом. Он подумал, что так начинается безумие и он сейчас сойдет с ума.

Стиснув зубы, он заставил себя бороться с миражем. «Тебя нет, тебя нет»,— твердил он, уставившись в точку, откуда ползли кольца. Он собрал всю волю, он напряг все силы. Он неистово желал исчезновения дьявольского видения. Он заклинал и молил его исчезнуть. Но труба не исчезала. Она становилась плотнее и уже.

Его охватило отчаяние и злость, что он не может справиться с собственной слабостью.

И вдруг из центральной точки вырвался тонкий, как игла, луч и ужалил его. Больше он ничего не помнил. А люди потом говорили, что у него вдруг взорвались черные очки...

Юра слушал, не перебивая. Они только что похоронили Сашу и, подавленные, суровые, возвращались домой. День угасал. Ржавое небо и багровый осколок солнца только подчеркивали немоту и неподвижность черных станционных столбов...

День угасал. Ржавое небо и багровый осколок солнца только подчеркивали немоту и неподвижность черных станционных столбов. Сергей Александрович невидящим взглядом уставился в окно. Недопитое пиво осело. В нем угасал последний свет дня.

Что же тогда произошло? Какая битва состоялась на глазах ничего не подозревающих зрителей?

После смерти Саши он долго ломал над этим голову, но, увы, наука в те дни еще не занималась подобными вещами. Да и где им с Юркой было разобраться во всем! А потом было недосуг, и все постепенно забылось, сгладилось, быльем поросло.

Но однажды совершенно случайно Сергею Александровичу попалась статья видного советского биолога. В ней шла речь о взаимодействии радиоволн и живого организма. Сначала Сергей Александрович лениво пролистал ее, потом заинтересовался. Даже сделал некоторые выписки:

«...В биологической активности электронных полей главную роль играет не энергетическое взаимодействие (преобразование энергии в другие формы), а какое-то иное.

...Мы сталкиваемся здесь со взаимодействием электромагнитных полей и химической информации живых организмов, то есть с влиянием полей на преобразование, передачу, кодирование и хранение биологической информации, ответственной за воспроизводство белковых структур.

...Периодически изменяющиеся электромагнитные поля различных частот могут навязывать биологическим процессам несвойственный им ритм или, иначе говоря, вводить в организм вредную информацию. Она искажает нормальные информационные процессы. Вместе с тем периодически изменяющиеся электромагнитные поля определенных частот могут служить источником полезной для организма информации (такими, наверное, являются природные поля).

...Сантиметровые же волны вызывают колебания частиц в едином ритме, а следовательно, не только увеличивают общее тепловое движение частиц, но и навязывают им несвойственный режим движения. А это может привести к нарушению нормального порядка перемещений ионов и молекул, которыми обусловливаются информационные процессы (например, возникновение и распространение биотоков в нерве).

...Дают основание полагать, что периодически изменяющиеся электромагнитные волны в большей степени влияют на информационные процессы в живых организмах, чем поля, хаотически изменяющиеся...»

И события двадцатилетней давности ожили и предстали перед внутренним оком Сергея Александровича, будто все случилось вчера.

Прошлое выросло вдруг и вытеснило и привычные заботы, и тот несколько ленивый скептицизм, который приходит вместе с жизненным опытом.

Строй его мыслей был прост. Он подумал тогда, что аппарат Генчика мог быть именно таким электромагнитным излучателем, обладающим вредным, смертельно опасным для человека действием. Может, Генчик и не сам его придумал, ведь он во время войны, как потом выяснилось, работал в Яновском концлагере, а там нацисты ставили опыты на людях. Какие опыты, это и до сих пор не известно, но Генчик имел к ним отношение. После разгрома фашизма он притаился и решил совершенствовать новый вид оружия.

Очевидно, он продолжил эти опыты на растениях, животных, на том самом несчастном коте, который сначала напугал их, а потом, уже мертвый и полузасыпанный землей, вызвал смутное чувство страха и отвращения. Конечно, Генчик мог бы работать и на Западе. Но он был ярый националист, ему нужна была победа дома.

Черные очки тоже могли быть своего рода изучателями, созданными самой природой. Они усиливали радиоизлучение мозга и превращали его в пучок направленных радиоволн.

Если это действительно так, то становились понятны все чудеса, которые геолог проделывал с нацистами в лагере. У него был своеобразный гиперболоид инженера Гарина, только работающий не в световом, а в радиодиапазоне.

Что же произошло тогда, 1 Мая, в тихом закарпатском городке?

Странное, почти невероятное совпадение. Но сколько в жизни бывает еще более странных и невероятных совпадений? Итак, поединок между двумя излучателями. Генчик направил на первомайскую демонстрацию искусственно генерируемый пучок радиоволн, который встретился с волной, идущей от черных очков. Саша победил ценой колоссального нервного напряжения, ценой жизни...

Конечно, рассуждения Сергея Александровича могли быть ошибочными. Он не ученый. И все же на чердаке Карлова замка не мог взорваться просто какой-нибудь миномет неизвестной конструкции или сверхдальний огне-

мет, по тем или иным причинам оказавшийся у бандеровцев. Конечно, насчет «невидимой или бесшумной смерти» они с Юркой могли ослышаться. Слишком перепугались. Но вот все остальное... И эти больные растения, и несчастный покалеченный кот...

Сергей Александрович взял отпуск на несколько дней, простился с женой и семилетным сынишкой и сел в поезд Москва — Ужгород, отходящий с Киевского вокзала в 17.36.

Вот и сидит он теперь за кружкой пива, смотрит в окно, за которым садится солнце, и думает, как быть дальше. По лицу его пробежал оранжевый отсвет, потом опять тень и снова свет. Все быстрее, быстрее... Это отошел поезд 19.03 на Москву.

Буфетчик отворил дверь и придержал ее, чтобы дать пройти помощнику, согнувшемуся под тяжестью металлических сеток с бутылками. С последними прямыми лучами солнца в дверь ворвался запах железной дороги.

И, как живой, встал перед ним Сашка! Худой нервный «шкелетик» с черными очками — последним оружием обреченных.

Вспомнил он Зосю, Юркиных родителей... Не может быть, чтобы не осталось никаких следов! Не может быть. Надо задержаться хотя бы еще на один день. Может, кто и отыщется...

Последнее оружие обреченных, последнее оружие твоих глаз, Саша.

И. РОСОХОВАТСКИЙ

Каким ты вернешься?

1. Нет, ее поразили не слова — слов девочка не могла точно вспомнить: кажется, спросил, почему она плачет. Но голос... Он звучал совсем не так, как другие... И такой ласковый, что она заплакала сильнее. Словно сквозь мокрое стекло заметила его озабоченную улыбку. Девочке показалось, что она ее уже видела очень давно. Вот только вспомнить не могла...

— Тебя кто-то обидел?

Девочка отрицательно покачала головой. Он поспешно добавил:

— Я не собираюсь вмешиваться в твои дела. Просто мне скучно гулять одному. А тут вижу: ты идешь да еще плачешь...

Девочка недоверчиво улыбнулась. Мокрое стекло перед ее глазами начало проясняться.

Она вспомнила, как учитель сказал: «Вита Лещук, ты виновата и должна извиниться перед Колей». Она тогда упрямо закусила губу и молчала. «Ну что ж, ты не поедешь на экскурсию. Побудешь дома, подумаешь.» Не могла ведь она рассказать, как было на самом деле. Вита Лещук не доносчица. Пусть уж лучше ее наказывают...

— Послушай, девочка, я-то знаю, что виновата не ты, а Коля.

«Знает? Но откуда?»

— Послезавтра я лечу на день в Прагу. Хочешь со мной?..

Девочка вздрогнула, остановилась. Тоненькая и легкая, с пушистыми волосами, она сейчас до того была похожа на одуванчик, что хотелось прикрыть ее от ветра.

«Послезавтра наш класс летит в Прагу, а меня не берут...»

Вита подняла голову и внимательно посмотрела на незнакомца. Он был высокий, с несуразно широкими плечами, нависающими, как две каменные глыбы. Может быть, поэтому он немного горбился. На треугольном лице с мощным выпуклым лбом все угловатое, резкое. Даже брови напоминают коньки «ножи». А глаза добрые и тревожные.

— Проводить тебя немного?

Быстро добавил:
— А то мне одному скучно.
Вита молчала, и он снова заговорил:
— Расскажу тебе свою историю, может быть, ты захочешь мне помочь...
Против этого девочка устоять не могла.
— Хорошо, рассказывайте.
Медленно пошла дальше, покровительственно поглядывая на него. И он шел рядом, пытаясь приспособиться к ее шагам.
— Видишь ли, в Праге у меня очень много дел. Все их за день одному ни за что не переделать. А если ты согласишься полететь со мной и хотя бы выполнишь мое поручение на фабрике детской игрушки, я справлюсь с остальным. Ну, как, согласна?
— Надо еще спросить разрешения у мамы и бабушки,— сказала Вита, и незнакомец почему-то обрадовался.
— Конечно. И поскорей.
— Мой дом уже близко.
Она настолько прониклась доверием к спутнику, что перед эскалатором подала ему руку. Здесь было очень оживленно. Незнакомец так стиснул ее руку, что девочка вскрикнула.
— Извини, Вита.
«Откуда он знает мое имя? Почему ничего не говорит о себе? Как его зовут?»
— Пора и мне представиться,— тотчас произнес он.— Меня зовут Валерий Павлович. По профессии я — биофизик. Сейчас в отпуске. Но он кончается.
Некоторое время они ехали молча. И каждый раз, переходя с эскалатора на эскалатор, Валерий Павлович брал Виту за руку. Его пальцы были сухие и горячие, как будто он болен и у него высокая температура.
Когда подошли к Витиному дому и дверь автоматически открылась, Валерий Павлович на миг задержался у порога, словно не решаясь войти...

2. Их встретила мать Виты — маленькая круглолицая женщина, с такими же, как у дочери, пушистыми рыжими волосами. Она изумленно уставилась на незнакомца:
— О, к нам гость!
Женщина присмотрелась к Валерию Павловичу, и ей стало казаться, что она не раз его видела. Но когда? Где?
— Ксана Вадимовна, — представилась женщина.

— Валерий Павлович.— И сразу же отвел глаза.

«Где я его видела?» — пыталась вспомнить женщина. Сначала она решила, что это кто-то из сослуживцев мужа. Но тогда она помнила бы его, как помнит всех, кто имел отношение к Антону, к ее Анту. Она усиленно напрягала память, но ничего не вспомнила. А когда успокоилась, память сама легко, как вода соломинку, вытолкнула наверх воспоминание. Фойе театра. Выставка картин молодых художников. Она тянет мужа за руку: «Ант, да пошли же! Третий сигнал!» А он не может оторваться от картины, написанной звучащими красками. На ней из тьмы выплывает лицо с заостренными чертами, яростно устремленное вперед. Ант сказал ей тогда: «Вот каким мне бы хотелось быть». Жена искоса взглянула на его полное доброе лицо с чуть оттопыренной губой и улыбнулась про себя: «Мальчишка!» А теперь она видит перед собой тот же портрет, но оживший.

«Может быть, художник писал его именно с этого человека? Невероятно...»

— Мама, а меня Валерий Павлович приглашает с собой в Прагу! — не замедлила сообщить девочка.— Он летит туда в тот же день, что и наш класс.

— Вот вы там и увидитесь,— сказала Ксана Вадимовна, не вдумываясь в слова дочери. Она смотрела на гостя и думала: «Как будто сошел с того портрета. Это лицо... Его мне уже не забыть. Только теперь я, кажется, понимаю, что нашел в нем Ант. Но оно слишком подвижно, так быстро меняется выражение, что невозможно уловить...»

— Мама! — нетерпеливо напомнила о себе девочка.— На экскурсию меня не берут, если не извинюсь перед Колей.

— Что случилось?

— Я ударила его.

— И не хочешь извиниться?

— Ни за что. Он сказал, что герои — дураки, а трусы — умные. И что их называют по-другому потому, что это выгодно другим.

— Надо было объяснить.— Ксана Вадимовна попыталась успокоить дочь.

— Кому? Кольке? — девочка сказала это так выразительно, что мать невольно улыбнулась, а потом ей пришлось хмурить брови, чтобы показать, что она осуждает дочь.

— Несчастный человек ваш Коля. Жизнь у него будет неинтересная, если он не изменится,— проговорила, входя из другой комнаты, пожилая, но еще крепкая жанщина с цыганскими глазами. Ее короткие черные волосы были так причесаны, что казались растрепанными.

— Я — Витина бабушка,— сказала она гостю и опять обратилась к Вите: — Наверное, над ним следовало просто посмеяться.

Она многозначительно кивнула гостю, показывая, что за всем этим скрывается еще кое-что невысказанное. Но Ксана Вадимовна нетактично спросила:

— Это ты из-за отца?

Девочка напряглась, как струна.

— Мама права. В таких случаях лучше не примешивать личного,— поспешил Валерий Павлович то ли объяснить что-то девочке, то ли выручить Ксану Вадимовну.

Вита подчеркнуто отвернулась от гостя.

«Этого она еще не поймет,— с сожалением подумал он.— До этого еще слишком много синяков впереди».

— Вот видишь, доченька,— попыталась начать новое наступление Ксана Вадимовна, но Вита решительно тряхнула головой.

— Я не извинюсь перед ним. Ни за что!

— И не надо,— неожиданно поддержала ее бабушка.— То, что мы тебе сказали,— это на будущее.

Ксана Вадимовна пожала плечами и вышла из комнаты.

Вита украдкой посмотрела на гостя: как он реагирует? Все-таки ей очень, очень хотелось в Прагу. Гость сидел в кресле, сгорбившись, опустив голову. Но Вита видела, что глаза его улыбаются.

— Прошу к столу! — пригласила Ксана Вадимовна.

Они прошли в столовую, где на пультах перед каждым креслом горели лампочки синтезаторов.

— Я уже ввела программу. Оцените мое новое меню,— сказала Ксана Вадимовна гостю.

— Спасибо, но я не хочу есть,— отчего-то смутившись, проговорил он.

— Ну, немножно, немножко, только попробуйте!

Прежде чем Валерий Павлович успел опомниться, перед ним появилась тарелка с салатом. Люк синтезатора был открыт, значит, сейчас появится еще одно блюдо. Но тут длинный палец гостя нажал стоп-кнопку. Индикатор погас. Ксана Вадимовна удивленно повернулась к Вале-

рию Павловичу. А он как-то уж очень беспомощно развел руками и проговорил:

— Но я совсем не хочу есть...

Бабушка не отрывала от него своих быстрых антрацитовых глаз, нахмурила брови. По ее лицу было видно, что она напряженно думает.

Валерий Павлович скользнул по ней взглядом. «Надо ей помочь. Пожалуй, это неплохой выход для всех нас.» И он подсказал ей мысленно: «Да, ты не ошибаешься. Именно поэтому я кажусь вам странным, именно поэтому мне не нужно есть».

— Извините,— обратилась бабушка к гостю и повернулась к Ксане.— Можно тебя на минутку? Поможешь мне...

Женщины вышли в другую комнату, и здесь бабушка с упреком произнесла:

— Не приставай к нему. Разве ты еще не поняла?

— Что я должна понять?

— Ты не заметила в нем ничего необычного?

— Какой-то он странный...

— Странный...— протянула бабушка.— Это он нам кажется странным. А мы ему?

Ксана Вадимовна непонимающе пожала плечами. Ее жест означал: всегда ты что-нибудь придумаешь...

Бабушка посмотрела на нее долгим взглядом, покачала головой. «И как вы только уживались с Антоном, такие разные!» В ее памяти тотчас появился сын. Стоило тихонько позвать — и он всегда приходил, и она могла с ним беседовать. Но сейчас она не звала, а он все равно пришел. Возможно, никто другой не нашел бы здесь ничего удивительного, но мать знала: что-то случилось. А что могло случиться, если Антон погиб три года назад? Значит, что-то еще должно случиться...

Она с тревогой подумала о Вите. Можно ли ее отпускать вдвоем с ним... В ее голосе сквозило раздражение, когда она сказала невестке:

— Неужели ты не догадалась, что это синтегомо, сигом. Так, кажется, их назвали. Ты ведь видела такие существа недавно по телевизору. Говорили: «Это шаг в будущее человечества, великий эксперимент» — и еще разное...

Ксана Вадимовна вспомнила, ругнула себя: как же сразу не признала? Этот мощный лоб, глыбы плеч, в которых, наверное, спрятаны какие-то дополнительные орга-

ны. Человек, синтезированный в лаборатории. Сверхчеловек — по своим возможностям. И все-таки и тогда и теперь она воспринимала сигома скорее как машину, чем как человека. Читала, что это предрассудки, сродни расовым, глупое человеческое высокомерие, умом понимала, а сердцем не могла принять. Возмущалась, когда услышала, что уже многие из первых сигомов станут врачами. Думала: «Какой же это человек согласится, чтобы его исследовал сигом? А если тот решит, что слабое создание не достойно жизни? Бедняги сигомы — им не так-то просто будет заполучить первых пациентов...»

И вдруг — сигом у нее в гостях! Ну, конечно же, ему не нужна еда — он ведь заряжается через солнечные батареи и еще какие-то устройства, энергию копит и хранит в органах-аккумуляторах. Но что ему здесь понадобилось?

Ее зазнобило, когда вспомнила: он хочет, чтобы Вита ехала с ним в Прагу. Может быть, он замышляет ее исследовать, как подопытное животное?

— Никуда Вита с ним не поедет! — решительно сказала Ксана Вадимовна свекрови.

— Но какие у нас основания не доверять ему? И девочку обидим,— ответила свекровь. И в то же время подумала: «Может быть, так даже лучше».

— Вы всегда любите возражать, мама,— с упреком проговорила Ксана Вадимовна.

Свекровь ничего не ответила: «Конечно, нам спокойнее не пускать. Но как лишить Виту удовольствия?»

Они вернулись в столовую, делая вид, что ничего не произошло.

Гость бросил на них быстрый взгляд.

«Неужели он что-то заметил?» — подумала старшая из женщин и вспомнила: у сигома ведь есть телепатоусилители. Он воспринимает психическое состояние мозга и свободно читает мысли. Сигомы могут переговариваться между собой на огромных расстояниях с помощью телепатии. Значит, Валерий Павлович знает, о чем они говорили и о чем думают. Но почему же в таком случае он не внушил им мыслей, нужных для свершения его замыслов?

Ее уверенность в правильности решения поколебалась. Свекровь испугалась: а если это сомнение внушает он? Посмотрела на гостя, ожидая встретить тяжелый недоб-

рый взгляд. И была готова броситься в бой со всей страстностью и ожесточением. Но Валерий Павлович смотрел не на нее, а на Виту. Острые черты его лица смягчились и сгладились. И хоть около улыбающихся глаз не собирались морщинки, сейчас его лицо уже не казалось таким странным.

Он смотрел на девочку-одуванчик и улыбался ей. И девочка отвечала ему тем же.

3. — Ты уже большая, должна сама понимать,— начала Ксана Вадимовна почти сразу же после ухода гостя. И Вита все поняла.

Она умоляюще взглянула на бабушку. Но та повернула голову к окну, делая вид, что внимательно что-то рассматривает.

— Мама! — с упреком воскликнула Вита.— Почему ты не разрешаешь? Чем он тебе не понравился?

Ксана Вадимовна несколько растерялась:

— Он не человек, девочка. Он сигом. Помнишь, их показывали по телевизору?

— Ну и что ж? — спросила девочка с таким видом, будто знала об этом раньше и не придавала значения.

— Неизвестно, с какой целью он тебя приглашает,— попыталась объяснить свой запрет Ксана Вадимовна, но Вита даже руками возмущенно всплеснула.

— Мама, помнишь? Я рассказывала, что некоторые наши девочки говорят, будто сигомы опасны. Ты тогда объясняла, что они повторяют слова глупых и отсталых людей. А теперь сама так говоришь...

«Она покраснела, кажется, от стыда за меня»,— подумала Ксана Вадимовна и взглядом попросила свекровь о поддержке.

А та не замедлила прийти на помощь:

— И все-таки он не человек, Вита. И мы не можем проникнуть в его мысли.

— Он хороший,— убежденно сказала девочка.— И чего вы на него напускаетесь? Если бы жив был папа...

Ее губы уже кривились и подбородок дрожал. А глаза смотрели с вызовом.

И невольно Ксана Вадимовна снова вспомнила портрет, который так понравился покойному мужу. А теперь существо, будто сошедшее с портрета, пришлось по душе дочери. Случайно ли?

4. — Мы полетим на гравилете? — спросила Вита и поспешила добавить: — А то я уже летала на всех атмосфероаппаратах, кроме гравилета.

— А на руках тебя носили? — спросил Валерий Павлович.

Ее ресницы настороженно приподнялись, как крылья птицы, готовой взлететь при малейшем шорохе.

— Когда был жив папа.

Но еще раньше, чем услышал ответ, сигом понял, что ошибся, причинил боль.

— Я понесу тебя до Праги,— сказал он.

— Ладно,— согласилась Вита.

Сначала она подумала, что это игра, а потом вспомнила, что рассказывал учитель о сигомах. Она никогда не думала, что у кого-нибудь еще, кроме отца, может быть такая ласковая и сильная рука. Валерий Павлович бережно поднял девочку, как поднимают одуванчик. Откуда-то из плеч сигома забили две струи, окутывая и его и Виту прозрачной упругой оболочкой. Девочка увидела, как отдаляется зеленая Земля, как навстречу, похожие на журавлиные стаи, несутся цепочки перистых облаков. Она представила, как обычно сигом летает здесь один, врезаясь в облака, и они накрывают его вот такой же холодной белой мглой. Ей стало жалко сигома. «Такой могучий и такой одинокий». И она сказала:

— Большое, большое вам спасибо. Без вас я никогда не смогла бы так лететь.

Она почувствовала приятную теплоту на голове, как будто кто-то опустил руку и ворошит ей волосы.

— Посмотри вниз, Вита!

Под ними проплывали цепи холмов. Их покрывал туман, и только меловые вершины, как маски, выглядывали из него.

— Будто в сказке,— сказала девочка, и по ее голосу угадывалось, что она всегда готова к встрече с чудесами.

— А в космос вы тоже могли бы вот так полететь? — спросила она.

— Мог бы,— ответил сигом.

— А что вы еще можете необычного?

Он улыбнулся и задумался.

Вита решила помочь Валерию Павловичу.

— А на дно моря тоже можете пронырнуть?

— Да.

Он думал одновременно о девочке, о ее маме и бабушке, о себе, о том, что ему предстоит:

«Я несу ее на своих руках, но она мне нужна больше, чем я ей. Даже мои создатели не догадывались, как она будет мне нужна».

«Труднее всего пришлось им. А сейчас? Как они волнуются, подозревая меня в преступных замыслах? А ведь им еще предстоит узнать правду... Смогут ли они понять?»

«Разгона не нужно. Скорость возникает сразу, как вспышка света. Только так можно перескочить барьер».

«Люди всегда движутся через барьер. То, что они живут,— уже преодоление барьера. И особенно то, что они сумели создать нас. Пожалуй, это самый большой барьер, который они одолели. А у нас впереди — свои барьеры. Но нам легче, чем им, хоть мы и пытаемся помочь, подставить плечо под их ношу. Они нам дали то, чего сами были лишены: всемогущество и бессмертие, а мы им — только надежду. И сейчас эта девочка отдает мне свою ласку и восторг, а что я дам взамен? И нужно ли ей то, что я могу дать!»

Ответ должна была дать девочка.

— А вы можете пронырнуть сквозь время? Нам говорил учитель... Знаете, я бы тоже могла, если бы только у меня были такие органы. И сначала я пронырнула бы в прошлое, года на четыре назад...

Он понял: она открывает ему самый сокровенный свой секрет. Она говорит неопределенно «года на четыре», но думает точно: «на четыре года». Тогда был жив ее отец.

Сигом почувствовал, что его волнение все растет и мешает думать. Он мог расшифровать свое состояние, разобрать все нюансы, слившиеся в один поток, мощный, не доступный обычному человеку, у которого в сотни раз меньше линий связи и чувства беднее в сотни раз. Такой порыв сломил бы его, как буря сухое дерево. Но сигом не расшифровывал потока. Он включил стимулятор воли, и ему показалось, что он слышит затихающий грозный клекот в своем мозгу...

— Угадайте, что это такое.

Рука девочки показывала вниз, на зеленую щетину леса.

Он хотел сказать «лес», но вовремя уловил загадочный блеск ее глаз и произнес полушепотом:

— Зеленый зверь-страшилка.

Она с восторженным удивлением посмотрела на него, как бы говоря: «Вы такой догадливый, словно и не взрослый вовсе. С вами интересно разговаривать». И спросила:

— А он злой?

— Нет, он только притворяется. На самом деле он очень добрый.

— Верно,— подтвердила она и впервые посмотрела на него не покровительственно и не восхищенно, а так, как смотрят на равного, на друга.

— Гляди, вон и Прага на горизонте.

Там, куда он показывал, лежала алмазная подкова. Это сверкали новые районы лабораторий. Когда подлетели поближе, стало видно, что подкова состоит из двух частей — наземной и воздушной. Многие здания-лаборатории парили в небе, поднятые на триста — пятьсот метров. Здесь были все геометрические фигуры: здания-ромбы и шары, кубы и треугольники. Они встретили нескольких людей, перелетавших от лаборатории к лаборатории. Кто-то помахал им рукой и долго смотрел вслед.

А внизу уже распростерлась старая Прага-музей с иглой старомястской ратуши и резными шпилями собора в Градчанах. Сигом с Витой приземлились на площади как раз перед ратушей.

— Сейчас будут бить старинные часы, и ты увидишь апостолов,— сказал сигом.

— А что такое апостолы?

— Игрушечные человечки. Они покажутся вон в том окне.

Апостолов по требованию Виты смотрели два раза. А потом прошли по Карлову мосту через сонную Влтаву. У каждой статуи девочка останавливалась и, наконец, заключила:

— Когда-то больше любили кукол.

— Да, — серьезно проговорил сигом.— Тогда взрослые тоже играли в куклы.

Они остановились перед знаменитой фабрикой игрушек, и сигом сказал:

— Ты пока посмотришь фабрику, а я ненадолго отлучусь и вернусь за тобой.

5. Сигом вернулся раньше, чем предполагал, хотя орган-часы в его мозгу показывал, что он нерационально тратит время. Сигом не пытался оправдаться перед собой. Он думал о Вите, вспоминал, как она спрашивала: «А мо-

жете?..» На фабрике предложат ей выбрать себе игрушку. И сигом догадывался, какую она выберет.

Его проводили к Главному конструктору игрушек — веселому стройному человеку в спортивном костюме. Он сидел на маленьком стульчике для посетителей, а в его глубоком старинном кресле уютно устроилась Вита. Сигом видел ее сейчас в профиль: разгоревшаяся щека, облако пушистых волос, любопытный глаз.

— А вот и за мной пришли,— сказала она Главному конструктору, увидев сигома.

Одну руку подала ему, а второй прижала к груди пластмассовую коробку.

— Угадайте, какой подарок я выбрала,— предложила она Валерию Павловичу и заговорщицки подмигнула Главному конструктору.

— Трудно, — сказал сигом и попытался нахмурить лоб, но это у него не получилось — кожа из пластбелка не собиралась морщинами.— Может быть, ты мне поможешь?

И, не ожидая ответа, спросил:

— Из старых или из новых?

— Из новых.— Ее глаза говорили: «Ты хитрый».

— Машина или существо?

— Существо.

«Я не ошибся,— думал Валерий Павлович, вспоминая куклу-сигома, новинку Пражской фабрики. Кукла умела сама ходить, выговаривала несколько слов, пела. В ее лоб был вделан маленький прожектор, прикрытый заслонкой.— Глядя на куклу, она будет вспоминать меня».

Он спросил:

— Это существо похоже на меня?

— Немножко,— лукаво сказала девочка.

— Может быть, это кукла-сигом? — сказал он медленно, будто раздумывая.

— Вот и не догадались!

Вита раскрыла коробку. Там лежали две чешские куклы — папа Шпейбл и Гурвинек.

— Но ты же сказала, что игрушка — из новых изделий.

— Я правду сказала: папа Шпейбл играет, а Гурвинек танцует. Раньше таких не было.

Сигом и Вита попрощались с Главным конструктором. Они вышли из его кабинета, прошли через выставочный

зал. Уже у самого выхода сигом задержался, спросил у Виты:

— А ты не хочешь еще и ту куклу, о которой я говорил?

Девочка отрицательно покачала головой.

— Ты не будешь вспоминать обо мне?

— А при чем же та кукла?

— Она похожа на меня.

— Нет, — сказала девочка. — Кукла — это кукла. А вы — это вы.

Она вприпрыжку побежала к двери.

— Не так быстро, Винтик, упадешь!

Девочка замерла, прижалась к двери. Он сказал Винтик. Но так называл ее только один человек — папа. Что же это такое?

Сигом подошел к ней, опустил руку на плечо, притянул к себе. Так, в обнимку, они вышли — гигант с массивными плечами и девочка-одуванчик. Вопросы бились в голове Виты, как птицы, но она ни о чем не спрашивала.

Они прошли по старинной набережной над Влтавой, и Вита старалась не наступать на большую тень сигома. Листья шуршали под ногами, как пожелтевшая бумага, как обрывки чьих-то писем, которые не дошли по адресу.

Вот и Вацлавская площадь. Сигом что-то объяснял девочке, рассказывая о короле Вацлаве, но она не слушала, занятая своими мыслями. Внезапно подняла голову, глядя ему в глаза, спросила:

— Когда у вас кончится отпуск?

— Через два дня,— он понял, к чему она клонит, и сказал, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже: — Я и потом буду прилетать к тебе.

— Честное мужское слово, да?

Она испытующе смотрела на него — серьезная маленькая женщина, которая не прощает лжи. И она доверила ему то, о чем не говорила никогда никому:

— Мой папа всегда выполнял то, что говорил. Но однажды... Когда уходил на Опыт, он обещал вернуться...

Она отвернулась...

— Я не хочу, чтобы вы подумали, будто я плакса. Но у других есть папы...

Он боялся посмотреть ей в глаза, знал, какие они сейчас. А девочка из всех сил прижалась к нему и бормотала:

— Он обещал вернуться.

Сигом почувствовал, что больше никакими переключениями стимулятора воли не удастся сдержать ком, подступивший к горлу. Словно что-то сломалось в нем, какая-то незаменимая деталь — и третья, и четвертая сигнальные системы, и даже система Высшего контроля были бессильны. Он опять на мгновение стал тем, кем был когда-то давно, до смерти — обычным слабым человеком. С губ сорвалось:

— Я сдержал слово, Винтик.

— Папа!..

— Я тебе потом объясню...

— Папа!..

Сильный порыв ветра взъерошил волосы девочки, вздул пузырем ее платьице. Пушистые волосы щекотали губы сигома. Он хотел что-то объяснить девочке, но подумал: «Она не поймет. Да я и сам не мог бы определить, сколько во мне от Анта и сколько нового. Сказал ли я ей правду?»

6. — Ант,— шепнула женщина.

Он повернул к ней лицо, и она увидела, что в его глазах нет и следа сна.

— Ты не спал всю ночь?

— Мне не нужен сон. Я ведь не устаю.

«Что в нем осталось от того, кого я любила?» — думала женщина. Сказала совсем другое:

— Ты мне кажешься высшим существом, каким-то древним богом.

Сигом улыбнулся, и она убедилась, что Вита не ошиблась: это была улыбка прежнего Анта.

— Если тебе приятно, то все хорошо.

«И слова прежнего Анта...»

Он добавил:

— Я ведь и мечтал стать таким.

«Что же в нем осталось от того, которого я любила?»

Погладила его горячее плечо — плечо того Анта никогда не было таким горячим, сказала:

— Мне кажется, будто это ты и не ты...

И, наконец, решилась:

— Что же в тебе осталось от прежнего?

— Ты ведь только что сама ответила на этот вопрос.

Он знал, что ей тяжело: в его возвращении она видит что-то кощунственное. И она, и мать — обе они мучаются, пытаясь найти решение вопроса, который не нужно зада-

вать. И только Вита сразу радостно приняла все таким, как есть: для нее главное, что он вернулся.

Сигом сделал то, что запретил себе с самого начала: включил телепатоусилитель и тут же его выключил. Затем проговорил, отвечая на невысказанную мысль Ксаны:

— Я мог бы вернуться и прежним — точно таким, каким был до смерти. Ведь опыт предстоял очень опасный, и мой организм записали на фиоленты. Им проще было бы восстановить его по матрице.

— Тогда почему же...

— Когда я очнулся, показалось: сплю. Потом услышал знакомый голос. Профессор Ив Кун позвал меня. Я хотел повернуть голову, но не смог, хотел взглянуть на Ива — тоже не смог. Ив говорил: «Ант, ты меня слышишь? Отвечай!» Я ответил, что слышу, но не вижу. И он сказал: «Сейчас объясню. Ты погиб. И Олег тоже. Вспомни». Я снова увидел, как Ол передвинул рычаг — и сверкнула молния... «Вспомнил?» — «Да»,— ответил я. Ив рассказал, что они начали восстанавливать нас. Первый этап. Оказалось, что я пока — только модель мозга Анта, созданная в вычислительной машине. Ив говорит: «У тебя есть органы речи и слуха, но еще нет зрения. И перед тем как приступить ко второму этапу, хочу спросить...» Я уже знал, о чем он спросит. Ведь еще когда был создан первый сигом, я высказался достаточно определенно. И потом мы не раз говорили, и он знал, каким бы я хотел быть. Он просто уточнял, все ли остается неизменным...

Ксана приподнялась, опершись локтем, внимательно наблюдала за его лицом, которое теперь уже не казалось ей чужим.

«Что меня удивляет? Он всегда был такой,— думала она.— Мы всегда плохо понимали друг друга. То, что мне и другим казалось кощунственным, для него было обычно и ясно. Пойму ли я его когда-нибудь?» Она спросила, хотя и знала заранее, что опять не поймет его:

— Но почему ты хотел стать таким, а не прежним?

«Я не могу сказать ей,— подумал он.— Это оскорбило бы и опечалило ее и любого такого же человека, как она».

— Мне нужно было поставить опыт, а в прежнем облике я не мог этого сделать. Не хватало ни объема памяти, ни быстроты мышления и реакций, ни органов защиты и контроля. У меня были только две сигнальные системы, а теперь их у меня пять. И еще система Высшего контроля.

Сигом вспомнил, как однажды, давно, когда он был человеком, на спутнике погибал его друг, прижатый обломком радиотелескопа, а он не мог прийти на помощь, не мог поднять руки. У него шла носом кровь, в голове будто скрежетали жернова, размалывая память. Он проклинал свою слабость и это дьявольское вихревое вращение, возникшее по неизвестной причине. Сквозь скрежет жерновов пробивался вопль: «Помоги!» Потом затих...

Сигом провел рукой по волосам Ксаны, по ее щеке, по шее... Пальцы ощутили морщины. Он вспомнил, как она всегда панически боялась старости, взял руку Ксаны и осторожно сжал:

— О чем ты думаешь?

— О тебе.

Он думал:

«И она спрашивает, почему я решил стать другим. Вся беда в том, что ей нельзя объяснить — надо, чтобы она почувствовала. А это почти невозможно. Конечно, я мог бы включить усилители и внушить ей. Но я ведь запретил себе в отношениях с людьми использовать такие преимущества перед ними. И правильно сделал. С ними я должен быть человеком — не больше и не меньше. В этом все дело...»

«Мать, наверное, уже встала. Поймет ли она? Когда-то я рассказывал ей, что лимиты человеческого организма исчерпываются раньше, чем мы предполагали, и если человек хочет двигаться вперед, ему придется создать для себя новый организм — с иным сроком жизни и другими возможностями... Она соглашалась со мной. Но тогда я был прежним Антом».

«За три минуты до начала Опыта придется переключить систему Высшего контроля только на энергетическую оболочку. Важно еще все время контролировать температуру в участке «Дельта-7».

— Поедем сегодня к морю? — спросила женщина, с замиранием сердца ожидая, что он ответит. Прежний Ант очень любил море.

— Замечательно придумала,— ответил сигом.— Я понесу тебя. Помнишь, на Капри ты просила, чтобы я нес тебя к морю?

Впервые за эти два дня, с тех пор как она узнала правду, ей стало по-настоящему легко, будто все страшное уже позади. И она пошутила:

— Ты понесешь всех троих, все твоих женщин? До самого синего моря?

— Конечно,— сказал он.— Я помчу вас по воздуху быстрее гравилета.

— А знаешь, сколько мы весим втроем? — продолжала Ксана, думая, что он тоже шутит.

— Во всяком случае, меньше тысячи тонн...

— А ты можешь переносить тысячу тонн?

— Да. И больше,— ответил сигом, и она поняла, что он не шутит.

Ксана замолчала, невольно отодвинулась. Он опять стал чужим.

Прозвучал мелодичный звонок.

«Вита»,— подумал сигом и радостно улыбнулся.

— Войдите, если не Бармалей! — воскликнул он, закрыв лицо руками и растопырив пальцы.

— Папка! Папка! Ты опять за старые шутки! Но мне ведь уже не три года,— запрыгала Вита и погрозила ему.

Сигом услышал голос матери:

— Доброе утро, дети!

Она вошла своей быстрой молодой походкой, и Ксана пытливо смотрела на нее. «Неужели она ни разу не задумалась над тем, что же в этом существе осталось от ее сына? Неужели ей легче, чем мне?»

— Мама,— сказал сигом,— мы с Ксаной договорились: сегодня все вчетвером летим к морю.

— Ура! — закричала Вита и обеими руками обняла его за шею. Глаза ее блестели от восторга.— И ты понесешь нас, как тогда меня! Идет?

— А ты будешь слушаться? — спросил сигом.

— Не буду!

— Половину вины снимаю наперед за честность,— торжественно проговорил сигом и почувствовал руку Ксаны на своем плече.

— Хватит баловаться, Ант. Как маленький...

7. Прошло два дня...

— Мне пора

«Что еще сказать? — думал сигом, не глядя на мать.— Только б она не заплакала...»

По небу тащились гривастые тучи.

— Ты скоро вернешься? — спросила Вита.

— Да.

Добавил:

— Честное мужское слово.

Никто не улыбнулся.

«Что сказать матери? Ей тяжелее всех...»

Ничего не смог придумать.

— До свидания, сын. Желаю тебе успеха во всех делах.

Ее голос был спокоен, и слово «сын» звучало естественно. Он понял: мать приняла его таким, каков он есть, и не терзалась мыслями, что осталось в нем от того, кого она родила. Мать не смогла бы постичь его превращения логикой, не помогла бы ей и эрудиция, хоть она и не была отсталой женщиной. Что же ей помогло? «Пожалуй, это можно назвать материнской мудростью,— подумал он.— Оказывается, я не знал своей матери».

— До свидания,— сказал сигом,— обнимая всех троих и уже представляя, как сейчас круто взмоет вверх, пробьет тучи и полетит сквозь синеву.

— Будь осторожней,— Ант,— робко попросила Ксана.— Ты отчаянный. Опять ты...

Не договорила. И это невысказанное слово повисло между ними, как падающий камень, который вот-вот больно ударит кого-то.

«Ксана боится за меня, как и тогда. Она даже забыла, что я стал неуязвимым. Значит, я для нее — прежний Ант...»

«Смерть... Когда-то мы так свыклись с ней, что она казалась неотделимой от людей. Но и тогда мы с ней боролись. Мы сумели записать голоса на магнитные ленты, сохранить облик на фотографиях, в портретах. Мы создали память человечества в книгах и кинофильмах. Память, которая уже не может умереть. Так мы научились понимать, что же в нас главное и что нужно уберечь от смерти...»

Ант улыбнулся, будто поймал слово-камень и отбросил его прочь. Он сказал:

— Если я снова погибну, то все равно вернусь...

Е. ВОЙСКУНСКИЙ, И. ЛУКОДЬЯНОВ

Прощание на берегу

...Встречаются существования, как бы поставившие задачей заставить других оглядываться на шорохи и загадочный шепот неисследованного.

Александр Грин

Белый дизель-электроход медленно приближался к скалистому берегу.

На палубе толпились пассажиры — веселые, хорошо одетые. Они переговаривались, смеялись, предвкушая купание и отдых, и любовались дельфинами, которые то и дело выпрыгивали из сине-зеленой воды.

Платонов ничем не отличался от курортников. Он подумал об этом и усмехнулся своим невеселым мыслям.

Берега раздвинулись. «Федор Шаляпин», миновав клинок мыса, вошел в широкую бухту. Сразу открылся город.

С любопытством глядел Платонов на живописно раскиданные по скалам желтоватые дома и буйную тропическую зелень. Белый конус маяка на краю дамбы был прочно впечатан в голубое небо. Над гаванью, над стеклянным кубом морского вокзала, над черепичными кровлями домов дрожало марево знойного дня.

«Ну, здравствуй, старина Кара-Бурун»,— мысленно сказал наплывавшему городу Платонов. Скажи он это вслух, приветствие могло бы прозвучать излишне фамильярно, так как он прежде никогда не бывал в этом городе. Но мысль тем и хороша, что никто ее не слышит.

Кара-Бурун был построен на месте древнего греческого поселения. Он знавал времена расцвета, бурно наживаясь на заморской торговле, знал и упадок, когда торговля хирела и фрахт перекочевывал в более удачливые портовые города. Немыми свидетелями далеких времен высились над городом, на скалистых холмах, полуразрушенные сторожевые башни — из их бойниц, нацеленных в море, теперь выглядывали не мушкеты, а веселые ветки дикого орешника.

Кара-Бурун был неприступен с суши и трудно достижим с моря — обстоятельство, сыгравшее немаловажную

роль в дни героической обороны от фашистского десанта во время Великой Отечественной войны.

Но уже давно не дымили крейсеры на рейде Кара-Буруна. Теперь его морской порт посещали только пассажирские суда в курортный сезон, длившийся, впрочем, добрых десять месяцев в году. Волны курортников скатывались в город и, наскоро пощелкав фотоаппаратами и пожужжав кинокамерами, заполняли электропоезда, которые уносили их в Халцедоновую бухту с ее прекрасными пляжами, многоэтажными пансионатами, стеклобетонными соляриями и аэрариями, с десятками кафе и автоматов-закусочных.

В Кара-Буруне жили служащие районных учреждений, врачи, работники курортного управления и фабрики сувениров. Значительную часть населения города составляли отставные военные моряки, посвятившие свой досуг разведению клубники и рыболовному спорту.

Кроме того, здесь жил Михаил Левицкий — племянник Платонова.

Своего племянника Платонов видел в последний раз лет тридцать назад. Михаил был тогда еще совсем малышом. От покойной сестры Платонов знал, что племянник сделался врачом и обосновался в Кара-Буруне. Больше он не знал решительно ничего о своем единственном родственнике. Что он за человек? Когда-то Янина, покойная сестра, говорила Платонову, что Михаил умный мальчик. Но достаточно ли у него ума и такта, чтобы воздержаться от назойливых расспросов? Ведь бывает ум головы и ум сердца. Платонов при нынешних обстоятельствах предпочел бы второе.

«Федор Шаляпин» медленно подходил к стенке гавани, и Платонов видел пеструю толпу встречающих. Где-то в толпе был и Михаил Левицкий — курортный врач, сын Янины, умный мальчик.

Шумная компания парней и девушек с рюкзаками за плечами проталкивалась к трапу сквозь плотную стену пассажиров. Один из них, светловолосый крепыш, сосед Платонова по каюте, хлопнул его по плечу и сказал:

— Ну что, встретимся в Халцедоновой?

— Обязательно встретимся,— ответил Платонов и добавил мысленно: «Никогда мы с тобой не встретимся, дружок».

И еще он подумал: «Если племянничек мне не понра-

вится, то и дьявол с ним — здесь, должно быть, полгорода промышляет сдачей квартир».

В гостиничное одиночество Платонову не хотелось.

У Михаила Левицкого выдался хлопотливый день. С утра — обычная трехминутка, затянувшаяся на тридцать пять минут, затем обход отделения, которым он заведовал в гериатрическом санатории «Долголетие», потом прием больных.

Михаил был гериатром — специалистом по лечению старости. Он хорошо знал стариков — их особые болезни, возрастные изменения состава их крови и состава кожного сала, их нелегкие характеры. Больше часа он провозился с новой пациенткой: Михаил считал, что в первую очередь надо заняться ее сердечно-сосудистой системой, а пациентка настаивала, чтобы немедленно занялись ее морщинами.

К двум часам, бросив дела, он побежал на пристань встречать дядю.

Он, конечно, знал, что у него есть дядя по имени Георгий Платонов, родной брат его матери. Но никогда, не единого разу Платонов не напоминал о своем существовании. И вдруг эта телеграмма: «Встречай»...

Михаил стоял у трапа и хмуро оглядывал сходящих на пристань пассажиров «Шаляпина». Как выглядит Платонов, он не знал, но справедливо полагал, что мифическому дядюшке за семьдесят, никак не меньше. Если бы этот вздорный старик догадался прислать фототелеграмму со своим портретом... Да куда там — разве догадается? Он-то хорошо знает стариков — их упрямство и скупость.

Пассажиры спускались по трапу сплошным потоком, затем потекли тоненьким ручейком, и, наконец, трап опустел. Ни одного старика или достаточно пожилого человека не прошло мимо Михаила.

Он задрал голову и крикнул человеку в белой форменной фуражке, который попыхивал трубкой, облокотясь на фальшборт «Шаляпина»:

— Все сошли? Может, кто-нибудь спит в каюте?

— Мы всех разбудили,— с достоинством ответила фуражка.

Михаил повернулся, чтобы пойти прочь, и увидел стоящего рядом человека. Это был высокий мужчина лет сорока, его серые глаза смотрели на Михаила из-под козырька кепи спокойно и чуточку насмешливо.

— И вы никого не дождались? — спросил Михаил.

— По-видимому, дождался, — ответил незнакомец. — Вас зовут Михаил Левицкий и вы должны были встретить своего дядю, не так ли?

— Верно,— удивленно сказал Михаил.— Только мы разминулись..

— Не разминулись. — Незнакомец усмехнулся. — Здравствуй, племянничек. Я-то сразу увидел, как ты похож на свою мать.

— Позвольте!.. Вы Георгий Платонов? Но ведь вам, по-моему...

— Ты прав, мне действительно много лет. Но, как видишь, я хорошо сохранился. Найдется у тебя в доме комната для меня?

— Комната?.. — Михаил был настолько смущен неожиданной моложавостью дядюшки, что не сразу понял смысл вопроса. Тут же он спохватился: — Да, конечно, комната готова.

— Ну, так пошли.

У Платонова было два чемодана, довольно тяжелых, Михаил схватился за тот, что побольше, но дядюшка мягко отстранил его:

— Возьми второй. Не в обиду будь сказано, я покрепче тебя.

Они прошли в широко распахнутые двери морского вокзала, над которыми висел плакат «Добро пожаловать в Кара-Бурун», и Михаил, хоть и был несколько ошарашен, не преминул обратить внимание дяди на главную достопримечательность города:

— Как вам нравится наш вокзал?

— Стекло, прохлада и зелень,— одобрительно отозвался тот. Они вышли на привокзальную площадь, и Платонов невольно остановился.

Зеленой стеной стояли пальмы и панданусы. Влево уходила набережная, застроенная нарядными разноцветными домами, могучие платаны сплели над ней потолок, и синяя тень вперемежку с солнечными пятнами лежала на асфальте. Улица плавно закруглялась, повторяя изгиб бухты.

За бульваром и набережной город сразу принимался карабкаться на скалы. Платонов с любопытством разглядывал горбатые мостики и каменные лестницы, игрушечные вагончики фуникулеров, бамбуковую рощицу на скло-

нах одного из оврагов. Зеленые, желтые, синие краски были чистыми и яркими до звона.

Да, он правильно сделал, что приехал сюда. Этот странный город вполне подходил для его цели.

— Пойдемте, дядя Георгий,— сказал Михаил, с некоторой запинкой произнося эти слова «дядя Георгий».

Он повел благоприобретенного родственника направо — там была старинная арка, а за ней крутая дорога, выложенная плитами. «Трехмильный проезд»,— прочел Платонов на табличке. Из щелей между плитами лезла неистребимая трава. Михаил вошел в роль гида, рассказывал, как сложно строить в Кара-Буруне, прижатом скалами к морю, и каких огромных трудов стоили здесь водопровод и канализация.

Они забирались все выше. Справа, в просветах орешника, синело море, залитое солнцем, а слева тонули в зелени садов желтые домики. Михаил вспотел, у него стало перехватывать дыхание от подъема, от чемодана и оттого, что он много говорил. Искоса он посматривал на Платонова: тот шел ровным шагом, тяжелый чемодан, по-видимому, не очень отягощал его. Семьдесят с лишним лет? Ну, если так, то он, Михаил Левицкий, специалист по старикам, никогда еще не видывал такого старика.

Им навстречу спускалась процессия. Под пение скрипок и валторн, под рокот барабанов шли загорелые юноши и девушки в венках из белых и красных цветов.

— Что это? — спросил Платонов, отходя к обочине дороги.— Не в честь ли моего приезда?

— Нет,— серьезно сказал Михаил.— Это в честь очередного выпуска бальнеологического техникума. Сегодня будет большое гуляние. Состязания в плавании и стрельбе из лука, ну и так далее. А теперь нам наверх.

Они поднялись по крутой лестнице, вырубленной в скале, и вышли на улицу Сокровищ Моря.

— Вот наш дом,— сказал Михаил и показал на небольшой коттедж, крытый разноцветной черепицей, с верандой, оплетенной виноградом.

Прежде чем войти в садовую калитку, Платонов оглянулся. Внизу лежало огромное море — синее и прекрасное, на горизонте слитое в вечном объятии с голубизной неба.

И снова он сказал себе, что не ошибся, приехав сюда.

Комната ему понравилась. В открытое окно заглядывали ветки черешни, лился тонкий запах цветов из сада.

— Спасибо, Михаил,— сказал Платонов, поставив чемоданы в угол.— Этот стол слишком хорош и хрупок для меня, нет ли другого, попроще? Мне, видишь ли, придется немного повозиться с химическими реактивами.

— Хорошо, я поставлю другой.— Михаил помолчал, ожидая, что Платонов разовьет свою мысль о занятиях, но дядюшка не выказывал такого намерения, и тогда Михаил предложил: — Пойдемте, освежимся под душем.

В летней душевой, устроенной в углу сада, он с невольным любопытством посматривал на мускулистое тело Платонова — с любопытством гериатра, специалиста по старикам. Нет, больше сорока этому странному дядюшке не дашь никак. Правда, внешность бывает обманчивой. Сделать бы ему анализ крови да просветить сердце...

Платонов фыркал под прохладной струей, бил себя ладонями по груди и плечам. На груди у него, среди рыжеватой растительности, розовели старые, давно затянувшиеся шрамы. И на спине, поперек лопаток, тянулся широкий шрам с зубчатыми краями. Михаил вдруг смутно припомнил: мать когда-то рассказывала, что дядя Георгий был летчиком во время войны.

— У вас в городе,— сказал Платонов,— наверное, сильно изнашивается обувь, да?

— Обувь? — переспросил Михаил.— Да, изнашивается, конечно. А что?

Платонов не ответил. Он пофыркал еще немного и принялся крепко растираться мохнатым полотенцем.

— Это память о фашистах,— сказал он, похлопав себя по груди.— Пулеметная очередь. Впрочем, ему пришлось хуже. Ох, и давно это было — за добрых двадцать лет до твоего рождения... У тебя есть семья?

— Да. Сын, как всегда, на море. А жена скоро придет с работы и накормит нас обедом. Может, хотите пока перекусить?

— Нет, я не голоден. И давай-ка, Михаил, договоримся сразу: мой приезд ничего не должен изменить в вашем домашнем укладе. Я не хочу стеснять вас.

— Вы нисколько нас не стесните. Наоборот, я очень рад, что...

— Ну-ну,— Платонов поднял руку ладонью кверху.— Эмоции — вещь зыбкая, не будем их касаться.

Они вышли из душевой в сад и направились к дому.

Хлопнула садовая калитка, раздался быстрый топот

ног, из-за цветочной клумбы выбежал чернявый мальчик лет тринадцати.

— Папа! — закричал он еще издали.— Я поймал вот такую ставриду! — Он широко развел руками и смущенно умолк, исподлобья поглядывая на незнакомца.

— Игорь, познакомься с дядей Георгием,— сказал Михаил.

— Здравствуй, Игорь,— серьезно, без обычной взрослой снисходительности к ребенку, сказал Платонов и пожал узкую руку мальчика.— Где же ты оставил свою ставриду?

— У Филиппа, он ее выпотрошит и зажарит на углях. Филипп говорит, что он не видывал таких крупных ставрид. А вы долго будете у нас жить?

— Не очень.— Платонов постучал указательным пальцем по выпирающей ключице мальчика.— Хочешь мне немного помочь?

— Да,— сказал Игорь.

Вечером они обедали на веранде.

— Положить вам еще мяса? — спросила Ася, жена Михаила Левицкого. Она избегала обращения «дядя Георгий», его моложавая внешность почему-то вызывала у нее неприязненное недоверие.

— Нет, спасибо,— сказал Платонов.— И мясо, и овощи превосходны. Вы прекрасная хозяйка, Ася.

Женщина сухо поблагодарила и поставила перед гостем компот из черешни.

— Мама,— сказал Игорь, болтая ногами,— завтра мы пойдем с дядей Георгием к устью Лузы.

— Очень рада. Но почему бы вам просто не съездить в Халцедоновую бухту? Там пляжи лучше оборудованы.

— Э, Халцедонка! Мильон человек под каждым тентом.

— И все же это лучше, чем тащиться тридцать километров по жаре к Лузе.

— Ну, раз так далеко, то мы можем просто немного побродить по окрестностям,— сказал Платонов, уловив недовольство в тоне женщины.

— Нет, нет! — воскликнул Игорь.— Вы же сами говорили, что хотите сделать большой переход в этих ботинках.

— Что еще за ботинки? — спросила Ася.

Платонов посмотрел на круглое лицо женщины, на ее поджатые губы.

— Просто хочу разносить новые ботинки. Ваши каменистые дороги очень располагают к этому.

— А я уж было подумала, не работаете ли вы в обувной промышленности.

— Некоторое отношение к ней я имел. Если можно, налейте еще компоту.

— Пожалуйста! — Ася налила ему компот из кувшина.— А где вы работаете теперь?

— Моя специальность — биохимия. Я должен завершить кое-какие исследования, а потом я собираюсь уйти... выйти на пенсию.

— Вы прекрасно выглядите для пенсионного возраста.

— Да, многие это находят,— спокойно сказал Платонов.

Он молча допил компот, затем поблагодарил хозяйку и, сославшись на усталость, ушел в свою комнату. Ася проводила его долгим взглядом.

— Игорь,— сказала она.— Отнеси посуду в кухню. Постой. Зачем дядя Георгий посылал тебя в город?

— Он дал мне список разных деталей, и я сбегал на набережную в радиомагазин. Дядя Георгий научит меня паять.

— Это хорошо,— одобрил Михаил.— Может, он приохотит тебя к технике. А то только и знаешь книжки читать да рыбу удить со своим Филиппом. Ну, ступай. Осторожно, не разбей посуду.— И когда мальчик, схватив поднос с тарелками и стаканами, умчался в кухню, Михаил тихо сказал жене: — Ася, я хочу тебя попросить... Мне кажется, не следует задавать ему никаких вопросов.

— Почему это? — Ася так и вскинулась, плетеное кресло заскрипело под ее полным телом.— Что он за птица такая? Ты говорил, ему за семьдесят, а он выглядит как твой ровесник.

— Ну, Ася, это не резон, чтобы плохо к нему относиться.

— Пускай не резон. Но только не люблю, когда человек напускает на себя таинственность.

— Ничего он не напускает. Ты слышала, ему нужно завершить какую-то работу.

— Вот что я скажу тебе, Михаил. Пусть он лучше делает свои опыты в другом месте. Мало ли — взорвется

у него что-нибудь или, чего доброго, дом подожжет... Я попрошу у нас в курортном управлении путевку для него в один из пансионатов...

— Нет,— сказал Михаил решительно, и она удивленно на него посмотрела.— Нет, Ася, он будет жить у нас сколько захочет. Он родной брат покойной мамы. Кроме нас, у него совсем нет родных.

— Как хочешь.— Ася поднялась и щеточкой смахнула крошки со скатерти на подносик.— Как хочешь, Миша. Но мне это не нравится.

В темное небо с шипением взлетела ракета и высыпала прямо в ковш Большой Медведицы пригоршню зеленых и белых огоньков· И тут же понеслась новая ракета, и еще, и еще. В небе закрутились красные спирали, и пошел разноцветный звездный дождь.

Михаил вспомнил, что не полил сегодня фруктовые деревья. Он спустился в сад и направился в хозяйственную пристройку за поливным шлангом. Свернув за угол дома, Михаил остановился в тени черешни.

Платонов стоял в темной комнате перед открытым окном. Сполохи ракет освещали его лицо, обращенное к небу. На этом словно бы окаменевшем лице резко были прочерчены жесткие складки, идущие от крыльев носа к уголкам твердых губ, и углубление на крутом подбородке. Лицо было спокойно, но Михаилу почудилась в нем какая-то безмерная усталость — такое выражение бывает у людей, которые уже ничего не ждут.

Михаил сделал шаг назад, ракушки скрипнули у него под ногой, и тут Платонов увидел его.

Увидел и улыбнулся.

— Большое гуляние в Кара-Буруне,— сказал он.

— Да,— сказал Михаил.— У нас всегда так отмечают выпуск бальнеологического техникума.

Вот уже две недели, как Платонов жил в доме своего племянника Михаила Левицкого. Он вставал с рассветом и будил Игоря, спавшего в саду на раскладушке. Они выпивали по стакану холодного молока и уходили в горы, Михаил и Ася в это время еще досматривали последние сны.

Платонов надевал для утренних прогулок новые коричневые ботинки на желтой подошве, а мальчику давал такие же ботинки, но изрядно поношенные. Игорю они были несколько велики, и он надевал три пары носков,

чтобы ноги не болтались, и стоически терпел неудобства тяжелого снаряжения.

Часа через три они возвращались, тщательно обтирали ботинки от дорожной пыли и столь же тщательно взвешивали их на чувствительных весах. Затем Платонов ставил свои ботинки в особый ящик, на дне которого лежал войлок, пропитанный каким-то раствором, и от которого шли провода к прибору, собранному в первый же день по приезде. Ботинки же Игоря после взвешивания отправлялись в обыкновенную картонку.

Потом друзья — а они действительно стали друзьями, насколько это возможно при подобном различии возрастов,— съедали завтрак, оставленный Асей, и некоторое время работали. Платонов писал, а Игорь решал задачи, заданные дядей, или перематывал катушки, или читал что-нибудь свое. Бывало, Игорь, грызя карандаш над трудной задачей, поглядывал на дядю и замечал, что он не пишет, а сидит, уткнув лицо в ладони, но ни единого раза мальчик не решился потревожить его раздумья.

На пятый день Платонов получил на почте две посылки, присланные из Ленинграда до востребования. Они с Игорем с трудом дотащили их вверх по лестнице: на улицу Сокровищ Моря такси не ходили.

Через день пришла еще одна тяжелая посылка. Платонов забросил ботинки в угол и больше не надевал их во время утренних прогулок, и Игорь тоже вернулся к своим удобным сандалиям. Теперь комната Платонова была заставлена приборами и опутана проводами, и всюду, как муравьи, шевелились стрелки на циферблатах. Платонов все дольше засиживался у себя за работой. Иногда он переставал писать и говорил Игорю:

— Пойди в сад, дружок, разомнись маленько. Мне надо остаться одному.

Игорь забирался с книжкой в гамак и терпеливо ждал. Обычно дядя около трех часов выходил на веранду, щурился от солнца, делал несколько приседаний, и это означало, что рабочий день окончен и можно идти на море. Но однажды дядя что-то уж очень заработался: шел пятый час, а он все не появлялся на веранде· Игорь тихонько подошел к двери, прислушался. Из комнаты не доносилось ни звука. Игорю почему-то стало не по себе, он резко толкнул дверь...

Платонов ничком лежал на полу. Игорь с криком ис-

пуга кинулся тормошить его, перевернул на спину. Платонов открыл глаза, затуманенные беспамятством.

— Отстегни,— прохрипел он.

Игорь сорвал с его запястий и щиколоток тугие резиновые манжеты с проводами. Дядя медленно поднялся, повалился в кресло.

— Что вы делаете с собой? — беспокойно спросил Игорь.

— Ничего... Выключи рубильник.— Он помолчал, дыхание стало ровным.— Ну, вот и все. Бери удочки, пойдем на море.

Неподалеку от арки Трехмильного проезда среди нагромождения прибрежных скал был небольшой треугольничек, засыпанный крупной галькой. Игорь давно облюбовал это местечко для купания и рыбной ловли. Сюда он и приводил дядю Георгия. Они купались и сидели в тени скалы, глядя в море, и Игорь закидывал свои лески.

— Почему вы не хотите загорать? — спросил как-то Игорь, поглядев на белую кожу дяди Георгия.

— Мне это не очень-то полезно,— ответил Платонов.— Зато ты загораешь за нас обоих.

Игорь посмотрел на свой коричневый живот.

— У меня загар держится круглый год. Филипп говорит — если как следует прокалишься солнцем, тебя никакая болезнь не возьмет· А вам из-за старых ран нельзя загорать, да?

— Отчасти. Но главным образом потому, что я и сам старый.

— Ничего вы не старый, вы лучше меня плаваете, особенно баттерфляем. Дядя Георгий, вы оставайтесь у нас навсегда, ладно?

— Ладно, дружок. Подсекай, у тебя клюет.

По дороге домой они заворачивали к Филиппу. Естественный грот в большой скале Филипп так ловко оборудовал под свою мастерскую, что казалось, именно от этого прочно обжитого места пошел город Кара-Бурун.

Стенки грота были увешаны фотографиями, вырезанными из журналов. Подбор был очень строгий — корабли и красавицы. Сам Филипп прежде был матросом и много плавал по морям — этим и объяснялась его приверженность к корабельной тематике. Что до второго раздела картинной галереи, то им Филипп отдавал дань, как он пышно выражался, «вечному и нетленному идеалу красоты».

В Кара-Буруне быстро протирались подошвы, и у старого Филиппа было много работы. Он совмещал ее с рыбной ловлей, пристраивая под скалой удочки с колокольчиками. Он хорошо знал людей и обувь — по истертой подошве он умел определить характер ее владельца. Кроме того, он умел говорить, не выпуская гвоздей изо рта.

Бывало, Платонов приносил бутылку красного вина, Филипп зажаривал ставриду на углях, и они пировали. Постукивая молотком, правя нож на закройной доске, Филипп рассказывал о людях, кораблях и подошвах.

— Все отцветает в мире: и деревья и женщины,— провозглашал он.— Одно только море нетленно и вечно, потому что никто не может его выпить, даже всемогущее время.

И он победоносно оглядывал своих собеседников, как бы говоря: «А ну, что вы можете возразить на это?»

Платонов не возражал, а Игорь высказывался в том духе, что если пройдут миллиарды лет, то море в конце концов может очень даже просто испариться.

— Никогда этого не будет,— убежденно говорил Филипп и, вынув изо рта очередной гвоздь, вгонял его в подошву.— Ты хороший мальчик, но ты психологически не подготовлен.— И он одним ударом молотка вбивал следующий гвоздь.

Иногда Платонов и Игорь совершали походы в Халцедоновую бухту по старой лесной дороге. Впрочем, до курорта они не доходили. Платонов глядел издали на белые пансионаты, пестрые тенты и пляжи, кишащие людьми, и поворачивал обратно.

Они предпочитали другую дорогу в бухту — ту, по которой ходили электропоезда. Эта дорога была прорублена в горном кряже. Ущелье, пересеченное ажурными фермами моста, прорезало скалистый мыс и выходило к морю крутым обрывом. Дальше по краю обрыва шел узкий карниз, пройти по нему было нелегкой задачей. Отсюда, сверху, были хорошо видны длинные желтые пляжи Халцедоновой бухты.

Однажды они решились пройти по узкому карнизу. Игорь медленно шел впереди, а Платонов — шаг в шаг — продвигался за ним с вытянутой рукой, готовый в любой момент удержать мальчика, если он оступится.

— Хватит, Игорь, — сказал он наконец.— Дальше совсем непроходимо. Остановись.

Они прислонились спинами к шершавой и теплой от солнца скале и долго смотрели на море, лениво колыхавшееся внизу, под обрывом.

— Здесь хорошо,— тихо, как бы про себя, сказал Платонов.

— Вы бы смогли прыгнуть отсюда вниз головой? — спросил мальчик.

— Не знаю. Пойдем-ка обратно.

Они вышли к Трехмильному проезду в том самом месте, где стоял памятник над братской могилой моряков, оборонявших Кара-Бурун во время войны.

— Дядя Георгий, расскажите мне о войне.

— Я много тебе рассказывал, дружок. Ну, если ты хочешь...

И он — в который уже раз! — принялся рассказывать о воздушных боях, и о танковых сражениях, и о подводных лодках, и о фашистах, которых, если люди хотят жить счастливо, нельзя терпеть на планете.

И так, разговаривая, они неторопливо поднялись по ступенькам, вырубленным в скале, на улицу Сокровищ Моря.

— Какое сегодня число? — спросил вдруг Платонов, открывая садовую калитку.

— Семнадцатое августа. Эх, жаль, скоро уже в школу.

— Уже семнадцатое, — негромко сказал Платонов и вошел в сад.

Ася была любопытной женщиной. Тайна, окружавшая Платонова, не давала ей покоя. А тут еще Шурочка Грекина, сотрудница по курортному управлению, со своими страшными историями. В Ленинграде, рассказывала Шурочка, недавно произошло кошмарное преступление: неизвестный вошел в ресторан «Север» и выстрелил в люстру; пуля перебила трос, и огромная люстра рухнула, задавив насмерть двадцать человек, сидевших за столиками; преступник, пользуясь темнотой и паникой, скрылся.

Вечно эта Шурочка такое преподнесет, что ходишь сама не своя.

Правда, вскоре выяснилось, что ничего подобного в Ленинграде не происходило. Бухгалтер управления, ездивший туда навестить сына-студента, не слыхал о побоище в ресторане «Север». Более того, он утверждал, что в этом ресторане люстры нет вовсе, а освещение, как он выразился, производится посредством настенных бра.

Но почему-то подозрения Аси только усилились: бывает же так, что мыслям, принявшим определенное направление, трудно свернуть в сторону.

Она, конечно, помнила совет мужа не докучать гостю вопросами, но расспрашивать сына никто запретить ей не мог. Игорь не делал тайны из того, что знал, но знал-то он слишком мало, а вернее, не знал ничего.

Был тихий вечер. В черном небе вовсю распылались звезды, и в просветах между листвой деревьев была видна серебряная дорожка, положенная на море луной.

Михаил сидел на веранде и читал газету, изредка комментируя напечатанное одобрительным или ироническим «хм». Ася накрыла на стол и кликнула Игоря.

— Чего, мам? — Игорь появился с книгой в руке.

— Что делает дядя Георгий?

— Работает.

— Заработался совсем. И что он без конца пишет, и днем, и ночью, хотела бы я знать?.. Позови его пить чай.

Платонов вышел на веранду. Он был необычно оживлен.

— Чай,— это хорошо,— проговорил он, садясь на свое место.— Вечный и нетленный напиток, как сказал бы наш друг Филипп. Что пишут в газете, Михаил?

— Да так, все то же.— Михаил отложил газету.— Бурение сверхглубокой на Новом плато продолжается. Международный симпозиум физиологов. Опять упоминают о загадочной смерти профессора Неймана.

— Дай-ка газету.— Платонов пробежал отчет о симпозиуме.— Ты прав, все то же. О, клубничное варенье, превосходно! Ну, Михаил, как поживают твои старички?

«Что это с ним? — подумал Михаил.— Нервное возбуждение или просто хорошее настроение?»

Он стал рассказывать о новейших методах лечения старости в санатории «Долголетие», и Платонов слушал и задавал вопросы, свидетельствующие о знании предмета, и Ася все подкладывала ему клубничного варенья.

— Да,— сказал Платонов задумчиво.— От Гиппократа и до наших дней люди бьются над проблемой долголетия...— Он посмотрел на Михаила, прищурив глаз.— Скажи-ка, племянник, в чем заключается, по-твоему, основная причина старения?

— Сложный вопрос, дядя Георгий... В общем, я согласен с мнением, что старость — постепенная утрата способности живого вещества к самообновлению. Ведь общее

развитие жизни связано с неизбежностью смерти, а что-то должно ее подготовить...— Михаил откинулся на спинку кресла, в голосе его появилась лекторская нотка.— Вы, наверное, знаете, что интенсивность обмена веществ у девятилетнего ребенка достигает пятидесяти процентов, а у старика в девяносто лет снижается до тридцати. Изменяется прием кислорода, выделение углекислоты, подвижные белки приобретают более устойчивые формы... Ну и все такое. Я хочу сказать, что организм в старости приспособляется к возрастным изменениям, и мы, гериатры, считаем своей главной задачей стабилизировать возможно дольше это приспособление.

— Верно, Михаил. Но не приходило ли тебе в голову, что организм... Впрочем, ладно, — прервал Платонов самого себя.— Все это слишком скучная материя для Аси.

— Да нет, пожалуйста. Я привыкла к таким разговорам,— сказала Ася.— Все хочу вас спросить: вы работаете в Ленинграде?

— Недалеко от него — в Борка́х. Это научный городок...

— Ну как же,— сказала Ася.— Кто не знает Борков. У нас в прошлом году лечился один крупный физик из Борков. Чудный был дядя, веселый и общительный, мы все прямо влюбились в него.

Платонов внимательно посмотрел на нее и встретил испытующий ответный взгляд.

— Ася,— сказал он, усмехнувшись какой-то своей мысли.— Ася и Михаил. Я сознаю, конечно, что веду себя не слишком вежливо. Свалился с неба дядюшка, живет третью неделю и хоть бы три слова рассказал о себе и о своей работе... Нет, нет, Михаил, помолчи, я знаю, что это именно так, хотя я очень ценю твою деликатность. Ну что ж. Пожалуй, пора мне кое-что рассказать...

Он помолчал немного, потер ладонью лоб и начал:

— Это пришло мне в голову много лет назад, а точнее — на третьем году войны. Вас тогда и в помине не было, а я был молод и здоров, как бык. Все началось с пустяка... Впрочем, в то время это для меня был не пустяк... Помнишь, Михаил, как у Диккенса? Королевский юрисконсульт спросил Сэма Уэллера, не случилось ли с ним в то утро чего-нибудь исключительного. А Сэм говорит, дескать, в то утро, джентльмены присяжные, я получил новый костюм, и это было совсем исключительное и необычайное обстоятельство для меня. Так вот, в то утро

я получил на складе новое кожаное пальто — «реглан», как их называли, и это было для меня тоже исключительное событие. Мы, молодые летчики, любили щегольнуть.

Я прицепил к реглану погоны, пришил петлички, и тут меня и вызвали, а через четверть часа я был уже в воздухе. Так и не переоделся в летное. А еще через четверть часа я нос к носу столкнулся с фашистом и пошел в лобовую атаку. Тебе, Игорь, я рассказывал это девятнадцать раз, и ты знаешь: здесь все на нервах. Кто первый не выдержит, отвалит в сторону, тот и получит очередь в незащищенное место. Ну, сближаемся, он у меня ракурсом ноль в кольцах коллиматорного прицела, значит, и я у него тоже. Я из всех пулеметов — он тоже. Тут мне и досталось. Я сгоряча в первый момент не почувствовал, жму вперед, на него. А это, знаете, доли секунды. Он отвалил вверх, показал брюхо, и я ему всадил в маслорадиатор. Он задымил — это я еще видел. Задымил и пошел вниз. А как я посадил машину, не помню. Ребята говорили, полная кабина крови натекла. Вытащили меня — и в госпиталь. Шесть дырок в груди, сквозные. Ну, ладно. Полежал я, все зажило. Выписываюсь. Иду в каптерку. А мой новый реглан — до сих пор злюсь, как вспомню... Впереди-то дырки маленькие, а на спине — все разворотило. Я и думаю: что за чепуха, па мне все дырки зажили, а на реглане — так и зияют... Улавливаешь мысль, племянник?

— Пока нет,— признался Михаил.

— Я тоже не сразу понял. Только задумываться начал. Конечно, война, не до того, а я все же нет-нет, да и подумаю. Начал книжки специальные почитывать. А после войны ушел в запас, поступил на химический факультет, тогда-то и занялся всерьез. Понимаешь, вот, скажем, кожаная обувь. Изнашиваются подошвы. А живой человек ходит босиком, тоже протирает кожу, а она снова нарастает. И я подумал: нельзя ли сделать так, чтобы неживая кожа, подошва, тоже восстанавливалась?

— Напрасный труд,— улыбнулся Михаил.— Кожа для подметок теперь почти не применяется. Синтетики...

— Поди ты с синтетиками! — Платонов даже поморщился.— Экий ты, братец... Я же тебе про философскую проблему толкую. Ну-ка, посмотри на явление износа с высоких позиций. Все случаи можно свести к двум категориям. Первая — постепенный износ, постепенное изменение качества. Пример — ботинки. Хоть из кожи, хоть из синтетики. Как только ступил в новых ботинках на зем-

лю — начался износ. Точно определить, когда они придут в негодность, трудно. Индивидуальное суждение. Один считает, что изношены, и выкидывает. Другой подбирает их и думает: фу, черт, почти новые ботинки выбросили, дай-ка поношу...

Михаил коротко рассмеялся.

— Теперь возьми вторую категорию: ступенчатый износ,— продолжал Платонов.— Пример — электрическая лампочка накаливания. Вот я включаю свет. Можешь ли ты сказать, сколько часов горела лампочка? Когда она перегорит?

— Действительно,— сказал Михаил.— Лампочка вроде бы не изнашивается. Она горит, горит — и вдруг перегорает.

— Именно! — Платонов встал и прошелся по веранде, сунув руки в карманы.— В д р у г п е р е г о р а е т. Ступенька, скачкообразный переход в новое качество... Разумеется, подавляющее большинство вещей подвержено первой категории износа — постепенной. И я стал размышлять: можно ли перевести подошвенную кожу в условия износа второй категории — чтобы ее износ имел не постепенный характер, а ступенчатый? Скажем так: носишь ботинки, носишь, а подошва все как новая. Затем истекает некий срок — и в один прекрасный день они мигом разваливаются. Никаких сомнений, можно ли их носить еще. Как электрическая лампочка — хлоп, и нет ее.

Платонов внезапно замолчал. Он облокотился о перила и словно высматривал что-то в темноте сада.

— Мысль интересная, — сказал Михаил. — Вещь все время новая до определенного срока.

— И вы сделали такие ботинки, которые не изнашиваются? — спросила Ася.

— Да.

— Но как вы этого добились? — заинтересованно спросил Михаил.

— Долгая история, дружок. В общем, мы после многолетних опытов добились, что кожа органического происхождения сама восстанавливает изношенные клетки. Но... видишь ли, подошва — не такая уж важная проблема. Дело в принципе, а он завел меня... и других... довольно далеко...— Платонов выпрямился.— Ну, об этом как-нибудь в другой раз.

— Хотите еще чаю? — сказала Ася.— Я сразу подумала, что вы изобретатель. Выходит, можно делать и

пальто, и другие вещи, и они все время будут как новые?

— Можно делать и пальто... Ну, я пойду.

— Опять будете работать всю ночь?

— Возможно.

Тут у садовой калитки постучали. Игорь побежал открывать.

— Это дом Левицких? — донесся до веранды высокий женский голос.

— Да,— ответил Игорь.

— Скажите, пожалуйста, у вас живет Георгий Платонов?

У Платонова взлетели брови, когда он услышал этот голос. Он медленно спустился с веранды и шагнул навстречу стройной молодой женщине в сером костюме, которая вслед за Игорем шла по садовой дорожке.

— Георгий!

Она кинулась к нему и уткнулась лицом ему в грудь, он взял ее за вздрагивающие плечи, глаза его были полузакрыты.

— Зачем ты приехала? — сказал он.— Как ты меня нашла?

Женщина подняла мокрое от слез лицо.

— Нашла — и все...

— Пойдем ко мне, поговорим.

Он взял ее за руку и повел в свою комнату, на ходу пробормотав извинение.

— Пожалуйста,— откликнулась Ася. Поджав губы, она посмотрела на мужа.— Ну, что ты скажешь?

— Какое у нее лицо,— тихо проговорил Михаил.

— Хоть бы поздоровалась с нами... Однако у твоего старого дядюшки довольно молодые знакомые, ты не находишь?

— Может быть, это его жена...

— Жена? Значит, по-твоему, он сбежал от жены? Какой милый, резвый дядюшка!

— Перестань, Ася. Разве ты не видишь, у них что-то произошло.

— Вижу, вижу. Я все вижу.— Ася принялась споласкивать стаканы.

Михаил спустился в сад, вынес из пристроечки шланг и приладил его к водяной колонке. Он старался не смот-

реть в окно Платонова, но боковым зрением видел, что там не горит свет.

Тугая струя била из шланга, земля, трава и деревья жадно пили воду, и Михаил не жалел воды, чтобы они напились как следует.

Потом он вернулся на веранду, снова сел за прибранный стол, и Ася сказала:

— Надо идти спать.

Он не ответил.

— Что с тобой, Миша? Ты меня слышишь?

— Да. Мне не хочется спать.

Она подошла к нему сзади и обвила полными руками его шею.

— Я бы хотела, чтобы он поскорее уехал, Миша. Не сердись на меня, но мне кажется... он вносит в нашу жизнь какую-то смуту... Так спокойно было, когда мы его не знали...

Он погладил ее по руке.

Послышались шаги. Ася отошла к перилам веранды и скрестила руки па груди. Что еще преподнесут эти двое?..

Тихо отворилась стеклянная дверь. Платонов и женщина в сером костюме вышли на веранду.

— Я должна извиниться перед вами,— сказала женщина, на милом ее лице появилась смущенная улыбка ребенка, знающего, что его простят.— Меня зовут Галина Куломзина, я некоторое время была ассистенткой Георгия Ильича в Борках.

Михаил поспешно подвинул к ней плетеное кресло.

— Садитесь, пожалуйста.

— Спасибо. Я привыкла заботиться о Георгии и... Словом, я приплыла сюда на «Балаклаве» и обошла весь город. У вас такой чудесный город, только очень устаешь от лестниц...

— Это верно.— Михаил улыбнулся.— К Кара-Буруну нужно привыкнуть.

— Я не знала, где остановился Георгий, и спрашивала буквально у всех встречных, описывала его внешность... Смешное и безнадежное занятие, не правда ли?.. Я даже ездила в Халцедоновую бухту и обошла все пансионаты. Наконец, меня надоумили пойти в курортное управление. К счастью, одна женщина, задержавшаяся там на работе, знала, что к одной из ее сотрудниц... к вам,— она улыбнулась Асе,— приехал погостить родственник...

«Это Шурочка»,— подумала Ася и сказала вслух:
— Все хорошо, что хорошо кончается.
— Да... Я безумно устала, но, слава богу, я нашла его.— Галина долгим взглядом посмотрела на Платонова, неподвижно стоявшего у перил.
— Налить вам чаю? — спросила Ася.
— Минуточку, Ася,— вмешался Платонов.— Прежде всего: нельзя ли снять для Галины комнату здесь по соседству?
Ася изумленно посмотрела на него.
— Сейчас уже поздновато,— произнесла она с запинкой.— Но... почему бы вашей... ассистентке не остаться у нас? Игорь спит в саду, его комната свободна.
— Конечно, — сказал Михаил. — Располагайтесь в комнате Игоря.
— Благодарю вас.— Галина вздохнула.— Я так устала, что мне, право, безразлично...
— Кстати, куда это Игорь запропастился? — Ася поглядела в сад.— Игорь!
После того как незнакомая женщина кинулась к дяде Георгию, Игорь тихонько отступил в тень деревьев. Он пробрался в дальний угол сада и сел на выступ скалы. Смутное ощущение предстоящей разлуки охватило его. И Игорь подумал, что никогда и ни за что не женится, потому что там, где появляется женщина, сразу все идет кувырком.

А наутро Платонов исчез.
Первым это обнаружил Игорь. За три недели он привык, что дядя Георгий будил его ни свет ни заря, но в это утро он проснулся сам. По солнцу Игорь определил, что обычный час побудки давно миновал. С неприятным ощущением некоей перемены он, тихонько ступая босыми ногами, вошел в дом и приоткрыл дверь комнаты Платонова.
Дяди не было. Приборы все были свалены в углу в беспорядочной куче.
Ясно. Ушел в горы один.
Горшей обиды Игорю никто и никогда не наносил. Чтобы не заплакать, он поскорее залез на ореховое дерево, самое высокое в саду, и стал смотреть на море, голубое и серебряное в тот ранний час. Из бухты выходил белый теплоход, медленно разворачиваясь вправо.
«Балаклава»,— подумал Игорь. И он представил себе,

как в один прекрасный день уплывет на белом теплоходе из Кара-Буруна, а потом приедет в Борки и будет жить у дяди Георгия и помогать ему в работе. И он все время поглядывал на дорогу — не возвращается ли дядя Георгий, и заранее представлял себе, как он сухо ответит на дядино приветствие и немного поломается, перед тем как принять предложение идти на море.

Тут на веранду вышла та, вчерашняя. На ней был легкий сарафан — белый с синим. Она озабоченно поглядела по сторонам и ушла в дом. Потом на веранде появился отец. Он тоже огляделся, поправил виноградную плеть и позвал:

— Игорь!

Игорь неохотно откликнулся.

— Ну-ка, живо слезай,— сказал отец.— Ты видел утром дядю Георгия? Нет? Куда же он ушел?

Голос у отца был необычный, и Игорь понял: что-то произошло.

Потом они все стояли в комнате дяди Георгия. Михаил вертел в руках большой заклеенный пакет, на котором было четко написано: «Михаилу Левицкому. Вскрыть не ранее чем утром 24 августа». Это означало — завтра утром...

Вещей Платонова в комнате не было, он унес оба чемодана. Только приборы остались, да пустой ящик из-под ботинок, да две-три книжки.

— Он что же — уехал не попрощавшись? — Ася покачала головой.— Не сказав ни слова...

Галина смотрела на пакет в руках Левицкого. Не мигая, не отрывая взгляда, смотрела на пакет, в ее светло-карих глазах была тревога.

— Уехал? — растерянно сказал Игорь.

И тут он вспомнил про «Балаклаву», недавно отплывшую из Кара-Буруна.

— Сейчас узнаем,— сказал Михаил и подошел к телефону, не выпуская пакета из рук.

Он позвонил диспетчеру морского вокзала, и тот согласился запросить «Балаклаву» по радио.

— Михаил Петрович,— сказала Галина высоким звенящим голосом.— Очень прошу вас, вскройте пакет.

— Нет, Галина,— ответил он,— этого сделать я не могу.

— Странные все-таки манеры,— пробормотала Ася.— В таком преклонном возрасте выкидывать такие номера...

Галина посмотрела на нее.

— Простите за неуместное любопытство... Вы просто не представляете, как это важно... Вы знаете, сколько лет Георгию... Георгию Ильичу?

— Могу вам ответить,— сказал Михаил.— Дядя Георгий на двенадцать лет старше своей сестры, моей покойной матери. Ему семьдесят три — семьдесят четыре.

— Семьдесят... Боже мой...— прошептала Галина и сжала ладонями щеки.

Теперь настал черед Аси удивиться.

— Вы работаете с ним вместе и не знали, сколько ему лет?

— Он никогда не говорил... Я работала с ним недолго, четыре года... Но старожилы говорили, что он выглядел точно так же много лет назад. Я только знала — он старше Неймана...

— Дядя Георгий работал с Нейманом? — изумился Михаил.

— Да.

— Но позвольте... Я хорошо знаком с работами профессора Неймана. Он занимался проблемой долголетия, и это меня весьма интересовало как гериатра. Но ведь дядя Георгий работал совсем в другой области. Он говорил об износе материалов — что-то о переводе постепенного износа в ступенчатую категорию. Что здесь общего?

— Не могу сейчас... Не в состоянии говорить об этом...— На Галине прямо лица не было.— Но именно со ступенчатого износа они начали свое сумасшедшее исследование...— Она отвернулась к окну.

— Что все-таки произошло с Нейманом? — спросила Ася с интересом.— В газетах писали — загадочная скоропостижная смерть, ничем не болел... Милочка, да что с вами? — вскричала она, увидев, что Галина плачет.— Ну, пожалуйста, успокойтесь... Игорь, быстро воды!

— Не надо.— Галина прерывисто вздохнула.— Кажется, самые тяжкие мои опасения... Михаил Петрович, вскройте пакет!

Михаил медленно покачал головой.

Тут зазвонил телефон, и он проворно снял трубку.

— Доктор Левицкий? — услышал он.— Говорит диспетчер морского вокзала. Я связался по УКВ с «Балаклавой». В списках пассажиров Георгий Платонов не значится.

— Благодарю вас,— сказал Михаил и положил трубку.— На «Балаклаве» его нет.

— Значит, он здесь! — воскликнул Игорь.

— Да, из Кара-Буруна можно уехать только морем,— подтвердила Ася.— Милая, не надо волноваться...

— Я пойду.— Галина направилась к двери.— Пойду его искать.

— Я с вами! — встрепенулся Игорь.

— Минуточку.— Михаил встал у них на пути, его сухое тонкогубое лицо выглядело очень озабоченным, очень серьезным.— Послушайте меня, Галина. Давайте рассуждать логично. Георгий ушел с чемоданами — а они довольно тяжелы, естественно, он не станет бродить с такой поклажей по городу. Скорее всего, он остановился в гостинице или сдал чемоданы в камеру хранения вокзала. Я гораздо быстрее наведу справки по телефону, чем вы — рыская по городу. Прошу вас, наберитесь терпения. В городе всего три гостиницы.

Галина кивнула, отошла к окну.

— Игорь, тебе следовало бы пойти умыться,— негромко сказал Михаил и снял трубку.

Он позвонил в отель «Южный» и в другие две гостиницы, и отовсюду ответили, что — нет, Георгий Платонов у них не останавливался.

Михаил взглянул на часы, позвонил в санаторий «Долголетие» и попросил у главврача разрешения задержаться на час. Затем он вступил в сложные переговоры с администрацией морского вокзала, в результате которых выяснил, что человек по имени Георгий Платонов сегодня утром не сдавал в камеру хранения двух больших чемоданов.

Все это время Галина неподвижно стояла у окна, а Игорь, и не подумавший идти умываться, машинально листал книжки, оставленные дядей Георгием.

— Остается Халцедоновая, — сказал Михаил и вызвал коммутатор курорта.

— Тише! — вдруг крикнула Галина.— В саду кто-то ходит...— Она высунулась в окно.

Да, скрип ракушек под ногами...

Галина побежала на веранду, все последовали за ней.

По садовой дорожке к веранде шел грузный человек в белой сетке и грубых холщевых штанах, в сандалиях на босу ногу. Пот приклеил к его лбу прядь седых волос, крупными каплями стекал по темно-медному лицу.

— Филипп! — Игорь понесся навстречу старому сапожнику.

— Здравствуй мальчик,— сказал Филипп, пересиливая одышку.— Здравствуйте, все.

Он поднялся на веранду и сел на стул. Четыре пары встревоженных глаз в упор смотрели на старика.

— Было время, когда крутые подъемы вызывали у меня песню,— сказал Филипп, шумно и часто дыша.

— Вы видели дядю Георгия? — нетерпеливо спросил Игорь.— Где он?..

— Я копал под скалой червей для наживки, а солнце еще не встало,— сказал Филипп и почесал мизинцем лохматую седую бровь.— Тут он и пришел. В руках у него было по чемодану, а в зубах травинка. «Филипп, я собираюсь уехать, могу я на время оставить у вас чемоданы?» — «Ну, если в них нет атомной бомбы,— так я ему сказал,— то поставьте их в тот уголок, под красавицей Гоффи». Мы сели и позавтракали помидорами и сыром. Он ел мало, а говорил еще меньше.— Филипп сделал паузу и долгим одобрительным взглядом посмотрел на Галину.— Сколько вам лет, спросил он меня, и я сказал — человеку не надо знать, сколько ему лет, потому что...

— Где он? — прервала его Галина.— Если вы знаете, то просто скажите: где он?

Филипп покачал головой.

— Слишком просто, красавица,— сказал он.— Но вы узнаете все, что знаю я. Человек, который вас так интересует, вынул из чемодана ботинки и подарил их мне. Они не знают износа, сказал он, и это лучшее, что я могу вам подарить как специалисту. Я взял ботинки и, поскольку я не верю в вечность подошвы...

— Боже мой, неужели нельзя по-человечески сказать: где он?

— По-человечески? Ага, по-человечески... Ну, так он попрощался со мной за руку и пошел по Трехмильному проезду вверх. Прогуляться,— так он сказал. Я начал работать и размышлять: что же такое было у него на лице. Оно мне показалось странным. И я решил пойти сюда и сказать вам то, что вы услышали. По-человечески... Принеси мне воды, сынок.

— Мама вам принесет! — Игорь уже сбегал с веранды.— Я знаю, где его искать! — донесся голос мальчика уже из-за деревьев.— Я найду!

Хлопнула калитка.

Филипп напился воды, посмотрел на Галину, кивнул и направился к калитке, и ракушки захрустели под его грузными шагами. Михаил пошел проводить старика.

— Доктор, я все хочу попросить вас,— сказал Филипп, берясь за щеколду: — Дайте мне что-нибудь, чтобы я меньше потел во сне.

Игорь бежал по шероховатым плитам Трехмильного проезда, жесткая трава, торчащая из щелей, царапала его босые ноги. Он выскочил из дому в одних трусах, даже панамы не успел надеть, и теперь солнце начинало припекать ему голову.

Он очень торопился.

Дорога становилась все круче, Игорь запыхался и перешел с бега на быстрый шаг. Он старался экономно и правильно регулировать дыхание — как учил его дядя Георгий. Четыре шага — вдох, четыре шага — выдох.

Игорь и сам не знал, что заставляло его так торопиться. До сих пор он жил в окружении вещей и явлений ясных и привычных, как свет дня. Но последние события— приезд незнакомой женщины, непонятное бегство дяди Георгия, визит Филиппа — сбили мальчика с толку. Ему хотелось одного: вцепиться в сильную руку дяди Георгия, и тогда снова все будет хорошо и привычно.

Трехмильный проезд кончился. Влево уходила лесная дорога в Халцедоновую бухту, но Игорь знал, что дядя не любил этой дороги: он всегда предпочитал держаться ближе к морю. И Игорь без колебаний пошел направо по узкой тропинке, зигзагами сбегавшей в ущелье. Некоторое время он шел в тени моста электрички, продирался сквозь кусты дикого граната, потом, лавируя между стволами орехов, поднялся по противоположному склону ущелья и вышел к крутому обрыву над морем.

Он чуточку передохнул и потер большой палец ноги, больно ушибленный о корень дерева.

Затем Игорь двинулся по узкому карнизу — однажды они с дядей Георгием проходили здесь. Он старался не смотреть вниз, где под обрывом синело море, он медленно шел, прикасаясь левым плечом к скале и осторожно перешагивая кустики ежевики, тут и там стелющиеся по карнизу. В одном месте он увидел примятый кустик и раздавленные ягоды — это окончательно утвердило его в мысли, что дядя Георгий недавно здесь прошел.

Да, он недалеко. Наверно, за тем выступом, за которым сразу открывается вид на пляжи Халцедоновой. Еще десяток метров...

Дикий грохот и вой возникли так неожиданно, что Игорь вздрогнул. Это электричка, перелетев по стальному мосту через ущелье, мчалась по дороге, прорубленной в скалах, выше карниза, прямо над головой мальчика. Игорь знал, что отсюда электричку не увидит, но невольно задрал голову — и в тот же миг его правая нога встретила пустоту.

Он сорвался...

Его рука отчаянно цеплялась за карниз, но соскользнула с гладкого закругленного камня, и тут Игорь почувствовал, что живот прижат к колючему кусту. Он успел вцепиться руками в куст и повис над обрывом, тщетно пытаясь нащупать ногами опору.

— Дядя Георги-и-и-ий!

— И-и-и...— откликнулось горное эхо.

Незадолго перед этим Георгий Платонов прошел по карнизу к тому месту за выступом скалы, откуда была видна Халцедоновая бухта.

Здесь он остановился, прижался спиной к теплому камню, сдвинул кепи на затылок.

Здесь никто его не видел, и ему не приходилось думать о выражении своего лица.

Он был один — наедине со своими мыслями.

Перед ним лежало огромное море, согретое южным солнцем. Он видел зеленые склоны гор, желтые пляжи и белые здания. В двух часах ходьбы его ждала прекрасная женщина...

Но он был уже бесконечно далек от всего этого.

Он знал, что напрасно тянет время, но никак не мог оторваться от своих мыслей о Галине.

«Пойми, я должен был бежать от тебя. Ты мешала мне. Я нуждался хоть в каком-нибудь душевном равновесии, чтобы закончить работу. Но ты мне мешала, и вот я тайком уехал — бежал от тебя. Так было лучше — лучше для нас обоих. А потом ты бы все поняла из моих записок, которые Михаил перешлет в Борки. И время залечило бы рану.

Но ты разыскала меня.

Ну как объяснить тебе, моя единственная, что я уже не принадлежу жизни? Да, я здоров и силен, несмотря на

мои семьдесят четыре. Мои движения точны, мышцы налиты силой и сердце пульсирует ровно. Но через несколько часов... Через десять часов двадцать минут...

Бедняга Нейман, ему было лучше, ведь он не знал.

Открытый мною закон кратности обмена неотвратим и точен. Ничто не спасет меня. Ничто и никто — даже ты. Но все же... Безумный опыт, который я здесь проделал, дает какую-то возможность... Нет, не мне. Другим, кто будет после меня... Может быть, им удастся, следуя моим указаниям, нарушить кратность обмена... И значит, я не зря поработал здесь, в тишине и покое...

В тишине и покое?

Не надо обманывать себя. Покоя не было.

Но я не знал, что встречу здесь этого мальчика.

Если бы я знал...

Довольно тянуть».

Платонов смотрит на часы. Бежит по кругу секундная стрелка, исправно отсчитывая время.

Надо решаться.

Грохочет над головой электричка. Она везет к бархатным пляжам веселых, нарядных мужчин и женщин.

Ну, Георгий Платонов, может, ты оторвешь, наконец, спину от теплой скалы?

— Дядя Георги-и-ий!

Игорь? Как он сюда попал?

Голос мальчика, зовущий на помощь, мгновенно возвращает Платонова к жизни. Торопливо он продвигается по карнизу, боком огибает выступ... Глаза его расширяются при виде мальчика, висящего над обрывом.

— Держись, Игорь! Я иду!

Корни куста давно тянулись. Теперь они не выдержали, поддались... Игорь, не выпуская из рук колючих веток, полетел вниз.

— А-а-а-а...— голос его замер.

В тот же миг Платонов резко оттолкнулся от карниза и бросил свое тело в воздух. Синее море надвигалось на него. Сведя вытянутые руки перед головой, он, как нож, без брызг вошел в плотную воду, зашумевшую мимо ушей.

— Придется немного потерпеть,— сказал Михаил.

Мальчик кивнул. Пока отец промывал его ободранные грудь и живот, смазывал мазью и перевязывал, Игорь не издал ни звука. Он лежал, стиснув зубы и крепко

держась левой рукой за руку дяди Георгия. Не вскрикнул, не застонал. Только в глазах у него были боль и крик.

— Ну, вот и все.— Михаил укрыл сына простыней.— Молодец, Игорь. Теперь постарайся уснуть.

Он приложил ладонь ко лбу мальчика, потом отошел от койки и сделал знак жене: пойдем, ему надо отдохнуть. Ася со вздохом поднялась.

— Легче тебе, сыночек?

— Да, мама,— шепнул Игорь.

Он все еще не отпускал руки дяди Георгия, неподвижно сидевшего возле койки. Ася задернула штору и вышла вслед за Михаилом из комнаты.

Платонов поднял голову, взгляд его остановился на Галине. Он устало улыбнулся ей и подумал: «Она смотрит на меня почти враждебно».

Через некоторое время Игорь уснул. Но как только Платонов осторожно попробовал высвободить руку, мальчик встрепенулся и сжал его пальцы еще сильнее.

И так было еще несколько раз.

Текло время, в комнате стало сумеречно: там, за окном, солнце клонилось к закату. Платонов украдкой взглянул на часы. Галина сидела напротив, лицом к лицу, и он встретил ее отчаянный взгляд и тихонько покачал головой.

Наконец ему удалось высвободить затекшую руку. Игорь ровно дышал во сне. Платонов обнял Галину за плечи, и они вышли на веранду.

Ася захлопотала, побежала в кухню, вернулась с подносом. От запаха еды Платонов ощутил легкое головокружение.

— Не суетись, Ася,— сказал он.— Обед никуда не уйдет. Посиди спокойно... что пишут в газетах, Михаил?

— Не знаю.— Левицкий поднял брови.— Я не читал сегодня.

Вечерний ветерок зашелестел в листве деревьев. Снизу, из города, донеслось пение скрипок, сухой говорок барабана.

Платонов выпрямился, скрипнуло плетеное кресло.

— Ну что вы уставились на меня? — сказал он грубовато.— Эка невидаль: старикан, который зажился на свете.

Никто ему не ответил. Только Ася несмело сказала:

— Георгий Ильич, вы, наверно, голодный...

— Если хочешь, налей мне компоту.

Он принялся пить компот.

Галина резко поднялась, ногой отшвырнула стул.

— Георгий...

— Сядь, Галя,— прервал он ее.— Прошу тебя, сядь,— мягко повторил он.— Знаю, что должен сказать вам... Я хотел опередить свой час, но Игорь помешал мне... Послушай, Михаил, ты хорошо знаешь стариков, знаешь эти проклятые возрастные изменения, старческие болезни, слабость. Этот постепенный и неотвратимый износ организма. Дряхлеющий человек — черт возьми, что может быть печальней! — Упрямый огонек, хорошо знакомый Галине, зажегся в его серых глазах.— Возня с кожей и другими материалами навела меня на мысль о переводе износа живого организма в ступенчатую категорию. Человек не должен изнашиваться постепенно, как башмак. Пусть он, достигнув зрелости, сохранит ее в состоянии полного расцвета — до последнего мгновения. До последнего вздоха!

Платонов встал и прошелся по веранде. Затем он снова опустился в кресло и продолжал уже спокойнее:

— Я многие годы бился, изучая мозг. Потом мы стали работать с Нейманом. Мы установили: чтобы стабилизировать организм в фазе зрелости, надо разгрузить некоторые группы клеток мозга. Чтобы они тратили не одну свою биоэлектрическую энергию, а получали бы часть энергии извне, в виде периодической зарядки... Впрочем, в моих записях вы найдете все — и теоретические посылки, и описание нашей установки. Мне пришлось повторить первоначальные опыты с ботинками. Конечно, это скорее для душевного равновесия... Потом мне прислали приборы, и тогда... Ну, словом, я торопился закончить работу до двадцать третьего августа и я успел, как видите... Михаил, передай мой пакет Галине, она увезет его в Борки.

— Значит, вы...— начал Михаил глухим голосом.

— Да. Нам не оставалось ничего другого, как испытать на себе. И мы это сделали — Нейман и я. Была очень важна дозировка — мы собрали ее в виде одного заряда... Ты помнишь, Галя, в прошлом году мы повторили...

— Я помню! — вскричала она.— Да если бы я знала, что вы затеяли, я бы разбила магнитный модулятор!

Она зарыдала. Ася молча гладила ее по плечу.

— Ужасно...— прошептал Михаил.

— Ужасно? Нет, дорогой племянник, это прекрасно! — с силой сказал Платонов.— Похож я на твоих стариков? То-то же! Мне за семьдесят, а я здоров и полон сил. Ужасно другое... Мне удалось сформулировать одну задачу для

электронно-счетной машины, и она... Совершенно неожиданно для меня она вывела закон кратности обмена. Она безжалостно, с точностью до минуты сообщила продолжительность эффекта... Я ничего не сказал Нейману: его час оказался ближе моего... Да, Нейман был счастлив: он не знал.

Платонов вдруг направился к двери и распахнул ее. За дверью, в коридорчике, стоял Игорь — белели бинты на его коричневом теле. В руке у него была зажата книга.

— Ты подслушивал? — тихо спросил Платонов.

Мальчик смотрел на него тревожными глазами. Словно кто-то подтолкнул его — он бросился к Платонову и судорожно вцепился в него.

— Не уезжайте!.. — кричал он.— Дядя Георгий, не уезжайте! Не уезжайте!!

Платонов гладил его по голове.

— Ну, ну, Игорь, с чего ты взял?.. Ну-ка, успокойся. Будь мужчиной. Никуда я не уезжаю...

Он повел его в комнату и велел лечь.

— Ты давно проснулся?

— Нет, — прошептал Игорь. — Недавно... Я зажег свет, хотел почитать, а потом...

— Вот и хорошо. А теперь спи, дружок. Книжку дай сюда. Что это?

— Это ваша. Вы ее оставили... «Портрет Дориана Грея».

— Вот как! Ну, Игорь, покойной ночи.

— Покойной ночи, дядя Георгий.

Платонов вернулся на веранду. Задумчиво полистал истрепанные страницы, потом вынул авторучку и размашисто написал на титульном листе: «Будущему ученому Игорю Левицкому на память о нарушителе законов природы Георгии Платонове. Не бойся того, что здесь написано».

Он положил книгу на стол, взглянул на часы.

— Мне пора...

Он пожал трясущуюся руку Михаила. Ася с плачем кинулась ему на шею.

— Мы никогда... никогда...— Михаил пытался что-то сказать, язык его не слушался.

— Все-таки хорошо, что я повидал вас,— сказал Платонов.— Хорошо и плохо... Ну, прощайте. Пойдем, Галина, проводи меня.

Они сидели на камне, еще хранящем тепло ушедшего дня. Море с шорохом набегало на крохотный пляжик, зажатый скалами. Справа виднелись городские огни, освещенный куб морского вокзала, цепочка огней на набережной.

— Мы часто купались здесь с Игорем.

Галина не ответила. Она, казалось, окаменела.

Платонов притянул ее к себе.

— Будь умницей, Галина... Продолжай работать. Продолжай работать, слышишь? Со старостью надо бороться, но только так, чтобы это не было противоестественно в круговороте природы. Ты слышишь меня?.. Ступенчатый износ — правильная идея. Но человек не должен знать своего часа. Это мешает жить... Ты слышишь? Поезжай в Ленинград к Зыбину, отдай ему запись последнего опыта. Там указан путь... Галя, очнись! Слушай! Я нащупал возможность нарушить кратность обмена. Ты с Зыбиным обязана довести это до конца.

Он встал, снял с руки часы, взглянул на них еще раз — и с силой ударил о камень. И отшвырнул в море.

— Я иду, Галя... Жизнь вышла из океана. Мы носим океан в своей соленой крови. Я хочу, чтобы это произошло в море...

— Не пущу! — крикнула Галина, изо всех сил обхватив его руками.— Не пущу, не пущу! — исступленно повторяла она.

Он гладил ее по голове, по плечам. Лицо его было запрокинуто вверх, к звездному рою, но он не видел звезд: он крепко зажмурил глаза.

Потом он решительно отвел ее руки. Быстро сбросил одежду и вошел в теплую черную воду. Зашуршала галька.

Женщина, рыдая, бросилась за ним.

— Будь умницей, Галина. У меня мало времени, а я хочу доплыть до выхода из бухты.

Стоя на берегу, она некоторое время видела его голову и руки — мерно появляющиеся и исчезающие. Потом темнота скрыла его, но еще долго слышала женщина в ночной темноте тихий плеск воды под его руками.

Г. АЛЬТОВ

Клиника «Сапсан»

В моем распоряжении три часа, даже меньше. Двадцать минут назад Юрий Петрович Витовский объявил: «Решено, начинаем в десять». Я спросил, что делать сейчас. Он ответил: «Изложите-ка суть дела на бумаге. Основные факты и мысли. Все, что вы думаете о предстоящем. Впоследствии эта запись поможет вам понять себя». ВВ, неодобрительно поглядывавший на Витовского, добавил: «По идее лучше бы ничего не писать. Я приду за вами через три часа. Во всяком случае, избегайте лирики и пишите короче. У нас еще куча дел».

Беспокойство ВВ понятно — у меня нет дублера. Если я передумаю, эксперимент придется надолго отложить. Но ВВ волнуется напрасно: я не передумаю. Не то чтобы мне все было ясно. Скорее наоборот. Такая уж это каверзная проблема: чем глубже в нее влезаешь, тем больше нерешенных вопросов. Верный признак, что нужен эксперимент.

Что ж, попытаюсь — без лирики и покороче — изложить «основные факты и мысли».

Самый основной факт состоит в том, что здесь, в клинике «Сапсан», ставится опыт по практически неограниченному увеличению продолжительности жизни. Первый опыт на человеке. На мне.

В сущности, Витовский, Панарин и их сотрудники давно решили биологическую проблему бессмертия. Наш эксперимент имеет другую, более далекую, цель. Он должен прояснить психологические (по мнению Витовского) и социальные (так думает Панарин) следствия бессмертия.

Нелегко объяснить, каким образом я, человек, далекий от биологии, оказался участником этого эксперимента. Здесь два вопроса: почему выбрали меня и почему я согласился. На первое «почему» могут ответить Витовский и Панарин. А вот почему я согласился... В самом деле — почему? Я пытаюсь вспомнить, когда это произошло,— и не могу. Не помню. Сначала было твердое «нет». Теперь — твердое «да».

Еще месяц назад я не знал Витовского и Панарина. То есть знал издалека: с тех пор, как они получили Нобе-

левскую премию за работы по биохимии зрения, их знают многие.

Витовского я видел раза два-три, не больше. В наше время, когда ученые стараются походить на боксеров или отращивают декоративные бороды, Витовский выделялся совершенно естественной интеллигентностью. Вероятно, таким был бы Чехов, если бы дожил до шестидесяти (Витовскому пятьдесят восемь).

Владимир Владимирович Панарин в ином стиле. Он старается походить на Витовского, но это маскировка. Добродушно улыбаясь, он появляется на совещаниях, скромно усаживается где-нибудь в сторонке и углубляется в книгу. Так он сидит часами, изредка поглядывая на выступающих, а потом вдруг раздается его громовой голос. Это подобно взрыву, и Панарина довольно удачно называют ВВ *. В течение нескольких минут на аудиторию обрушивается такое количество мыслительной продукции, которого хватило бы на десяток совещаний и конференций. Именно мыслительной продукции, а не просто мыслей. Весь фокус в том, что ВВ выдает тщательно продуманную систему новых и почти всегда парадоксальных соображений. В сущности, это готовая научная работа — с четким рисунком движения мысли, с вескими и убедительными фактами, с ехидным подтекстом и, главное, с конкретной программой исследований.

Месяц назад я увидел ВВ в Харькове на конференции по машинному переводу. Собственно, с этого все и началось. Я был удивлен, когда в перерыве Панарин, отмахиваясь от обступивших его журналистов, направился ко мне. «Вашего выступления нет в программе,— сказал он.— Давайте поговорим».

Мы вышли в сад. Панарин отыскал в отдаленной аллее свободную скамейку и внимательно огляделся. Я заметил, что он волнуется, и спросил:

— Что-нибудь случилось?

— Да,— ответил Панарин.— То есть нет. Просто вы теперь один. Без дублера.

— Без... чего? — переспросил я.

ВВ со вкусом рассматривал меня. К нему вернулась обычная уверенность.

Я не сразу понял Панарина, хотя он повторил объяснения по меньшей мере трижды. Вероятно, это особен-

---

* ВВ — сокращенное обозначение слов «взрывчатое вещество».

ность проблемы бессмертия. Все очень просто, пока речь идет вообще, и все безмерно усложняется, как только начинаешь «привязывать» эту проблему к себе. Разработан, сказал Панарин, способ неограниченного продления жизни. До сих пор опыты ставились на животных («Берем престарелого пса и за две недели превращаем его в щенка»). Методика надежно проверена, никакого риска нет. Нужно переходить к опытам на человеке. Получено разрешение на первый такой опыт. Для начала — омоложение на десять лет. Конечно, испытатель (Панарин сказал «испытатель», а не «подопытный») должен быть добровольцем. Год назад они — Витовский и Панарин — наметили восемь человек («Отобрали молодых ученых. В том числе вас».) Но по разным причинам семь кандидатур отпали.

— Почему? — спросил я.

Панарин усмехнулся.

— Законный вопрос. К испытателю предъявляется комплекс требований. Молодость. Здоровье. Отсутствие семьи. Вам тридцать один?

Я не успел ответить.

— Ну, вот, тридцать один,— продолжал Панарин.— А после опыта будет двадцать один. Это могло, пожалуй, озадачить вашу жену, если бы таковая имелась. И детишек, если бы таковые были. Нам нужны сироты. Талантливые сироты с определенным положением в науке. Со степенями. Думаете, так просто найти восемь талантливых сирот со степенями? Мы нашли. А потом выяснилось, что у троих сирот только видимость таланта. Мираж. Фу-фу! Вот так. Двое других сирот за это время перестали быть сиротами. Что поделаешь! Зато на остальных мы рассчитывали твердо. Абсолютные сироты. Светлые головы. Доктора наук. Но неделю назад один улетел работать куда-то в Африку. А второй вчера чуть не сломал себе шею на мотогонках и сейчас находится в аккуратной гипсовой упаковке.

Я все еще не понимал Панарина. Почему испытатель обязательно должен быть молодым ученым? Почему — со степенями? Почему, наконец, этим испытателем должен быть я?

— Допустим,— сказал Панарин,— опыт состоялся. Вы стали моложе на десять лет. И при этом сохранили память, знания и способности. Все, как до опыта. Вы бы согласились? Отлично бы согласились! А теперь допустим,

что вместе с десятью годами исчезнет и то, что было завоевано. Нет тридцатилетнего доктора наук. Есть двадцатилетний студент, которому снова придется искать свое место в науке. Представляете?

Он продолжал:

— Ну давайте сначала. Вот три варианта. Первый: прямое увеличение продолжительности жизни. Практически это означает долгую старость, потому что увеличение пойдет главным образом за счет этого периода. Не растягивать же детство на сотни лет. Естественное долголетие — именно долгая и бодрая старость. Типичное не то! Второй вариант: вечная молодость. Опять плохо. С годами люди не всегда умнеют. Болван, например, чаще всего остается болваном. Представляете, вечно бодрый болван, которому износу нет... Разумеется, не в одних болванах дело. Когда человек сложился, дальше идет главным образом количественное развитие. Самый верный способ резко замедлить прогресс — дать всем вечную молодость. Вы же знаете, какая в науке погоня за молодыми учеными. Молодые — значит, новые. Им легче разворошить тщательно отшлифованные теории. Ученому старшего поколения трудно уйти от сложившихся теорий: он их сам складывал, сам шлифовал. Гении — не в счет. Если хотите, сущность гения в том, что он может (и не раз!) махнуть рукой на проделанную им работу и начать с нуля. Так вот, третий вариант бессмертия в том, чтобы стать новым человеком и начать с самого начала.

По аллее шли люди, и Панарин замолчал. А я думал, как объяснить мой отказ. Мне хотелось, чтобы Панарин правильно меня понял. Я работаю над совершенствованием эвротронов — логических машин, способных решать изобретательские задачи. Пусть эта работа и не столь значительна, как работа Витовского и Панарина, но она нужна. Если я исчезну (даже мысленно как-то странно было произносить эти слова), распадется целый коллектив.

— Целый коллектив? — переспросил Панарин, когда я изложил ему свои соображения.— Ну и что? В вашем коллективе сорок человек. Есть коллектив побольше — четыре миллиарда человек. Человечество.

Он искоса посмотрел на меня и вдруг произнес совсем другим, очень спокойным, тоном:

— Ладно. Не хотите — не надо. Но вы, надеюсь, можете поехать к Витовскому и повторить ему свой отказ?

Панарин хитер, он хорошо знает особенность этой проблемы: можно сказать «нет» и еще сто раз «нет», и все равно не перестанешь думать.

Десять лет жизни. «То, что было завоевано». Я хорошо запомнил эти слова. Да, десять лет моей жизни — непрерывная и напряженная работа. Прежде всего битва за звания. Нельзя продвигаться в новой области, не перемалывая двойную и тройную норму информации. Потом битва за право работать над своей темой — ее считали нереальной, полуеретической. Мне говорили: «Машина, которая будет изобретать? Полноте! В принципе это, может быть, осуществимо, не будем спорить с киберпоклонниками. Но практически — нет, невозможно. Во всяком случае, преждевременно». И это были не досужие разговоры. От них зависела возможность получить свой угол в лаборатории. А потом — неудачи. Бесконечная вереница неудач, постепенно выявивших истинную глубину проблемы. Такую глубину, что, может быть, и не решился бы начать, если бы знал... Я не жалуюсь. Научный процесс и состоит в том, чтобы преодолевать косность — свою и чужую. Десять лет настоящей битвы. По Гёте: «Кто болеет за дело, тот должен уметь за него бороться, иначе ему вообще незачем браться за какое-либо дело». Сейчас мне дороги даже былые неудачи и изнурительные споры с теми, кто воспринимал упоминание об эвротронах, как личное оскорбление. Десять лет незаметно вместили и те очень долгие годы, в течение которых — сверх всего — пришлось делать кандидатскую диссертацию. Потом чересполосица успехов и неудач, когда сначала почти не было успехов, а потом почти не было неудач. И присуждение — уже без защиты — докторской степени. Наконец, лаборатория, отлично оборудованная лаборатория. Сорок человек, которых я подбирал, учил, в которых поверил и от которых теперь неотделим.

Подъем по лестнице, как бы он ни был утомителен, всегда можно повторить: проделал определенную работу — и поднялся. Десять лет моей жизни это не просто энное количество работы. Кто поручится, что через год после начала повторного пути я снова смогу в течение двух суток, показавшихся мне тогда одним остановившимся мгновением, найти основные теоремы эвристики?.. Кто поручится, что еще два года спустя, пережидая дождь в неуютном и шумном зале свердловского аэропорта, я

нарисую на папиросной коробке схему первого интерференционного эвротрона?..

Если говорить прямо: кто поручится, что, вернувшись на десять лет назад, я снова смогу жить в науке?

Да, необязательно быть ученым. Необязательно — если до этого не был ученым. Но попробуйте скиньте летчику десять лет и скажите: «Не летай!» Скиньте десять лет моряку и скажите: «Не плавай!»

В Сыктывкаре нас ждал вертолет. Мы долго летели над тайгой. Панарин, удобно устроившись в кресле, листал пухлые реферативные журналы. Внезапно вертолет развернулся и пошел на снижение. Солнце ударило в иллюминатор, я отодвинул занавеску — и впервые увидел тундру.

Никогда не думал, что краски здесь могут быть такими звеняще-яркими. Над далекой лиловой полосой горизонта, в синем вечернем небе висело холодное солнце. А земля была огненно-желтой, и по ней шли волны: поток воздуха от лопастей вертолета сгибал упругие кусты сиверсий и еще каких-то красноватых цветов.

Я никогда не был в тундре. Я вообще почти нигде не был. По меньшей мере половину из этих десяти лет я шагал из угла в угол или сидел за столом. У меня не было ни одного настоящего отпуска. Глупое слово «отпуск». Разве можно «отпустить» себя от своих мыслей?

Тундра поражает необычным ощущением простора. Земля здесь утратила кривизну: где-то очень далеко желтое море сиверсий темнеет и, притушеванное лиловой дымкой, незаметно переходит в серую, потом в синюю и, наконец, в ультрамариновую глубину неба.

Я вдруг по-настоящему почувствовал, что такое *десять лет жизни*. Доводы против эксперимента на мгновение натянулись, как до предела напряженные стропы.

Издали клиника «Сапсан» похожа на маяк в море. Только маяк этот синий, как осколок неба, а море оранжевое. Восьмиэтажное цилиндрическое здание со всех сторон окружено нетронутой тундрой. Круглый внутренний двор прикрыт прозрачным куполом. С высоты это напоминает колодец, но двор большой, метров триста в диаметре.

Меня удивила тишина. Даже не сама тишина, а то, что стояло за ней: огромное здание было безлюдно. Мне просто не пришло в голову, что это связано с моим появлением.

И еще — черепахи. Десятка два огромных черепах с белыми, нарисованными краской, номерами на панцирях беззвучно ползали по ситалловым плитам двора.

— Не обращайте внимания,— сказал Панарин.— По воскресеньям бывают гонки на черепахах. Местный национальный обычай.

Я спросил, на какие дистанции устраиваются гонки. ВВ удивленно посмотрел на меня и хмыкнул: «На разные».

В «Философских тетрадях» Ленина есть тонкое замечание о движении мысли в процессе познания. Человек, говорит Ленин, сначала познает, так сказать, первую сущность проблемы, потом вторую, более глубокую, сущность и так далее. Вероятно, бессмертие — единственная проблема, в которой первая сущность настолько глубока, что до Витовского и Панарина вторая сущность даже не просматривалась.

Человек — при ненасытной жажде все понять и во всем разобраться — почему-то избегает думать о смерти. Я не биолог и не рискну искать причин. Я просто констатирую: мозг человека активно противодействует попыткам думать о смерти — своей, своих близких, всего земного. Человек (в этом его духовное величие), зная, что он смертен и что смертны все остальные люди, живет так, словно он и все вокруг него бессмертны.

До самого последнего времени биология была далека от практических попыток штурмовать проблему бессмертия. Никто всерьез не задумывался над вопросом: «А что будет, если мы найдем эликсир бессмертия?» Панарин сказал об этом так: «Делить шкуру неубитого медведя неприлично только на охоте. Современный ученый должен начинать именно с размышления об этой шкуре». И тут же закидал меня вопросами:

— Найдено средство, обеспечивающее бессмертие. Допустим, пилюльки. Сначала, как водится, пилюлек считанное количество. Спрашивается, раздавать их избранным или подождать, пока наберется на все человечество?

— Если раздавать избранным, то кому? Может, по рангу? Доктору наук выдать, кандидату — нет... Вообще, кто и как будет определять — кому дать и кому не дать?

— Раздавать всем? Прекрасно. Дело, конечно, не в слишком быстром увеличении населения планеты. Это проблема сложная, но вполне разрешимая. Загвоздка в

другом. Коль скоро пилюльки раздаются всем, значит, и Франко тоже? И всему капиталистическому миру? Ах, не абсолютно всем. Кто же будет решать? Кто и как? Снова будем обсуждать, например, кто такой Пикассо: великий художник (дать пилюльку!) или формалист, апологет растленного буржуазного искусства (не давать пилюльку!).

— Раздавать пилюльки у себя? Изумительная идея. Не дадим бессмертия Гейзенбергу, Эшби, Сент-Дьердьи, Кусто, Чаплину, Сикейросу, Расселу... Вот так. Вы и сами найдете еще десяток подобных вопросов. Думайте! Думайте. Это полезно.

Неожиданно Панарин сказал совсем другим тоном, без обычного ехидства.

— Над проблемой бессмертия надо либо вообще не думать, либо думать честно, не лавируя.

Панарин прав.

Есть лишь один способ думать — глядя в глаза правде. Не бывает обстоятельств, которые оправдывали бы необходимость прищуриться или вообще отвернуться.

Разговор этот произошел еще в Харькове, перед отлетом на север. В дороге Панарин упорно копался в журналах. У меня было время поразмыслить. «Пилюльки бессмертия» тянули за собой множество сложных и взаимосвязанных проблем, затрагивающих буквально все стороны человеческого существования: социальные отношения, политику, семью...

Я вновь, уже самостоятельно, перебрал возможные варианты бессмертия.

Сохранить всем тот возраст, который есть? Это не решение, ибо будут новые поколения и для них снова возникнет вопрос: в каком возрасте принимать пилюльки? Вечная старость — сомнительный дар. Значит, вечная молодость? Но человек будет молод телом и стар столетней памятью, столетним или трехсотлетним количеством пережитого, притупившейся за сто, триста или пятьсот лет способностью воспринимать новое... Да, единственный приемлемый вариант — нормальная жизнь и омоложение по достижении старости. Омоложение не только физическое, но и — в определенной степени — умственное.

В какой же степени?

Вот она, первая сущность проблемы бессмертия: нескончаемая вереница вопросов и никаких признаков приближения ко второй сущности.

Полное (или почти полное) умственное омоложение не имеет смысла. Это равносильно смерти одного человека и рождению нового. Следовательно, речь может идти лишь о возвращении в молодость.

Возвращение в молодость. А знания, научные знания — как быть с ними? Сохранить, чтобы потом пойти дальше? Заманчиво. Тогда надо сохранить и то, что делает художника художником, а композитора композитором. Но ведь это значит сохранить (круг замыкается!) память об увиденном, услышанном, пережитом. Да и ученый перестанет быть ученым, если вычеркнуть из его памяти пережитое.

Следовательно, не сохранять знания? Или поставить фильтр: пусть уйдут, так сказать, жизненные знания и останутся сведения, почерпнутые из справочников и учебников?..

И вот здесь, задавленный цепной реакцией вопросов, я подумал: хорошо (и закономерно), что для решения проблемы бессмертия потребовалось объединить неисчерпаемую энергию Панарина и гуманизм Витовского.

Панарин и Витовский — ученые примерно одной величины. Но писать о Витовском много труднее, чем о Панарине, я даже и не буду пытаться. Впрочем, об одной детали * надо сказать непременно.

Витовский носит дымчатые очки. Еще раньше я где-то читал или от кого-то слышал, что Витовский испортил зрение, ставя на себе опыты. Здесь, в клинике «Сапсан», подолгу беседуя с Витовским, я не раз испытывал желание спросить об этих опытах. Очки из обычного дымчатого стекла, дело не в дефекте зрения. Случалось, Витовский снимал очки на террасе — при ярком солнечном свете. И никогда не снимал их в слабо освещенной комнате.

Однажды (это было на третий день после приезда в клинику) мы с Панариным прогуливались по внешней террасе. Внезапно я услышал резкий свист, оглянулся, но никого не увидел.

— Это в небе,— сказал Панарин.— Сапсан. Любимая птица Юрия Петровича. Сапсан не нападает на птиц, когда они на земле. Юрий Петрович усматривает в этом проявление благородства. Зато в воздухе сапсан — изуми-

* Слово «деталь» совершенно не подходит. Это одна из тех трудностей, на которые наталкиваешься, пытаясь говорить о Витовском.

тельный охотник. Выискивает с высоты добычу и пикирует, развивая фантастическую скорость: метров сто в секунду, даже больше. Живая пуля. Попадает безошибочно. Разглядеть сапсана в момент пикирования может лишь Юрий Петрович. Остальные слышат свист — и только.

Я спросил, каким образом Витовскому удается видеть пикирующего сапсана. Панарин ответил:

— Старая история. Это было лет двадцать назад... Тут неподалеку речушка, мостик. Так вот, у этого мостика нам как-то крепко досталось. Весьма крепко. Пьяные подонки — они палили по птицам. Развлекались... Здесь, в тундре, птицы — сама жизнь. Без них тундра мертва... В самый разгар пальбы появился сапсан. Все птицы врассыпную, они сапсана боятся больше, чем выстрелов. Юрий Петрович (мы бежали к мостику) крикнул: «Смотрите, принял огонь на себя». Чушь, черт побери, чушь! А ведь как похоже... Сапсан летел медленно — словно нарочно! — большая красивая птица с длинными узкими крыльями... Впечатление было такое, будто он не хотел замечать стрельбу, и это бесило этих... стрелков. Вот тут Юрий Петрович и произнес речь в защиту сапсана. Такую, знаете, деликатную речь в обычной своей манере. Дескать, птица редкая, охраняется государством, не нужно стрелять. Ему крикнули, чтобы он заткнулся. Именно так это было сформулировано. Я впервые тогда увидел Юрия Петровича разъяренным. «Балбесы! — закричал он.— Все равно не попадете...» Да. В этот момент мы желали только одного: чтобы сапсана не подбили. И, знаете, казалось, птица поняла нас. Она летала под выстрелами — и как летала! Почти вертикальный взлет, сапсан растворяется в высоте, а потом свист, и птица возникает под носом у стрелков... Не знаю, чем бы все это кончилось. Такая, с позволения сказать, охота взбаламучивает не самые лучшие инстинкты. Этих... стрелков было человек десять... Да. На выстрелы прибежали люди, пальбу прекратили. Сапсан еще долго кружил над тундрой... Вот так. Юрий Петрович впоследствии долго изучал зрительный аппарат сапсана. У хищных птиц вообще поразительное зрение. Я был в отъезде, когда Витовский ставил опыты на себе. К несчастью, опыты были слишком удачными. Или слишком неудачными. В таких открытиях всегда есть две стороны. Когда-нибудь мы привыкнем к этому, как привыкли после де Бройля к идее одновременного существования у материи свойств волны и частицы. Витовский теперь зорче

сапсана или грифа. Но это оказалось необратимым... и не всегда нужным. Скажем, созерцать наши с вами физиономии при такой остроте зрения не стоит. Не тот эстетический эффект. А вот видеть гиперзрением природу... Ну, этого не передать словами.

Мне удалось уговорить ВВ. Действие препарата длилось минуты три-четыре, но я все-таки увидел мир таким, каким его видит Витовский.

Позже я скажу об этом. Сейчас мне хотелось бы воспользоваться мыслью Панарина относительно двойственной природы открытия. Обычно мы подходим к научным открытиям, так сказать, с доволновых позиций: либо хорошо, либо плохо — и никакой двойственности. А современным крупным открытиям эта двойственность органически присуща. Да и сам процесс появления открытий имеет как бы «волновую» и «квантовую» природу. (Разумеется, это лишь аналогия. Но она проясняет суть дела.) Современные открытия не только двойственны. Они и появляются «квантами». Если бы от обычного химического горючего наука постепенно пришла к энергии атомного порядка, не было бы проблем, обрушившихся после Хиросимы на человечество. Однако скачок произошел внезапно, сразу на качественно новый уровень. И так на всех решающих направлениях. Если бы, например, бессмертия достигли постепенным увеличением продолжительности жизни, не возникла бы цепная реакция вопросов, на которые почти невозможно ответить. Но и этот скачок был внезапным и резким...

Я уверен, здесь нет случайности. Таков вообще характер современного научного процесса. Сила ученого сейчас во многом зависит от его способности ощущать «волновую» и «квантовую» природу новых открытий. Быть может, здесь ключ к пониманию Витовского.

Когда в Харькове Панарин предложил поехать к Витовскому, я охотно согласился. Дело, конечно, не в том, чтобы повторить отказ (для этого есть телефон). Панарину хотелось выиграть время и возобновить атаку. А меня радовала возможность поговорить с Витовским.

Неожиданным был уже первый разговор.

Витовский спросил, помню ли я последнее интервью Винера. Я, конечно, хорошо помнил это интервью, опубликованное в шестьдесят четвертом году, незадолго до смерти Винера; оно имеет прямое отношение к моей ра-

боте. Витовский специально выделил в этом интервью два ответа. Вот они:

Вопрос. Согласны ли вы с прогнозом, который мы иногда слышим, что дело идет к созданию машин, которые будут изобретательнее человека?

Ответ. Осмелюсь сказать, что если человек не изобретательнее машины, то это уже слишком плохо. Но здесь нет убийства нас машиной. Здесь будет самоубийство.

Вопрос. Действительно ли существует для машины тенденция становиться сложнее, изобретательнее?

Ответ. Мы делаем сейчас гораздо более сложные машины и собираемся сделать еще гораздо более сложные машины в ближайшие годы. Есть вещи, которые пока совсем не дошли до общественного внимания, вещи, которые заставляют многих нас думать, что это случится не позже, чем через какие-нибудь десять лет.

— Эти десять лет прошли,— сказал Витовский.— Может ли человек теперь соревноваться с машиной в решении интеллектуальных задач?

Витовский, конечно, сам знал ответ. Мне оставалось лишь рассказать о новых универсальных машинах серии «КМ» и о последних конструкциях своих эвротронов. Он выслушал, не перебивая, потом спросил, что я в этой связи думаю о будущем.

Я ответил примерно следующее.

Было бы величайшим легкомыслием закрывать глаза на проблему «человек и машина». Дело не в бунте машин. Эти шкафы и ящики абсолютно не способны бунтовать. Проблема как раз в обратном: машины слишком хорошо работают на нас. Допустим, машина заменяет труд экономиста. Что должен делать этот экономист? Совершенствоваться, учиться, перейти на более сложную работу? Но не так просто совершенствоваться в тридцать, сорок или пятьдесят лет. К тому же сейчас почти все машины тоже способны совершенствоваться в процессе работы. И они это делают куда быстрее человека.

Когда-то машины вытеснили человека из сферы физического труда в сферу умственного. Потом машины начали умнеть. Поставить точку, прекратить совершенствование интеллектуальных машин? В мире, разделенном на многие государства, это не так просто. Да и сама «постановка точки» была бы странной: интеллектуальные машины — не оружие, они должны служить человеку...

Пока мы ограничиваемся полумерами: люди переходят в менее «кибернетические» отрасли, быстро увеличивается число людей, занимающихся искусством.

— А как вы смотрите на возможность соревнования человека с машиной? — спросил Витовский.— Человек тоже развивается, не так ли?

Я возразил: человек развивается слишком медленно. За три тысячи лет мозг человека почти не изменился. Для ощутимых изменений нужны десятки тысяч лет.

— Это так и не так,— сказал Витовский.— Машины действительно развиваются намного быстрее человека. Рассматривая проблему «человек и машина», мы видим неменяющегося человека и быстро меняющуюся машину. Но ведь сама кибернетика, развиваясь, дает средства для форсированного, очень быстрого развития человеческого мозга. Значит, если не отмахнуться от проблемы «человек и машина» (а такая тенденция есть!), можно гармонически развивать людей и машины, сохраняя между ними оптимальную дистанцию. Как вы думаете?

Я, кажется, ответил невпопад. Меня ошеломила неожиданная идея о возможности (для всего человечества!) жить в состоянии непрерывного усовершенствования — столь же стремительного, как и развитие машин.

Да, как ни удивительно, в бессчетных спорах вокруг проблемы «человек и машина» всегда молчаливо предполагают, что «человек» — это сегодняшний человек, а «машина» — это будущая машина. Считается само собой разумеющимся, что возможности человеческого мозга через двадцать лет или через столетие останутся почти такими же, как сегодня. Да и через тысячу лет «конструкция» человека не претерпит принципиальных изменений — так, во всяком случае, думают фантасты.

Я не случайно упомянул о фантастике. Наука пока не занимается вопросом о людях XXI или тем более XXX века. В планах исследовательских работ, среди тысяч и тысяч тем, нет ни одной, посвященной человеку будущего. Наше представление о будущих людях формируется отчасти интуитивно, отчасти под влиянием фантастической литературы. Поэтому к проблеме «человек и машина» мы подошли с теми представлениями о людях будущего, какие были привиты нам фантастикой.

Что ж, если «конструкция» человека принципиально не меняется, машины неизбежно окажутся умнее нас.

Это вопрос времени — и только. Подчеркиваю еще раз: машины нас не съедят. Они только будут все лучше и лучше выполнять нашу работу, в том числе — производственную, исследовательскую, административную.

Многолетние дискуссии постепенно выработали компромиссную (я бы сказал — половинчатую) точку зрения: теоретически машины могут стать сколь угодно умными, но практически создание подобных машин невероятно сложно и произойдет это еще весьма не скоро. Примерно так относились в двадцатых и тридцатых годах к проблеме атомной энергии: вообще, мол, возможно, однако трудности таковы, что потребуются многие столетия... Как известно, все произошло значительно быстрее.

Я записываю то, что думаю сейчас, после долгих бесед с Витовским и Панариным. При первом разговоре мысли были хаотичнее. И все-таки уже тогда я уловил главное. Вторая сущность проблемы «человек и машина» (как и вторая сущность проблемы бессмертия) начиналась с уяснения единственно верного пути: человек будущего должен иметь принципиально новую способность постоянно и быстро совершенствовать свою «конструкцию».

В ту ночь я считал, что понимаю смысл работы Витовского и Панарина: решать проблему бессмертия — значит решить и проблему «человек и машина». Я не знал тогда, что это лишь один участок ведущихся в клинике работ. Быть может, даже не самый главный участок.

Мне не спалось, я никогда не видел солнечной ночи Заполярья. Время остановилось. Замерло зацепившееся за горизонт солнце. Умолкли птицы. Даже ветер стал беззвучным. Тишина была почти нереальная.

Солнечные ночи тундры специально созданы, чтобы думать, думать, думать. Вряд ли удалось бы найти лучшее место для клиники «Сапсан».

Кажется, тогда я впервые подумал об участии в эксперименте. Не о доводах «за» и «против», а о том, как это произойдет.

Впрочем, нет. Мысль об участии в эксперименте впервые возникла на следующий день.

Разбудил меня Панарин.

— Проспите самое интересное,— сказал он.— Быстренько, собирайтесь! Убирать не надо. Все сделается святым духом.

Святой дух в клинике был, это я уже заметил. Накануне мы на несколько минут вышли из кабинета Витов-

ского на террасу, а когда вернулись, на столе оказался ужин.

Примерно таким же образом появился и завтрак. Я спросил Панарина о святом духе.

— Вы прибыли сюда сиротой,— ответил ВВ.— И должны пока сиротой остаться. Обычно тут, знаете, очень, гм, живое общество. Так вот, это общество временно перебазировалось. В южные края. А здесь остался лишь незримый святой дух.

Святой дух был хоть и незрим, но весьма работоспособен, потому что через полчаса я увидел Витовского в лаборатории, полностью подготовленной к удивительному опыту. Панарин упомянул об этом еще в Ленинграде, когда мы ожидали самолет на Сыктывкар. В изложении ВВ это выглядело так:

— Идея проста, как дважды два. Ну, а с биохимической стороной вы познакомитесь потом. Так вот, идея. По одному проводу, как вы знаете, можно одновременно передавать много сообщений. Если разница между частотами достаточно велика, сообщения не мешают друг другу. Одна электрическая система одновременно воспринимает сотни разных сообщений. Дальше я полагаюсь на ваше воображение кибернетика. В конце концов органы чувств, нервная сеть, мозг — тоже электрическая система.

Я сказал, что это второе решение проблемы бессмертия. Одна жизнь человека вместила бы сотни разных жизней. Во всяком случае, сотни интеллектуальных жизней. Но вряд ли эту идею удастся осуществить. Не видно даже подступов к ней.

Объявили посадку, разговор прервался. Мы больше не возвращались к этой теме. Для меня было полнейшей неожиданностью то, что мне показали в клинике.

В просторной лаборатории на возвышении стояли массивное деревянное кресло, похожее на бутафорский трон, и обыкновенный письменный стол с двумя магнитофонами. Чуть поодаль висел большой выносной экран телевизора.

Панарин исчез (я в это время говорил с Витовским) и вернулся минут через десять в пластмассовом шлеме, с которого свисали разноцветные провода. На стене вспыхнуло табло: «Первый готов». Я хотел сказать что-то насчет святого духа, но зажглись другие табло: о своей готовности докладывали еще три поста. Витовский отошел к блоку осциллоскопов в углу лаборатории. Панарин быст-

ро подсоединил провода, проверил магнитофон, установил на столе кнопочный пульт управления. Потом негромко сказал: «Начали».

На экране появилась таблица настройки и почти сразу — журнальный текст. Это была статья по математической логике. Я едва успел дочитать до середины, как страница сменилась. Меня поразила быстрота, с которой читал Панарин. Я не сразу понял, в чем дело, и почему-то решил, что опыт связан с работами Витовского и Панарина по биохимии зрения.

Скорость чтения быстро увеличивалась, Панарин сам ее регулировал, нажимая на кнопки пульта. Из сорока трех строчек я сначала успевал прочитать двадцать, потом пятнадцать и, наконец, всего шесть-семь, да и то не вникая в их смысл. И вот здесь, когда скорость чтения достигла фантастического предела, на экране возникли одновременно два текста. Изображение второго текста (если не ошибаюсь, это была информация о новых методах энцефалографии), более крупное и полупрозрачное, с самого начала менялось с такой скоростью, что я едва успевал заметить отдельные слова...

Через пятнадцать минут после начала опыта Панарин включил магнитофон. Я услышал: «Испанский язык. Урок одиннадцатый»,— и вспомнил разговор в Ленинграде. Признаюсь, не будь здесь Витовского, я счел бы это розыгрышем. Я имел возможность видеть эти опыты в течение месяца ежедневно, но до сих пор не могу привыкнуть к ним. А тогда я был просто ошеломлен. Как, каким образом поглощал Панарин этот огромный поток информации? Это невероятно, но я видел — это происходит!

Панарин включил второй магнитофон. Испанские фразы смешались с монотонным речитативом историка, рассказывающего о закате Византийской империи. А по экрану (я не заметил, как это началось) шел уже не двойной, а тройной текст. В нем нельзя было разглядеть ни одного слова, он казался бегущей тенью...

Сосуществование многих различных памятей решительно не вяжется с гипотезой Спилларда о параконститутивных системах в нейроне. Панарин не захотел говорить о механизме сосуществования («К чему? Объяснять сложно и долго, а вы потом — после своего эксперимента — прекрасно все это забудете. Вот когда станете моложе, пожалуйста...») По всей вероятности, Панарин и Витовский исходили из другой теории памяти, по которой поступив-

шие в нервную клетку импульсы меняют структуру РНК. Если РНК может настраиваться на разные частоты, тогда... тогда есть смысл в аналогии с одновременной передачей нескольких сообщений по одному проводу.

Эксперимент продолжался четыре часа.

Нет, слово «эксперимент» здесь определенно не годится. И в тот день, и в следующие дни Панарин уверенно заполнял свою вторую, третью и другие памяти (придется привыкать к такой терминологии!). Их было девять помимо первой, обычной. Эксперимент, как я сейчас понимаю, по-настоящему должен начаться, когда все девять памятей окажутся на уровне, достаточном для самостоятельной научной работы, и, возможно, вступят во взаимодействие друг с другом.

Да, теперь я вспоминаю совершенно отчетливо: именно тогда я впервые подумал об участии в эксперименте. В своем эксперименте.

Вряд ли мне удастся последовательно и связно изложить, как эта первая, еще очень беглая, мысль превратилась в ясное понимание необходимости своего эксперимента. Но какое это имеет значение? Важнее записать мысли, которые я потом могу забыть.

У меня появилась замечательная идея использовать в вычислительных машинах принцип сосуществования памятей. Химотроны, например, наверняка смогут работать одновременно в нескольких режимах. Я должен это обязательно вспомнить — потом, после эксперимента.

Вспомнить потом.

Что я вообще буду помнить после эксперимента?

Витовский сказал так:

— Дистанция омоложения десять лет. Физическое омоложение должно быть возможно более точным — сразу на заданный срок. А вот память надо лишь расшатать. То, что накопилось за десять лет и стало долговременной памятью, должно вновь перейти в состояние, подобное памяти оперативной. После омоложения человек в течение нескольких месяцев сможет закрепить какую-то часть этой расшатанной памяти. Произойдет, как мы говорим, процесс консолидации. Остальное постепенно забудется. Однако все это — конечная, еще не вполне достигнутая, цель нашей работы. Пока мы не можем обеспечить гармоничного физического омоложения. Например, никак не поддается омоложению хрусталик глаза. И все-таки здесь благопо-

лучно. Хуже с памятью: ваш опыт первый. Весь вопрос в том, какое время будет идти процесс консолидации памяти. Не исключено, что он завершится в течение нескольких часов. За этот срок вы почти ничего не успеете закрепить. Весь объем расшатанной памяти быстро исчезнет (а мы расшатаем все, что вы запомнили за последние девять-десять лет). Иначе говоря, в этом случае вы вернетесь на десять лет назад не только физически, но и умственно. Возможно и обратное: консолидация затянется на годы. Тогда вы станете моложе физически, но сохраните то, что есть в вашей памяти теперь. В оптимальном случае консолидация продлится месяца на два-три. И вот тут многое зависит от вас. От дисциплины ума. Именно поэтому испытателем должен быть ученый. Важен исходный объем знаний и умение потом, в процессе консолидации, отобрать и закрепить в памяти то, что нужно. Вам самому придется решать, что нужно «перезапомнить». И вести объективный самоконтроль и самоанализ. При удаче мы получим максимальную информацию, это заменит целую серию экспериментов.

Витовский заметно волновался.

— В спешке легко натворить бог знает что! — продолжал он.— Я хочу, чтобы вы поняли нас до конца. Методика омоложения может быть, в частности, использована и для лечения рака. Да, да, это так, и это удваивает сложность ситуации. Бездействуют готовые и надежные лечебные средства... Это ужасно! Нужно спешить... и нельзя спешить. В биологии как нигде велика опасность оказаться в положении ученика чародея...

Я только что писал о химотронах, боялся забыть появившуюся идею. Чепуха, сущая чепуха! Главное — не забыть того, что я увидел (и, надеюсь, в какой-то мере воспринял) у Витовского и Панарина.

Нужно сохранить в памяти органически присущую Панарину способность думать, не лавируя и не прищуриваясь. И неотделимое от Витовского понимание высокой ответственности ученого. «Хирургу, оперирующему на сердце человека,— сказал как-то Витовский,— следовало бы засчитывать часы операции за месяцы службы. Операционное поле науки еще сложнее. Сердце человечества...»

Вероятно, я много работал в этом месяце. Я говорю «вероятно», ибо интересная работа трудно поддается изме-

рению. И еще — я успевал сделать до обидного мало по сравнению с Панариным. Девять его памятей (может быть, сказать — дополнительных памятей?), не мешая друг другу, «переваривали» информацию, полученную на ежедневных четырехчасовых сеансах. ВВ мог, разговаривая со мной, одновременно думать над девятью разными проблемами. К этому трудно привыкнуть. Я часто проверял Панарина, давал ему задачи, просил что-нибудь вычислить, перевести. Не прерывая обычной своей работы, Панарин почти молниеносно выполнял мои задания.

Объем второй памяти меньше, чем первой, а третьей — меньше, чем второй, и так далее. Зато соответственно возрастает быстродействие, скорость мыслительных операций. Будь у Панарина двенадцатая память (проклятая терминология!), он мог бы состязаться с вычислительной машиной.

Как ни странно, Панарин относится к своим возможностям довольно спокойно и даже с легким оттенком скепсиса. Мне же сосуществование памятей кажется великим достижением науки. Быть может, самым многообещающим за всю ее историю. Фронт знаний быстро расширяется, а специализация заставляет сужать работу и угол видения; теперь это трагическое противоречие удастся снять. У человека хватит сил и на самое широкое освоение науки, и на искусство, и на жизнь — куда более многообразную, чем жизнь Леонардо...

Простой расчет.

Человек воспринимает не более 25 битов «информации» в секунду. За 80 лет напряженной работы (по 8 часов ежедневно) мозг получит $4{,}2 \cdot 10^{10}$ битов. Это — в пределе. Практически много меньше. Между тем человеческий мозг теоретически имеет емкость свыше $10^{15} - 10^{16}$ битов. Мы используем лишь одну миллионную наших возможностей...

Панарин, которому я изложил эти соображения, сказал без энтузиазма:

— К сожалению, начиная с восьмой памяти, резко усиливается излучение. То, что я запоминаю, быстро испаряется. Типичная телепатия! Механика телепатии именно в этом и состоит: мозг начинает работать в высокочастотном режиме. В обычных условиях это происходит редко. Чаще при дефектах мозга или в критических ситуациях,

когда самопроизвольно резонируют высокочастотные режимы мышления. А у меня это постоянно. Вот так. Будь здесь второй такой гражданин, мы бы непрерывно обменивались мыслями. Вне зависимости от желания. И будь тут тысячи таких людей, все слышали бы мысли всех... Быть может, Юрий Петрович прав — перспективнее другой путь.

Позже я узнал, что Витовский с самого начала был против механического увеличения объема памяти. По мнению Витовского, надо использовать недолговечность «высших» памятей: при необходимости человек быстро впитывает огромную информацию, использует ее, а потом знания, ставшие ненужными, исчезают.

Признаться, суть разногласий между Витовским и Паниным не совсем ясна. Ведь можно использовать оба метода.

— Не думайте об этом, не отвлекайтесь,— сказал Панарин.— Ваш эксперимент важнее. Не спорьте. Самые важные открытия в науке относятся к организации самой науки. Сейчас на каждую неустаревшую гипотезу приходятся три-четыре гипотезы, которые вполне можно было бы сдать в архив. Но их авторы отчаянно защищаются. Представьте себе: пятнадцать, двадцать, тридцать лет человек корпел над гипотезой — и постепенно стал замечать, что она, гм, скажем, внушает некоторые сомнения. А у человека к этому времени солидное положение, ученики. У него нет времени сомневаться: уже лежат в редакциях статьи, составлено расписание лекций, запланировано выступление на конгрессе... И даже наедине с самим собой он не решается додумать все до конца. Легче убедить себя, что противодействуешь другим гипотезам по чисто научным соображениям... И вот ведь загвоздка: чем быстрее идет развитие науки, тем чаще должны сменяться гипотезы. Наука мыслит гипотезами: примерила одну — отбросила, подыскала другую, более близкую к истине, и сразу приступила к новым поискам. Но создатель гипотезы подчас не хочет, не может «отброситься» вместе с гипотезой на исходные позиции. По-человечески это можно понять: нет второй жизни. Долголетие сделает людей умнее. Они не будут усугублять свои ошибки только потому, что нет времени их исправить. Хотя, по правде говоря, никогда не поздно признать ошибку. Я учредил бы специальную премию для ученых, отстаивавших неверные

теории и потом нашедших мужество сказать: да, я ошибался, я начну сызнова...

Еще пятнадцать минут. Панарин придет секунда в секунду, он точен.

Учтены, кажется, все мыслимые варианты. При любом сроке консолидации я буду действовать по заранее продуманному плану. Неожиданности маловероятны.

Я написал эту фразу и подумал: нет, все будет неожиданно.

Как я появлюсь у себя в лаборатории? Отсюда, из клиники, я говорил со своими ребятами почти каждый день. Это, в сущности, и решило вопрос о моем участии в эксперименте. Они смогут работать без меня. Открытие одновременно грустное и приятное. Мне казалось, собрал коллектив я и без меня он распадется. Но собранный коллектив — я это увидел — устойчив и способен к самостоятельному развитию.

Без меня в лаборатории повернули исследования. Поворот пока едва ощутим, они думают, что продолжают мою линию. Но это уже первые признаки нового — не моего — исследовательского почерка.

Для них я сейчас командирован Академией на восемь месяцев. Судя по всему, они решили, что это связано с космосом. Что ж, пусть думают так.

Пройдет полгода, я опять появлюсь в лаборатории, Быть может, в качестве младшего научного сотрудника. Появлюсь, чтобы начать все заново и за десять лет сделать вдвое-втрое больше, чем раньше.

В этом я вижу свою главную задачу.

Панарин придет через одиннадцать минут. Сейчас он во дворе, возится со своими черепахами. Даже сегодня.

Идея типично панаринская. Как утверждает ВВ, она подсказана ему седьмой памятью. «Правда,— сказал он,— пятая память считает, что это бредок. Но мне лично нравится логика идеи».

На первый взгляд действительно все просто. Раздражая электрическими импульсами определенные участки мозга, удается оживить забытое, создать полную зрительную и слуховую иллюзию. Это знали давно. Знали и другое: то, что видит птица или рыба, можно методом

биотокового резонанса передать человеку. Изюминка панаринской идеи в том, чтобы «транслировать» человеку зрительную память долгоживущих животных. Панарин отобрал трехсотлетних черепах, пытается заставить их вспомнить то, что они видели за свою долгую жизнь...

Пока из этого ровным счетом ничего не получается. Но ВВ настойчив. Он и сегодня, «подключившись» к очередной черепахе, перебирает бесконечные комбинации импульсов.

А вот что сейчас делает Витовский, я не знаю. Вряд ли он в лаборатории. Там все готово со вчерашнего дня. О чем думает в эти минуты Витовский?

Быть может, он, сняв очки, смотрит на тундру, на небо?

Я видел мир гиперзрением всего лишь несколько минут. Но это врезалось в память навечно. Не верю, что это можно забыть.

Ошеломляет уже сам момент перехода. Такое впечатление было бы у человека, уткнувшегося носом в допотопный телевизор, если бы маленький экран внезапно превратился в огромную стереопанораму современного объемного и цветного кино.

Угол зрения резко увеличился, и все, что я увидел через это распахнутое в мир окно, было ясно до мельчайшего штриха, до тончайших цветовых оттенков. Как будто кто-то протер запылившуюся картину, вынес ее из полутемного подвала, установил в светлом зале — и вспыхнули, заиграли живые краски.

С крыши клиники я видел далекое озерцо: сквозь хрустальной чистоты воду можно было различить каждую трещину каменистого дна. В небе, в солнечном небе, горели ярко-зеленые полосы полярного сияния. За три-четыре минуты я увидел и пестрых турухтанов, полярных петушков, затеявших драку в болотной траве, и аккуратные норки леммингов, и грибы возле карликовых березок. Деталей было безмерно много, я мог бы пересчитать даже лепестки мака на далеком кусте, но мир воспринимался как целое...

Нет, я не успею рассказать об этом.

Через две минуты Панарин будет здесь.

И еще одно:

Я не сирота.

Панарин ошибся. Не знаю, как это ускользнуло от его внимания.

Ей двадцать четыре года. Она геофизик. Сейчас она где-то в тайге.

Что ж, я только первый. Пройдет несколько лет, и само понятие возраста дрогнет, расколется, обратится в прах.

Остались секунды.

С почти физически ощутимой остротой я хочу понять: какие же горы своротят победившие время люди?..

ИСКУССТВО



ОБ АВТОРАХ РАЗДЕЛА «ИСКУССТВО»

Гор Геннадий Самойлович (1907). Писатель, член ССП. Автор трех с лишним десятков книг. Живет в Ленинграде. Дебютировал в фантастике в 1961 г. Автор научно-фантастических книг «Докучливый собеседник» (1962), «Кумби» (1963, 1968), «Скиталец Ларвеф» (1966), «Глиняный папуас» (1966), «Фантастические повести и рассказы» (1970), «Изваяние» (1972), «Геометрический лес» (1975).

Горбовский Александр Альфредович (1930). Историк, кандидат исторических наук. Автор нескольких научно-популярных книг. Живет в Москве. Работал в системе АН СССР. Дебютировал в фантастике в 1964 г., с тех пор опубликовал несколько научно-фантастических рассказов.

Подольный Роман Григорьевич (1933). Журналист, писатель-популяризатор, автор нескольких научно-популярных книг и статей. По образованию историк. Живет в Москве. Работает в редакции журнала «Знание — сила». Дебютировал в фантастике в 1962 г. В 1970 г. вышла научно-фантастическая книга «Четверть гения».

Варшавский Илья Иосифович (1909—1974). Писатель, член ССП. До начала литературной деятельности был матросом, инженером-конструктором. Жил и работал в Ленинграде. Дебютировал в фантастике в 1962 г. Перу И. Варшавского принадлежат десятки рассказов, повести, собранные в авторских сборниках «Молекулярное кафе» (1964), «Человек, который видел антимир» (1965), «Солнце заходит в Доломаге» (1966), «Лавка сновидений» (1970), «Тревожных симптомов нет» (1972).

Разговоров Никита Владимирович (1920—1984). Журналист, литературный критик, поэт-переводчик. Жил в Москве. Работал специальным корреспондентом «Литературной газеты». «Четыре четырки» (1963) — единственное научно-фантастическое произведение Н. Разговорова.

Шах Георгий — псевдоним советского ученого, доктора юридических наук, публициста. Автор книг и статей по вопросам социального прогнозирования, современной идеологической борьбы. Дебютировал в фантастике в 1972 г. Автор научно-фантастической повести «О, марсиане!» (1980), романа «Нет повести печальнее на свете» (1984) и рассказов.

Г. ГОР

Великий актер Джонс

1

Сестра моя Анна, задержав меня в передней, сказала с таинственным видом:

— Филипп, тебе только что звонили.

— Кто?

— Эдгар По.

— Какой-нибудь болван, которому нечего делать?

На узком брезгливом лице Анны появилось страдающее выражение. Оно появлялось всегда, когда я бывал раздражен и несдержан.

— Нет,— сказала Анна тихо.— Голос был мечтательный и необычайно красивый. Вероятно, это и был Эдгар По.

— Уж скорее Хемингуэй или Фолкнер. Эдгар По умер больше ста лет тому назад.

— Но разве у него не мог оказаться однофамилец?

— Да, какой-нибудь аферист или любитель автографов. Уж эти мне красивые и мечтательные голоса!

Я снял пальто, повесил его и, не глядя на обиженную Анну, прошел в кабинет, сел за стол и стал просматривать журнал «Новости физических наук».

В дверь постучалась Анна.

— Тебя к телефону, Филипп.

— Кто?

— Опять он.

— Кто он? Почему ты молчишь?

— Эдгар По,— сказала Анна прерывающимся от волнения голосом.

— Этот болван?

Я вышел в коридор, где стоял телефон, снял трубку и крикнул раздраженно:

— Слушаю!

Необычайно красивый и задумчивый голос произнес:

— Здравствуйте, Дадлин. Вы узнаете меня?

— Нет, не узнаю.

— С вами говорит Эдгар По.

— Какой По?

— Автор «Падения дома Эшер».

— Бросьте дурачиться. Вы знаете, с кем говорите?

— Знаю. С профессором Дадлиным, создателем физической гипотезы Зигзагообразного Хроноса.

— Откуда вы говорите? — спросил я, подозревая, что меня разыгрывает кто-нибудь из студентов, не сдавших мне зачет.

— Я не могу назвать координаты,— услышал я.— Они еще не вычислены.

В голосе отвечающего прозвучала трагическая нотка, от которой мне стало не по себе. На минуту мой невидимый собеседник исчез, словно бы в волнах времени, и затем снова появился.

— Я нахожусь в движении, в очень быстром движении,— донеслось до меня,— я мчусь к вам, Дадлин. Где вы? Ради бога, где вы? Назовите ваш адрес.

— Город Эйнштейн. Улица Диккенса, 240.

— Город Эйнштейн? В какой стране он находится? Я не вижу его на географической карте.

— Болван! — выругался я.— Эйнштейн самый знаменитый город. Невежда! Кто вы?

— Эдгар По.

— Я не верю в воскрешение мертвых.

— Дадлин, почему вы разговариваете со мной таким тоном?

— Извините. Я начинаю догадываться. На днях я читал, что одна из самых крупных студий ставит биографический фильм «Эдгар По».

— А что такое фильм, Дадлин? Впервые слышу это странное слово.

— Я понимаю,— сказал я,— вы хотите войти в свою роль. Но при чем тут я? Я не биограф Эдгара По, я только физик.

Желая отделаться от странного собеседника, я выкрикнул известную каждому спасительную формулу, я проговорил быстро:

— Жму руку.

А затем повесил трубку.

2

Мою гипотезу признали все, даже самые консервативные ученые, но, в сущности, ее никто не понял до конца.

Десятки энтузиастов работали в своих лабораториях, одни из них, ища экспериментальных подтверждений мо-

их дерзких идей, другие столь же неоспоримой возможности посрамить меня и доказать мою полную несостоятельность.

Среди тех и других выделялся некий Самуил Гопс, техник, считавший себя крупным специалистом, не то мой друг и сторонник, не то мой тайный враг и недоброжелатель. Я не доверял ни ему, ни его слишком суетливому энтузиазму. Этот «экспериментатор» — из уважения к подлинным специалистам беру в кавычки это слово — позволил себе слишком свободное и фамильярное отношение к историческим фактам и все якобы ради истины, самой сложной и причудливой из всех истин. Он «вызвал» какого-то писателя, жившего в первой половине XIX века, и пока опыт не был доведен до конца, держал имя этого писателя в тайне.

Мне пришла в голову нелепая и наивная мысль, достойная скорей жителя верхнего палеолита, чем современного ученого: не по «вызову» ли этого самого техника-изобретателя Гопса Эдгар По, преодолев время, осчастливил меня разговором? Уж не удалось ли Самуилу Гопсу создать телефон, способный соединить два разных столетия, как две разные квартиры?

Здравый смысл, появившийся на свет, вероятно, с первым ученым, нашептывал мне: «Тебе, наверное, звонил артист, исполняющий роль великого романтика и фантаста».

Впрочем, никто так не любил говорить о здравом смысле, как Самуил Гопс. Здравый смысл — это и был тот бог, которому Гопс, по его словам, служил и молился. Вздорный, нелепый человечек, посвятивший себя одной из самых точных и строгих наук.

С Гопсом я в этот раз встретился в вестибюле института. У Гопса было круглое лунообразное лицо и чрезмерно короткие, не пропорциональные телу руки.

— Добрый день, Дадлин,— приветствовал он меня,— пытаясь дотянуться своей короткой рукой.— К вам обращался с просьбой о встрече один знаменитый писатель, живший в первой половине XIX века?

— Эдгар По?

Гопс встревоженно оглянулся, затем укоризненно покачал головой.

— Ну зачем так громко? Это имя лучше не называть вслух. И потом, согласно вашей гипотезе...

— О гипотезе поговорим в другое время. Да, он обращался.

— И вы, надеюсь, не отказали ему в его просьбе?

— Почти отказал.

— Напрасно! Я вызвал этого писателя, чтобы дать экспериментальное подтверждение вашей гипотезе. Учтите старинные нравы и обидчивый характер писателя. Надеюсь, не в ваших интересах помешать необычному опыту?

— Откуда я мог знать, что это он? У меня были все основания предположить, что это артист, исполнитель роли в биографическом фильме.

— Вы не так уже далеки от истины,— сказал Гопс, делая загадочный жест своей короткой, как у младенца, рукой.

— Что вы хотите сказать? — спросил я.

— Я хочу сказать, что он и то и другое. Писатель и артист, исполнитель роли, слились в парадоксальном единстве...

— Нельзя ли без загадок, Гопс? — сказал я.

— Пока не закончен опыт, нельзя.

Взглянув на ручные часики, а затем, словно не доверяя им, на большие стенные часы в вестибюле, Гопс вдруг заторопился и исчез за дверями лифта.

3

Я только что поужинал вместе с сестрой своей Анной и вышел в коридор выкурить сигарету. Анна не выносила табачного дыма. И я, как школьник, всегда курил, прячась от нее.

Зазвонил телефон.

— Слушаю,— сказал я, сняв трубку.

— Извините,— услышал я знакомый голос,— вас снова потревожил Эдгар По.

— Какой По? — спросил я, едва сдерживая себя от ярости.— Настоящий Эдгар По или тот, которого исполняет артист Джонс?

— А кого из них вы хотели бы видеть? — эти слова долетели до меня, словно с трудом преодолевая время и пространство.

— Вы хотите заставить меня поверить в переселение душ? Вы аферист, шарлатан или сумасшедший!

— Спокойнее, спокойнее, Дадлин,— услышал я.— Не

нужно волноваться. С вами говорит человек, преодолевший время. Я уже близко от вас, Филипп. Ждите. Завтра в этот час я буду у ваших дверей.

Весь следующий день я провел в ожидании назначенного мне часа. Где бы я ни был, я беспрестанно думал о нем, об Эдгаре Аллане По, назначившем мне свидание вопреки законам времени и пространства.

Разумеется, это был злой и настойчивый шутник, решивший позабавиться надо мной, а заодно и над моей гипотезой Зигзагообразного Хроноса. Моей гипотезе не везло именно потому, что ее слишком быстро признали. Почти все, не исключая специалистов, слишком упрощенно и вульгарно поняли ее сущность. Экспериментаторы шли по ложному пути, ища подтверждения истины, самой капризной и парадоксальной из всех истин. Пожалуй, никто из них так меня не раздражал своей туповатой прямолинейностью, как Самуил Гопс со своими короткими и упрямыми руками.

Он опять остановил меня возле лифта, когда я собирался подняться в свою лабораторию.

— Эдгар звонил вам? — спросил он, приблизив ко мне свое лунообразное лицо и переходя на конфиденциальный шепот. Изо рта его дурно пахло. И я чуточку отпрянул.

— Какой Эдгар?

— Эдгар По.

— Помилуйте, откуда, когда и как он мог мне звонить, или время пошло в обратную сторону?

— И это говорит Дадлин, создатель гипотезы Зигзагообразного Хроноса, гипотезы, которая с моей помощью скоро станет теорией. Вам же известно, для чего я вызвал его? Пусть другие экспериментаторы возятся с элементарными частицами, я рискнул на неизмеримо более сложное, и все во имя вашей идеи!

— Но поняли ли вы мою идею? Все, что вы говорите, похоже на бред.

И тут Самуил Гопс (он не отличался ни остроумием, ни хорошими манерами) протянул мне свои короткие руки, а затем сказал:

— Бредить могу я, а не мои руки. Они отличаются завидной трезвостью и настойчивостью, как я не раз уже доказал.

Это лучшее, что он мог сказать. Действительно, его руки всегда производили на меня сильное впечатление.

Я вошел в лифт, нажал на кнопку и стал медленно отдаляться от своего слишком напористого собеседника.

День мне показался медлительным и длинным. Хотя все мое существо сопротивлялось и возражало, я все же поминутно смотрел на ручные часы, боясь опоздать на невозможное свидание.

Никогда я так не спешил домой, как в этот день. Анны, к счастью, не оказалось дома. Она ушла к подруге, по-видимому, на весь вечер, и я был один.

Сидя в кабинете, я прислушался. Дверной звонок прозвучал с опозданием всего лишь на две минуты. Я открыл дверь. У порога стоял низенький человек с вульгарным самодовольным лицом провинциального актера. Он стоял молча и смотрел на меня крохотными поросячьими глазками.

— Вы ко мне? — спросил я.

— Да.

— Кто вы?

— Эдгар,— ответил он тихо.

Я смерил его взглядом и спросил, не скрывая насмешки.

— Уж не Эдгар ли Аллан По?

— Эдгар Джонс,— ответил он.— Исполнитель роли По в биографическом фильме.

— Это вы звонили мне по телефону?

— Я.

Я пожал плечами и провел актера в свой кабинет. Не мог же я захлопнуть дверь перед самым его носом, хотя и испытывал сильное искушение. Не нравились мне его крохотные глазки, и весь он с ног до головы и особенно его нос, сизый нос пьяницы и дешевого балагура.

Я еще раз посмотрел на него и сказал:

— Ничуть не похожи вы на Эдгара По. Как могли поручить вам исполнять эту роль?

Гость сел в кресло по ту сторону письменного стола возле камина и закурил сигару.

— Находите, что не похож? — спросил он сипло.— А вот режиссер Ингрем другого мнения. Он мной доволен. Вполне! Когда посмотрите фильм, вы меня не узнаете.

— Грим,— сказал я.

— Нет,— возразил он без всякого смущения.— Не только работа искусного гримера. Талант тоже.

— Скажите, а что привело вас ко мне?

— Меня направил к вам изобретатель Гопс. Он же,

возможно, и убедил режиссера Ингрема поручить мне исполнение главной роли. Ах, замучили меня Ингрем и ваш Гопс, особенно Гопс·

— А при чем тут Гопс? Какое ему дело?

— Это и для меня загадка. Надеюсь, вы поможете мне ее разгадать. Мне говорили, что Гопс выполняет ваше поручение.

— Это не совсем точно. Он ищет экспериментальных подтверждений моей гипотезы. Но он находится на ложном пути.

— Не думаю,— сказал Джонс.

— Как вы можете судить о тонкостях современной физики, вы, провинциальный актер.

— Когда закончат работу над монтажом фильма, меня будет знать весь мир.

— Вы не преувеличиваете?

— Нисколько.

Облачко табачного дыма закрыло его лицо. И в тот же миг все погрузилось во тьму. Голос из тьмы, невидимый голос, спросил меня:

— Что случилось? Почему темно?

— Не знаю. По-видимому, перегорела электрическая лампочка. Сейчас проверю.

Только через минуту я спохватился и сообразил, что это был другой голос, не голос актера Джонса, а голос того, кто говорил со мной по телефону.

От волнения руки мои плохо повиновались. И когда я включил, наконец, запасную лампочку, я растерялся. В кресле вместо Джонса сидел совсем другой человек. Это был действительно Эдгар По. Превращение было не только психическое, но и физическое. Большие задумчивые глаза смотрели на меня. Лицо удлинилось. Фигура стала гибкой и стройной.

— Это вы, Джонс? — спросил я.

— Нет,— услышал я мечтательный и красивый голос.— На этот раз уже не Джонс, а Эдгар Аллан По.

— По? Эдгар Аллан По? Этого не может быть.

Он усмехнулся и не стал убеждать. Он сидел напротив меня. Часы на моей руке подтверждали, что время не стояло на месте и секунды текли, превращаясь в минуты, обновляя всегда куда-то спешащее бытие. Он сидел с таким видом, словно у него не было никаких дел и забот ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем, и он был освобожден от всех обязанностей, свойственных человеку.

Прошел час, а он все сидел. О чем он говорил со мной? Почти ни о чем. Сделал два или три каких-то незначительных замечания, относящихся к трезвой обыденности электрического света.

— Я предпочитаю колеблющийся свет свечей,— сказал он.— В вашем мире невозможен ни Рембрандт, ни Бетховен. Слишком все отчетливо... И я тоже здесь невозможен, здесь, в вашем мире, где нет теней.

— А в вашем? — спросил я.

Он оставил мой вопрос без ответа. После паузы, длившейся слишком долго, он прочел отрывок из своего стихотворения «Улялюм»:

Разговор наш был грустный и серый,
Вялых мыслей шуршал хоровод,
Тусклых мыслей шуршал хоровод...

— Разве мы говорили? — спросил я.— О чем?

— Почти нет,— ответил он.— Все же между нами столетие, Дадлин.

— Но вы здесь,— сказал я.— Я могу дотронуться до вас рукой.

— Не нужно,— отстранил он мою руку.

— Надеюсь, вы все же не призрак?

— Я слишком толст и вульгарен для призрака. Не правда ли? Сказав это, он достал носовой платок из кармана и провел им по лицу, словно стирая грим.

И в то же мгновение он снова превратился в Джонса, превратился при электрическом свете у меня на глазах, не погружаясь в сумрак. На вульгарном лице играла самодовольная улыбка.

— По-видимому, все-таки грим,— сказал я.

— А может, талант? — спросил он.

— Талант, талант. Все твердят это слово, и, в сущности, никто толком не знает, что это такое.

— Таланту нужны тени, сумрак, как Рембрандту. Ну, как я сыграл?

Я промолчал. Если это только не было шарлатанским трюком или обманом чувств, передо мной сидел гений.

Я проводил Джонса до дверей, с изумленным недоверием разглядывая его стереотипную вульгарную фигуру.

4

Самуил Гопс протянул мне свою короткую толстую руку и, доверительно приблизив лицо, спросил:

— Ну, как Джонс?

— Выдающийся актер,— сказал я.

— А по-моему посредственность.

— Но он буквально на моих глазах превратился в По. Ни на сцене, ни на экране мне не доводилось видеть таких превращений.

— Вульгарен. И глуп,— сказал Гопс.

— Да, пока он был Джонсом, но когда он превратился в По...

— Превратился? Не он превратился, а я его превратил. Согласно вашей гипотезе...

— О гипотезе в другой раз. Сейчас меня занимает этот феномен. Кто этот Джонс?

— Точка, где пересеклись зигзагообразные линии. Согласно вашим подсчетам...

— Довольно, Гопс. Вы очень произвольно и неряшливо толкуете мою гипотезу. Кто Джонс, спрашиваю, кто он, сумевший...

— При чем его умение? Он точка, в которой пересеклись... Неужели вы не догадались, что в вашем кресле сидел настоящий По. Согласно вашим вычислениям...

— Довольно, Гопс, хватит меня дурачить. Я хочу посмотреть фильм, поставленный Ингремом. Ваши попытки подтвердить мои идеи... я, разумеется, их ценю. Но вы на ложном пути. Позвоните Ингрему.

Гопс набрал номер и крикнул в трубку:

— Ингрем? Это Гопс говорит. Нам с Дадлиным хочется взглянуть на ваш материал. Завтра? Нет, безусловно, сегодня. Через полчаса будем у вас на студии.

Ровно через полчаса мы были там. Ингрем почему-то не пожелал возиться с нами. Сославшись на занятость, он ушел в монтажную, поручив одному из своих ассистентов объяснять то, что едва ли можно было объяснить на языке здравых реальных фактов и обыденной логики·

Самуил Гопс сел со мной рядом в кресло с таким видом, словно он был главным постановщиком фильма.

— Главное — настойчивость и упорство,— сказал он, загадочно усмехаясь.— Это безусловно. С их помощью я преодолел закон природы и вытащил его со дна прошлого.

— Вы имеете в виду этого провинциального актера с поросячьими глазками?

— Нет, того, другого, кто жил сто с лишним лет тому назад.

— Опять принялись за свое? Чушь! Бред!

— Но, согласно вашим подсчетам, координаты...

— Перестаньте! Вы ровно ничего не поняли. Моя идея не имеет ничего общего с вашей жалкой метафизикой.

Я взглянул на Гопса. Недоверчивая усмешка кривила его лунообразное лицо.

— Метафизикой? — сказал он.— Сейчас вы разубедитесь.— И показал на экран своей короткой, как сарделька, рукой.

5

— Ну, что вы скажете теперь? — спросил меня Гопс, когда с экрана исчез последний кадр фильма и в зале снова горел трезвый будничный свет.

— Что я могу сказать. Джонс гений. Я никогда не видел подобной игры. Это было полное превращение в другого, некогда существовавшего человека. Настоящий, подлинный Эдгар По, бесподобным мастерством актера возвращенный нам из прошлого.

Гопс рассмеялся несколько наигранным смехом.

— Вам кажется это смешным? — спросил я.

— Еще бы,— ответил он.— Создатель гипотезы Зигзагообразного Хроноса твердит мне об актерской игре, когда речь идет о физическом явлении, предусмотренном его собственной гипотезой. Это был не Джонс, игравший знаменитого писателя, а сам Эдгар По. Пересечение зигзагообразных сил в точке «Д» в данном случае актер Джонс...

— Довольно пошлостей! — перебил я его.— Мне смешно, когда вы начинаете комментировать мою статью, ничего в ней не поняв. А вот и сам Эдгар Джонс!

Актер сидел в углу рядом с ассистентом. Увидев меня, он кивнул. Лицо его мне показалось смущенным.

— Джонс,— крикнул я,— вы совершили чудо.

— Чудо совершил не я,— сказал актер,— а Самуил Гопс. Согласно вашей гипотезе...

— В таком случае, чудо совершил я,— сказал я,— и я могу рассчитывать на половину вашего гонорара?

По-видимому, Джонс был лишен чувства юмора и не

понял моей шутки. Лицо его стало озабоченным, как перед кассой, где получают деньги.

В зал вошел режиссер Ингрем. Он легко нес свое большое и красивое тело. Подойдя ко мне, он сказал:

— Боюсь, что наш фильм не понравится зрителю, Дадлин.

— Почему?

— Он слишком реален и будничен. Нам удалось восстановить время почти с документальной точностью, но мы не сумели избежать той монотонности, которой не выносит зритель. Жизнь знаменитого писателя — такая, какой она была. Без прикрас.

— Но вы сами довольны?

— Как вам сказать? Не совсем. И кроме того, я замучен.

Он показал взглядом на Гопса, разговаривавшего в эту минуту с артистом, и сказал тихо:

— Больше всего меня измучил этот слишком напористый человек.

— Гопс? А какое отношение он имел к постановке фильма?

— Всюду совал свой нос. И всегда от вашего имени. Ведь в основу фильма положена ваша теория Зигзагообразного Хроноса.

— Как это понять?

— Не вам у меня, а мне у вас нужно просить объяснения. Гопс уклонялся от них, ссылаясь на чрезвычайную сложность вашей теории, имеющей отношение к обратному ходу времени. Короче говоря, он намекал на то странное обстоятельство, что роль Эдгара По исполнял не только Джонс, но и сам По, приходивший ему на помощь...

— Какая чепуха! По умер в первой половине XIX века...

— Я тоже убежден в этом, но Гопс... Впрочем, не стоит его упрекать. Только благодаря его напористости нам удалось добиться от Джонса такого сильного и талантливого исполнения. Мои ассистенты считают, что Гопс применил какие-то химические стимуляторы, действующие на воображение актера. Перед каждой съемкой Гопс не отходил ни на шаг от Джонса. Возможно, действие стимуляторов...

— Сомнительно,— прервал я его.

— А чем объяснить превращение? Только ли талантом? Как понять хотя бы такой факт: крошечные глазки

Джонса превращались в большие умные глаза Эдгара По, менялась фигура. Впрочем, вы сами могли в этом убедиться, смотря фильм.

Он замолчал. К нам приближался Гопс, держа за руку Джонса.

— Помирите нас,— говорил Гопс.— Джонс обижается на меня, что я не хочу признать эксперимент законченным. Смешно! Джонс хочет остаться Джонсом, он не хочет окончательно превратиться в По.

6

Моей сестре Анне не везло. Ей чертовски не везло. Все молодые люди, которые за ней ухаживали, покидали ее спустя месяц или два после начала знакомства. Я не мог этого понять. Анна казалась мне хорошенькой и неглупой девушкой, сердечной, скромной, возможно даже самоотверженной.

Шли годы. К Анне незаметно подкрадывалось увядание, предвестник скорой и преждевременной старости. И никто из родных и знакомых уже не думал, что она выйдет замуж.

Я был очень удивлен, когда однажды утром Анна сказала мне смущенно:

— Филипп, сегодня вечером придет мой жених. Я хотела бы тебя с ним познакомить.

— Жених? — пробормотал я.— Ты бы хоть предупредила меня раньше и записала на бумажке его имя. Ты же знаешь, что у меня плохая память на имена.

— Его имени ты не забудешь. Оно очень известно.

— Известно? Ну, тогда назови.

— Эдгар По.

— Ты с ума сошла. Он умер сто с лишним лет назад.

— Возможно, это его однофамилец. Но ты с ним знаком. Он тебе много раз звонил. И когда тебя не было дома, он разговаривал со мной. Однажды он назначил мне свидание.

— И ты не отказала ему?

— У него такой красивый мечтательный голос, Филипп. У меня не нашлось сил отказать. И я пошла к нему на свидание. Чувство не обмануло меня. Он оказался тем человеком, которого я ждала всю жизнь.

— Обожди, Анна. Я сейчас все объясню. Никакого По нет. Есть великий актер Джонс, великолепно сыгравший эту роль в новом, еще не вышедшем в прокат фильме. Не думаю, чтобы Джонс стал продолжать игру, начатую в фильме.

— Нет, Филипп! Ты ошибаешься. Он не актер. Впрочем, ты сегодня в этом убедишься.

В голосе Анны зазвучала необычная нотка, пробудившая во мне дремавшие чувства. Анна была не только единственной моей близкой родственницей, но и воспитанницей. Отец и мать умерли рано. В какой-то мере мне пришлось заменять ей родителей. Когда она была девочкой, я был очень внимателен к ней. Я покупал ей одежду, подогревал завтраки, помогал решать трудные задачи, водил в детский театр, в зоологический сад. Позже это чувство заботливой и душевной ответственности притупилось. Вместо нуждавшейся в постоянной заботе девочки возникла девушка, причем девушка с характером. Теперь уже не я, а она заботилась обо мне, стараясь освободить меня от всего, что могло помешать научно-исследовательской работе. С тех пор я все меньше задумывался о судьбе Анны — что же, старая дева, каких много... Но ведь и я тоже был старый холостяк, больше всего на свете ценил привычный уклад жизни и не желал его менять.

Слова Анны о том, что у нее появился жених, чрезвычайно встревожили меня. Не признаваясь даже самому себе в закоренелом эгоизме, я не хотел менять свои привычки даже ради счастья сестры.

Вечером Анна тихо постучала в дверь моего кабинета.

— Он уже пришел,— сказала она.— Но очень смущается. Будь с ним внимателен, Филипп. Я тебя очень прошу.

Я ожидал увидеть актера Джонса и не мог понять, чем мог пленить мою сестру этот некрасивый, вульгарного вида человек с крохотными глазками. Но вместо Джонса я увидел Эдгара По. Да, это был он. Он сидел в кресле, погруженный в глубокую задумчивость, как на портрете в первом томе своего собрания сочинений.

Увидев меня, он встал и протянул мне изящную руку.

— Между нами время,— сказал он тихо и значительно,— время и пространство тоже. Но я здесь с вами, Дадлин, и с вашей милой сестрой. Всем этим я обязан искусству изобретателя Гопса.

— А не таланту актера Джонса?

— Ради бога, не говорите мне об этом актере! То обстоятельство, что зигзагообразные силы пересеклись в точке «Д», оказавшейся Джонсом, согласно вашей теории, мне кажется чудом, хотя и обоснованным математической логикой. Но этот актер! От него разит самодовольством и жадностью. Знаете, сколько он потребовал с киностудии за исполнение роли?

Внезапно По замолчал. Он молчал в течение часа, казалось, приближая эту паузу к чему-то непостижимому, как он сам. Перед моим уходом он внял просьбе моей бедной сестры и прочел стихотворение «Улялюм».

Я сказал: — Горячей, чем Диана,
Она движется там, вдалеке,
Сквозь пространства тоски, вдалеке...

— Что за надпись, сестра дорогая,
Здесь, на склепе? — спросил я, угрюм.
Та в ответ: — Улялюм... Улялюм...
Вот могила твоей Улялюм!

Он читал, и мне казалось, что пространство движется вместе с комнатой моей сестры, заволакиваясь туманом трагических и музыкальных слов.

Я вышел из комнаты с таким чувством, словно видел сон наяву. Придя в кабинет, я долго ходил из угла в угол, ища логического объяснения всему тому, что случилось со мной в комнате сестры. Я сердился на сестру и на самого себя за то, что дал кому-то непозволительно играть с реальностью и здравым смыслом и позволил совершить насилие над своей убежденностью в невозможности и алогичности всего, что произошло.

Через полчаса все объяснилось. Услышав голоса в коридоре, я открыл дверь и снова увидел гостя своей сестры, надевавшего пальто и шляпу. Он стал ниже, толще, вульгарнее. На лице его вместо больших задумчивых глаз Эдгара По были крохотные глазки.

Я подошел к нему и сказал тихо, чтобы не услышала сестра:

— Актер Джонс!

— Да,— ответил он.

— Что вы делаете? Образумьтесь!

— Не мешайте мне играть! — сказал он. Затем исчез за дверью.

7

Статья Самуила Гопса с сенсационным заголовком «Эдгар По, возвращенный из прошлого» произвела в моей лаборатории целую бурю. Елизавета Меб, научная сотрудница, отличавшаяся резким и нетерпимым характером, подавая мне журнал со статьей Гопса, сказала:

— Посмотрите, во что этот шарлатан превратил вашу теорию!

Я бросил взгляд на слишком яркую и безвкусную обложку журнала. На обложке был изображен лихо скачущий ковбой. Это был журнал приключений, ремесленной фантастики и псевдонаучной информации.

Статью Гопса иллюстрировали два снимка: актер Джонс в жизни и актер Джонс в фильме в роли знаменитого писателя.

— Что вы на это скажете? — спросила Елизавета Меб, и ее тонкие бледные губы сложились в недоброжелательную усмешку.

— Пока ничего. Вот прочту статью...

— Боюсь, как бы во время чтения с вами не случился удар.

— Не беспокойтесь. Я не слишком впечатлителен, чтобы позволить статье Гопса взять верх над чувством юмора.

И я углубился в чтение статьи. Надо сказать, что она была написана искусно, рукой человека, явно умеющего разговаривать с читателем. Вероятно, кто-то из штатных сотрудников журнала помог Гопсу изложить его мысли так, чтобы нелепость и ложность их не очень бросились в глаза.

Досадно было другое. Гопс писал не только о своем сомнительном эксперименте, но и о моей гипотезе, смысл которой вряд ли был понятен не только читателям журнала, но и ему самому.

В XX веке было немало попыток вульгарно понять и изложить теорию относительности. Моя гипотеза Зигзагообразного Хроноса была еще более беззащитной. Она не имела никакого отношения к законам макромира, в ней шла речь о явлениях дискретных, об элементарных частицах, о том, что для некоторых из них, обнаруженных совсем недавно и подчиняющихся вращательным формам движения, односторонность времени теряет свою силу.

Для возбуждения острого читательского интереса Гопс начал с конца. Он дал нечто вроде рецензии на только что вышедший фильм из жизни Эдгара По. Он высмеивал эстетические восторги и рассуждения кинообозревателей вечерних газет по поводу игры Джонса и его чудесного перевоплощения в знаменитого писателя.

Игра? спрашивал он. Перевоплощение? Ну, а почему не сказать правду, даже если она противоречит опыту и здравому смыслу? Зачем скрывать истину, хотя она и парадоксальна? На экране появился настоящий По. Да, он автор необыкновенных рассказов. Его удалось выхватить из его времени, перенести в наше благодаря сложному эксперименту, опирающемуся на теоретические разработки известного физика Филиппа Дадлина. Чтобы не затруднять внимания неподготовленного читателя математическим аппаратом, автор статьи должен опустить доказательства нового дискретного понимания времени, его зигзагообразной природы. Эксперимент, произведенный в лаборатории Гопса, внес нечто принципиально новое в понимание сущности актерской игры. Актер не играет с действительностью, а скорей действительность играет с ним. На время он становится другой личностью.

Статья была длинная, и я не намерен пересказывать ее содержание.

8

Я отложил журнал и облегченно вздохнул. Чтение статьи Гопса было похоже на сеанс гипноза.

— Ну, что теперь скажете, милый Дадлин? — спросила Елизавета Меб.

— Он прав только в одном,— ответил я,— в каждом современном человеке живет актер. Меня удивляет, что вульгарный и недалекий Гопс мог так тонко изложить эту не лишенную остроты и наблюдательности мысль.

— Вы обратили внимание на второстепенное,— сказала Елизавета Меб.— Разве вас не возмутила попытка мещански опошлить и исказить смысл вашей физической идеи? Он пишет, что он убедил актера Джонса в том, что Джонс уже больше не Джонс, а Эдгар Аллан По, вызванный из прошлого.

— А может, он и в самом деле убедил его, Елизавета?

— Но какое право имел он это делать? С точки зрения этики это преступно.

— Не будем говорить об этике, Елизавета. Это далеко нас заведет. Я не вижу ничего преступного в том, что Гопс помог Джонсу войти в свою роль и талантливо ее сыграть. Если рассуждать так, как рассуждаете вы, то нужно признать каждого режиссера уголовным преступником.

— Не спорю,— сказала Елизавета.— Режиссеры далеко не преступники. Во всяком случае, не все. Но обратили ли вы внимание на другое?

— Что вы имеете в виду?

— Меня возмущает логическая непоследовательность Гопса. В начале статьи он намекает, что Эдгар По был возвращен из прошлого для экспериментального подтверждения вашей гипотезы, а в конце он становится скромным и объясняет психологическое превращение Джонса его слепой верой в вашу теорию.

— Что ж, это мне даже лестно.

— Ну, вот,— сказала возмущенным тоном Елизавета Меб.— Вы уже готовы амнистировать Гопса. А заодно и этого мошенника Джонса.

— Вы убеждены, что Джонс мошенник? Какие у вас основания?

Елизавета оставила мой вопрос без ответа и изобразила на своем лице презрение, презрение и насмешку.

Мне стало не по себе. Вопрос о том, что собой представлял Джонс, имел для меня отнюдь не только академическое значение. Джонс продолжал посещать мою квартиру и, перевоплощаясь в Эдгара По, ухаживал за моей несчастной сестрой. Я как мог противодействовал этому, но он всякий раз говорил мне:

— Не мешайте мне играть.

И каждый раз на его подвижной физиономии появлялось выражение, которое бывает на лице человека, которому мешают выполнять его долг.

Анна тоже была недовольна моим вмешательством в ее личную жизнь.

— Ты эгоист, Филипп,— упрекала она меня.— Ах, какой ты бессердечный эгоист! Раньше я в тебе этого не замечала.

Не столько ее слова, сколько сама интонация ее голоса, проникающего до самых глубин моего существа, действовала на меня. Каждый раз я отступал перед силой этой интонации и допускал то, что нельзя было допускать. Актер продолжал появляться в нашей квартире. Сколько я

ни размышлял, я не мог понять истинной его цели. Чем его, мировую знаменитость, могла прельстить моя бедная сестра?

9

В этот вечер я узнал нечто важное. Придя домой, я застал сестру. Судя по запаху еще не рассеившегося табачного дыма, ее гость только что ушел.

— Мне ты не позволяешь курить в твоей комнате,— сказал я,— актеру Джонсу все дозволено.

— Он не актер Джонс.

— А кто?

— Эдгар По.

— Довольно повторять нелепости. Дико! А главное смешно! Ведь ты не меланезийка с Трибриандовых островов, а цивилизованная женщина, сестра ученого.

— И все-таки он не актер, а Эдгар По.

— Тем хуже,— сказал я,— ведь это же двусмысленно и страшно. Значит за тобой ухаживает призрак, нечто, стоящее по ту сторону реальности?

— Нет, он не призрак. Он живой, страдающий, глубоко чувствующий и все понимающий человек.

— Не верю! Актеришка, у которого есть какие-то свои нечистые цели. Зачем он ходит сюда?

— Бедный мальчик,— сказала она.— Если бы он слышал эти ужасные слова. Замолчи!

— Этому мальчику больше сорока лет. Он на своем веку...

— Замолчи! Я прошу тебя. Если бы ты знал, как ему тяжело, как он тоскует по своему времени, из которого его так безжалостно вырвал физический опыт, поставленный Гопсом.

— Чепуха. Гопс слишком вульгарно и искаженно толкует мою гипотезу. Пойми, твой Джонс не элементарная частица. А моя теория времени и пространства имеет отношение только к микромиру и Вселенной.

— Бедный мальчик! Он говорил мне о твоей теории и об опыте, поставленном Гопсом, об опыте, который удался. И он просил меня, чтобы я уговорила тебя помочь ему вернуться туда.

— Куда?

— В девятнадцатый век, в котором он жил и писал свои рассказы.

— Он писал подчас очень жестокие рассказы, хотя и очень талантливые...

— И все равно с ним нельзя поступать так жестоко, как поступил Гопс, желая подтвердить твою концепцию.

— Хорошо, Анна. Допустим, я на минуту поверю в эту нелепость. Но объясни, почему он похож на актера Джонса?

— Это тебе кажется. Ты себя убедил. А между тем...

Она не договорила и вся затряслась от плача.

— Бедный мальчик. Ему душно в нашем мире. И я дала слово ему помочь.

Я всегда с трудом выносил женские слезы. А сейчас плакала моя сестра. Плечи ее дрожали.

— Где же логика? — спросил я.— Ты же любишь его, насколько я понимаю.

— Да, люблю. Это первый человек, которого я полюбила по-настоящему. И поэтому я прошу тебя помочь ему вернуться в свое время, в свой век, к людям, которые его окружали, пока жестокий и грубый опыт твоего Гопса безжалостно не вырвал его из его среды.

— Но, может, ты тоже хочешь с ним уйти туда?

— Нет. Это не нужно и невозможно. Я останусь здесь с тобой и буду вспоминать о нем... Верни его в его мир, Филипп. Верни, я тебя прошу. Я не оставлю тебя в покое, пока ты не вернешь его в его век. Верни его, верни!

— Это невозможно, Анна, пойми, время — однонаправленный необратимый процесс. Будущее еще будет, но прошлого уже нет, и оно никогда не вернется.

— Но он много раз мне объяснял твою теорию времени. Согласно твоим вычислениям, время вовсе не однонаправленно, оно обратимо.

— Да, Анна, но только в микромире, где другие законы. Если бы твой Джонс был элементарной частицей...

— Он не Джонс, а Эдгар По. И ты должен его вернуть. Ты это сделаешь, Филипп, ради меня.

— О, если бы я мог это сделать!

Тихо, молча, на цыпочках, как вор, я вышел из комнаты Анны и закрылся в своем кабинете.

10

Мальчишки выкрикивали пронзительными голосами:

— Последние новости! Бесследно исчез знаменитый киноартист Эдгар Джонс. Предполагают самоубийство!

Я подрулил машину к тротуару, подозвав юного продавца, купил вечернюю газету и стал читать. Но заметка была лишь чуть обстоятельнее выкрика продавца. В ней сообщалось, что еще за много дней до исчезновения артист Джонс уверял всех своих знакомых, что он не Джонс, а Эдгар По — жертва физического эксперимента и был вызван из прошлого для подтверждения одной новой и «сумасшедшей» гипотезы... Стало известно также, что во время съемок биографического фильма «Эдгар По» Джонс, исполнявший главную роль, принимал химические стимуляторы, сильно действующие на эмоциональную сферу.

Я уже хотел спрятать газету, как мой взгляд упал на строки, ошеломившие меня.

«На днях в Балтиморе,— прочел я,— историк литературы Крэншоу нашел неизвестный и никогда не публиковавшийся рассказ Эдгара Аллана По. В рассказе идет речь о путешествии во времени из девятнадцатого века в конец двадцатого. Читайте нашу газету. В одном из ближайших номеров будет опубликована эта сенсационная находка».

А. ГОРБОВСКИЙ

По системе Станиславского

— Хорошо, что зашел, голубчик! Присаживайся. А я да-авно собирался повидать тебя, Георгий Федорович, признаться, просил меня, вы, мол, моего Петра там не забывайте. А я и не забываю! Рассказывай, милый, что ты и как. Как роль?

Ипполит Матвеевич профессионально грациозно склонил седую гриву со всей благосклонностью, на какую только был способен, взирая на молодого человека в ковбойке, почтительно сидевшего перед ним на половинке стула.

— Спасибо, Ипполит Матвеевич.— Всякий раз, когда он говорил, Петр делал такое движение, как если бы он хотел встать.— Спасибо. Я ведь знаю, как у вас мало времени. Но мне, правда, очень нужно было посоветоваться с вами. С ролью, у меня что-то неважно получается...

Услышав это, Ипполит Матвеевич придал лицу выражение сочувствия и подвижные его актерские губы сложились скорбным сердечком.

— Говоришь, неважно, голубчик? — сокрушенно повторил он.— Это плохо. Ах как плохо! Роль-то хоть велика?

В этом-то и была печаль. В масштабах фильма, который снимался, это была даже не роль. Скорее эпизод. Всего несколько фраз. Сначала: «Пощады, цезарь! Пощады!» А потом, когда Белопольский, играющий цезаря, не взглянув на него, прошествует в паланкине мимо, запоздало и горестно воскликнуть: «Я не виновен! Не виновен!» После чего двое статистов, игравших роль стражников, поведут его дальше. И это все.

По мере того как Петр говорил, с Ипполитом Матвеевичем происходила некая метаморфоза. Медленно вскинутые брови придали лицу его трагическое выражение, глаза наполнились слезами, а линия рта явила собой обиду и уязвленность.

— Голубчик! — воскликнул он огорченно, едва Петр замолчал.— Голубчик! Да господь с тобой! Маленькая роль. Да знаешь, с чего начинал я? В моей роли вообще не было слов. Вообще не было слов! Я играл полового. Но это

надо было сыгра-ать! И так, чтобы тебя заметили. И запомнили. А ведь до сих пор помнят! Мне и самому кажется иногда, что это лучшая моя роль.— Ипполит Матвеевич чуть приспустил веки, отчего лицо его сразу обрело выражение, которое можно было бы обозначить словами «вдохновенное воспоминание».— Помню, Станиславский, старик Станиславский, говорил бывало...

Все, что говорил он сейчас, каждый свой жест, каждое движение лица Ипполит Матвеевич знал наизусть. Этот молодой человек в ковбойке был не первым, кто шел к нему, неся свои обиды и печали. Многие бывшие его ученики приходили к нему посетовать на роль, на режиссера или просто на судьбу. Стареющий мэтр и сам привык к этому, и со временем как-то сам собой сложился у него этот монолог, который всякий раз перед новым слушателем он разыгрывал в новом блеске. Как большой актер, он ни разу не повторялся, каждый раз внося в игру что-то новое, чего не бывало раньше.

— Нет маленьких ролей, Петр, дорогой. Есть маленькие актеры.— Даже тривиальность эта, будучи сказана так, как она была сказана, прозвучала откровением.— Ты не думай о том, что идет съемка, забудь, что есть камера. Забудь, что ты актер. Ты должен быть только тем, кого играешь. Кто ты там? Осужденный? Преступник? Что ты сделал, за что тебя ведут?

Петр неуверенно пожал плечами. Этого в роли не было.

— Но сам-то ты должен знать,— снова огорчился Ипполит Матвеевич.— Для себя. Ну убил кого. Или украл. Пусть украл. Курицу. И вот тебя ведут. И все тебя видят. Позор! Проклятая курица! Зачем только ты сделал это! Тебе страшно. Что теперь будет! Что будет! Ты должен поверить во все это, должен думать только об этом. И вдруг появляется цезарь. Одного его жеста достаточно, чтобы тебя освободили. Тут же на улице. Это твой шанс! Твой единственный шанс. И ты кричишь ему: «Пощады! Пощады!» От того, что сделает он в следующее мгновенье, зависит вся твоя жизнь. Погибнешь ты или нет. Забудь о камере, забудь об операторе. Их для тебя нет. Есть стражники, цезарь, толпа. Есть только тот мир, в котором ты действуешь. Только он для тебя реален. Художник сам, своею игрой преобразует его в реальность. Если ты сумеешь сделать это, ты станешь актером...

Это Ипполит Матвеевич говорил уже от себя. Это было не из монолога.

На другой день была съемка.

На пустынном берегу, под ярким крымским солнцем толпилась «массовка» — несколько десятков статистов и актеров. Лучники, латники, легионеры бродили, погромыхивая бутафорскими своими доспехами. Горожане, облаченные в тоги, собирались в кучки, курили.

Мордатый стражник в кольчуге из проволочных колец хмуро сидел в стороне. Еще со вчерашнего дня у него болел зуб.

Актеры держались обособленно. Они не смешивались с толпой. Но это была не только та исключительность, которая достается исполнителю как бы в наследство вместе с патрицианским плащом его прототипа. Это было нечто большее. И Ипполит Матвеевич, облаченный в белоснежную тунику и тогу, казалось, именно здесь обретал, наконец, свой окончательный и естественный образ, становился тем, кем он был всегда и на самом деле. Соответственно и разговоры, которые велись здесь, и даже сигареты, которые курили, были другими, не теми, что в толпе и среди статистов.

— В Турине,— этак барственно, небрежно, с ленцой повествовал Ипполит Матвеевич, обращаясь к Белопольскому,— в Турине, когда мы прилетели, нам почему-то не сразу подали машину. А тут, как назло, дождь. Я говорю тогда Бондарчуку: «Послушай, Сергей...»

И хотя говорилось все это поверх лиц и поверх голов тех, кто толпился вокруг, сами они не исключали себя из разговора. С суетливой торопливостью они отражали на своих лицах все, о чем шла речь. Правда, великие не замечали, казалось, ни их самих, ни этой их готовности соучастия.

— Забавно, забавно,— это говорил Белопольский. Петр только подошел к этой кучке и не слышал, о чем была речь до этого.— Этот туринский эпизод напомнил мне один анекдот, который я слышал от Феллини. У одного продюсера была очень красивая жена. Однажды он уезжает на съемки и говорит ей...

Теперь все перевели взгляды на него и повернули лица в его сторону, как подсолнухи — от восхода к закату.

В скольких домах будет рассказан потом этот анекдот, слово в слово:

— Знаете, Белопольский... (Да-да, тот самый! Ну, мы снимались с ним вместе и вообще хорошо знакомы!) Так вот, Белопольский рассказал мне любопытный анекдот. Он

слышал его от Феллини. У одного продюсера была очень красивая жена. Однажды он уезжает на съемки и говорит ей...

Петр рассеянно бродил среди актеров, вполслуха прислушиваясь, о чем они говорят, и заставляя себя думать о курице. Он почти видел ее. Сначала он думал, что она черная, но потом оказалось — рябая. Конечно, рябая. Такой шум подняла. Из-за этого-то он и попался. Зачем только он украл ее! Теперь вот такое несчастье, такая беда! В разных концах массовки он видел обоих своих стражей, которые тоже ждали своей минуты, чтобы вести его.

Как все было хорошо, как все было слава богу, пока не попался он с этой курицей. Если бы только можно было сделать, чтобы ничего этого не было! Чтобы все было по-старому!

Массовка между тем начала медленно приходить в движение. Помощники режиссера кричали что-то в серебряные раструбы, сгоняя, располагая и сортируя собравшихся по какому-то одним им ведомому и понятному плану.

Приехала машина с выдвижной площадкой для оператора и камерой. Но Петр лишь мельком и вскользь отметил ее появление. Нужно было ему сразу свернуть голову этой проклятой курице. Тогда никто бы не заметил. На какой-то миг Петр спохватился вдруг, что не знает, где же произошло это. Впрочем, он знал. Конечно, на базаре. В птичьем ряду. Столько раз ему сходило это с рук. Да и сейчас бы, наверное, сошло бы, не попадись ему на пути, когда он бежал, этот нубиец. Надо же, раб подставил ножку свободному! Петр представил себе, как он с размаху упал на камни, и воспоминание о боли в руках и коленях коснулось его.

Съемка между тем уже началась. Воины и горожане, выкрикивая что-то, перебегали с места на место, потом появлялся центурион, делал повелительный жест, и все замирали, подняв в приветствии руку.

— Стоп! — кричал режиссер.— Делаем дубль!

Сцена повторялась еще раз.

За ней следовали другие эпизоды. Петр рассеянным взглядом скользил по всему этому, продолжая думать о своем. Ему видно было, как на склоне, среди огромных валунов, появились какие-то фигуры — наверное, курортники или местные жители, которые с любопытством следили за тем, что открывалось им оттуда. И это праздное их любопытство, то, как были они одеты, само их присут-

ствие — все это было диссонансом тому, что происходило здесь. Они мешали сосредоточиться, они мешали думать, и Петр повернулся так, чтобы не видеть их. Какое-то время боковым зрением он продолжал еще чувствовать зрителей, но потом перестал.

Сойдя с возвышения, на котором стоял, Петр прошел к началу дороги, к тому месту, где она ближе всего подходила к морю. Оба стражника уже ожидали его там. Он закинул руки назад, и они обмотали их толстой веревкой.

— Не туго? — спросил один, тот, у которого болел зуб.

Петр покачал головой.

И они пошли по дороге. Впереди Петр, оба стражника за ним, не выпуская из рук веревки. Рабы, воины, горожане обгоняли их или шли навстречу. Одни тащили на себе какие-то ноши, другие шли налегке. Петр старался не поднимать взгляда. Еще утром, еще сегодня утром, мог ли он подумать, что день этот завершится таким позором? Наедине со своей бедой, он не сразу понял значение каких-то выкриков, шума и голосов, которые нарастая становились все ближе.

— Цезарю слава!

— Слава! Слава!

— Величие и слава!

Предваряя скорое движение паланкина, перед ним шли ликторы, за ними воины-преторианцы в малиновых плащах поверх доспехов. Толпа восторженной волной катилась впереди и по сторонам паланкина. Тогда-то, не раздумывая, не колеблясь, почти неожиданно для себя, Петр бросился на колени:

— Пощады, цезарь! Пощады!

Голос его перекрыл другие голоса. В это мгновение, в это самое мгновение что-то дрогнуло. Что-то дрогнуло в самом пронизанном солнцем воздухе. Но никто, казалось, не заметил этого. А бритоголовый человек, стремительно проплывавший над толпой, не шевельнулся и не взглянул в его сторону.

— Я не виновен! Не виновен! — но это был уже запоздалый крик отчаяния.

Тут же острая боль в боку чуть не свалила его на землю. Он не успел еще понять, что это, как стражник ударил его еще и еще раз. Он бил ногой, вкладывая в удар всю силу.

— Вставай, ты, падаль!

Петр вскочил в недоумении и гневе, но второй стражник так дернул веревку, что у него потемнело в глазах.

— Сын блудницы!

«Они сошли с ума! Они оба сошли с ума!» Он едва успел подумать это, как толпа, бежавшая за паланкином, захлестнула их. Водоворот человеческих тел швырнул Петра сначала в сторону, потом закрутил и понес за собою. Веревка ослабла, он рванул руки, и она упала на землю.

— Цезарь! Цезарь! — кричали кругом.

Стражников не было видно.

— Цезарь! Слава! — стал кричать он вместе с другими.

Какая большая массовка. Все незнакомые лица. Откуда-то взялись даже дети.

Вообще эта сцена должна уже кончиться. Почему-то она затягивалась. Толпа продолжала бежать, крича, и паланкин все так же мерно колыхался над ней, продолжая свой стремительный путь по каменистой дороге вдоль берега моря.

Какое-то время Петр двигался вместе со всеми.

Все-таки сыграл он отлично. «Пощады, цезарь! Пощады!» Он не удержался и улыбнулся, вспомнив это. На какое-то мгновение привычный мир действительно перестал существовать для него. А бутафорский мир съемок обрел реальность.

В этот короткий промельк орава бездельников-статистов стала для него толпою римских граждан, а актер, восседавший в нелепом паланкине, превратился в настоящего цезаря. И проклятая курица, которую он украл! Она действительно была для него реальна в тот короткий миг.

Но когда же кончится эта сцена?

Петр уже выбрался из толпы. Он стоял у обочины и смотрел вслед процессии, которая удалялась. Другие тоже отставали по одному, по два. А он все смотрел вслед процессии и пытался понять, что же не так. Что же не так? И вдруг понял. Не было камеры. Нигде не было камеры.

Он бросился было в сторону, туда, откуда он шел со стражниками навстречу процессии, но ни оператора, ни камеры не было и там. Не было вообще никого из съемочной группы. На дороге были только те, кого он считал статистами, да вдалеке слышен был шум удалявшейся толпы.

Тут он снова увидел стражников. В тот же миг они

тоже заметили его и, рванувшись с места, бросились в его сторону. По тому, что они сделали это, по тому, как побежали они, он понял то, чего не понимал и чему не решался верить секунду назад.

Это уже не было съемкой!

У него не было времени додумать эту мысль до конца, но он уже бежал. Бежал со всех ног от этих двоих, что гнались за ним. Он бежал так, как если бы вопрос стоял о его жизни. Но, возможно, так это и было. Так это и было.

Любопытные, злорадные, хищные лица прохожих промелькнули и пронеслись мимо. Кто-то швырнул в него палку. Другой подставил ножку. Воин, шедший навстречу, выхватил короткий меч и, размахивая им, бросился наперерез. Петр метнулся в сторону и сбежал с дороги. Теперь он бежал в сторону, прочь от дороги, вверх по каменистому склону. Мелкий щебень разъезжался под его ногами, набиваясь в сандалеты и мешая ему бежать. Раза два он оглянулся. За ним бежали только стражники. Те, кто был на дороге, остановились и смотрели, чем это кончится.

Выше места, где находился он сейчас, лежали огромные валуны. Это здесь, на этих камнях стояли любопытные, которые так мешали ему. Сейчас здесь не было никого. Если он только успеет добежать до камней, его уже не найти. Преследователи, поняв, видимо, безуспешность своих усилий, все больше отставали. А может, им просто мешали бежать их тяжелые доспехи.

Но Петр не мог позволить себе замедлить бег или остановиться. Даже оказавшись среди валунов, скрытый высокими, поросшими мхом глыбами, задыхаясь, он долго продолжал карабкаться вверх. Перед глазами его стояло лицо воина, который, выхватив блестящий меч, бросился наперерез. Петр почти физически чувствовал его алчное, исступленное желание всадить в него, бегущего, короткое и острое, как бритва, лезвие.

Петр пробирался вверх, не выходя на открытое место и стараясь оставаться невидимым для тех, кто был внизу, на дороге. Когда, обессиленный, он привалился, наконец, к шершавому камню и позволил себе отдышаться, до конца подъема оставалось всего несколько метров. Осторожно, крадучись, он выглянул из-за каменной глыбы. Дорога вилась внизу тонкой лентой. Маленькие человеческие фигуры медленно двигались на ней. Но кто из них были его стражи и где они, сверху различить было уже невозможно.

Там, где кончался подъем, начинались заросли терновника, и Петр долго шел, продираясь сквозь них. «Ничего не случилось,— думал он.— Ничего не произошло. Мне все показалось. Статисты, они выпили. Хулиганы. Я пожалуюсь режиссеру. Сейчас выйду на открытое место и увижу шоссе, грузовики, дом отдыха «Спутник».

Действительно, вскоре кусты кончились, перед ним открылось ровное, открытое со всех сторон плато. Он вышел на него неожиданно и так же неожиданно оказался перед ним высокий столб, врытый в землю. Наверху столба была перекладина. На ней был распят человек. Какие-то птицы, мелкие птахи, похожие на воробьев, пронзительно крича, кружились над ним.

Внизу расстилался большой, незнакомый город. Петр уже не удивился этому. Он стал спускаться по склону. Он думал, как жить ему теперь в мире, который породил он сам.

. . . .

— Внимание! — объявил режиссер.— Внимание. Сейчас будем давать дубль. Всем приготовиться.

Произошло замешательство. Актера, который так удачно сыграл роль преступника, нигде не могли найти.

Режиссер рвал и метал.

Р. ПОДОЛЬНЫЙ

Скрипка для Эйнштейна

Телефонный звонок.

— Леру!

— Ошибка.

Телефонный звонок.

— Юлю!

— Извини, Лева, я жду очень важного звонка.

— Николая.

— Сейчас позову.

Брат берет трубку и говорит, говорит, говорит.

Я показываю ему кулак. Не обращает внимания. Кончил разговор. Ушел в свою комнату.

Я сижу у телефона. Ведь сегодня в «Комсомолке»... Это мог сделать только Витя. Значит, он в Москве.

Собственно говоря, его звали Витольдом. И он откровенно завидовал. Всем, носившим более человеческие имена. Он вообще многим завидовал. И будет...

Я помню Витю столько же, сколько себя. Лучший друг старшего брата. У одного костяшки на правой разбиты — значит, у другого скула рассечена. Но — ничего. Будто так и надо. У одного двойка — и у другого. Прогуливали вместе. И в классном списке фамилии рядом. Потом уже, классе в восьмом, Николай вырвался. Призы на олимпиадах. Курсы при МГУ. Физмат.

— Завидую! — сказал Витольд, засыпавшийся на экзаменах. (Мне всего было двенадцать лет, что я понимала, пигалица, но тогда в первый раз это слово меня обожгло. А сколько раз я его слышала раньше...

Помню:

«Люди в кино идут, а мы на уроки. Завидую. Пошли, Коля?»

«У людей змей летает. Завидую. Сделаем, Коля?»

«С какой девушкой парень идет! Завидую. Познакомимся, Коля?»

Отец часто бывал в командировках, мамы давно не было, Коля таскал меня за собой.

«Ну, сестра у тебя! Не завидую»,— говорил Витольд время от времени.)

— Завидую! — повторил Витольд.— У соседей папахен на Севере три года проработал, «Волгу» купил.

— Пока, пацанка! — кинул он мне.— До встречи через три года, Николай. Я уже завербовался.

— Легкий парень,— сказал отец. Непонятно сказал. То ли в осуждение. То ли...

Потом Витя приехал. Затискал Кольку в объятиях. Хлопнул меня по плечу. Стал рассказывать про парня с зимовки.

— Йог, настоящий йог. Час на голове стоит. Два стоит. Завидую. Он еще и животом шевелить умеет.

— Как с автомобилем? — весело спросил Николай.— Скоро покатаешь?

— Автомобиль? — Витя удивился.— Ах, да! Так я ж его давно купить могу. Неинтересно. Вот у нас один парень в шахматы... по переписке мастером стал. Завидую!

— Сильно завидуешь?

— Не очень. У меня уже первый разряд. А вот Трифонов у нас на стометровке в десять и пять десятых укладывается. Завидую.

— Как решил с институтом? Куда поступать будешь? — озабоченно спросил Николай.

— Вспомнил! Да, я в этом месяце до отпуска должен последние экзамены на заочном мехмате сдать. Вступительные у меня в Магадане приняли, а потом в год по четыре семестра укладывал. Не хуже кого другого... Времени много было. Завидую!

— Кому?! — Николай откровенно любовался товарищем.

— Да тем, кто на зимовке на следующий срок остался. Сколько сделать можно! Я вот не выдержал. Москвичам позавидовал.

— Легкий парень,— сказал отец. Осуждения в его голосе теперь совсем не было.

Он исчезал, завидуя кому-то, и появлялся снова, продолжая завидовать, но уже кому-то другому. У аэродрома его охватывала зависть к уезжающим. У кинотеатра — к зрителям. У ресторана — к тем, кто сидит внутри.

— Ка-акого они цыпленка табака едят. Пойдем, ребята.

— Юлька молода еще,— возражал Николай.

— Молода! Завидую. Сколько ей еще жить-то! На семь лет больше нас, а если еще учесть, что женщины дольше лямку тянут...

Он завидовал — не обидно ни для себя, ни для других — всему. Хорошему стихотворению и замшевому пид-

жаку. Значку альпиниста и портрету в газете. И сам печатал стихи. И тут же переставал их писать. А замшевый пиджак надел два раза. Значок альпиниста он даже получать не пошел. «Мой же он»,— пожав плечами, объяснил нам с Николаем.

Но однажды Николай вместо «молода еще» сказал: «Что ж, пошли». И мы ели этого самого цыпленка и пили какую-то кислятину.

— А сестра-то у тебя,— вдруг сказал растерянно Витольд.— Завидую...

— Заведи себе,— засмеялся брат.

Но Витя не принял шутки. Он прикусил губу.

Я испугалась. Он ведь всего умеет добиться. Я его полюблю. Он на мне женится. А потом чему-нибудь еще позавидует. Чьему-нибудь мужу. Китобою. Разведчику. И влюбится. Уплывет. Исчезнет. Не хочу!

Надо пошутить. Сбить тон. А то вон Николай уже серьезное лицо сделал.

— Вить, а есть на свете кто-нибудь, кому ты никогда не завидовал?

— Дай подумать,— он не отводил от меня цепкого взгляда.— ...Нет! Всем завидовал.

— И несчастным влюбленным? — хмуро сказал Николай.

— Так они же стихи пишут! Сонеты, как Шекспир. Поэмы. Завидовал.

— И калекам?

— Да. Иногда. Испытание! Вынес ли бы я? Болезнь, муку, страдание... Они знают. Я — нет.

— ...И этим лабухам, что для пьяных играют?

— Господи! Конечно! Они ведь столько всего видят. Бальзак бы им позавидовал, не то что я.

— А тому, что они музыку понимают? — спросила я.

— Да нет, пожалуй. Они — музыку, я — шахматы. Слуха нет у меня и не надо. Этюд Рети им, понимаешь, покажи — посмотрят, как баран на новые ворота. И будто так и надо. Точно музыка вправду выше шахмат. Дискриминация! Каждому — свой вид любви. Как это у Маяковского:

> И знал только бог седобородый,
> Что это животные разной породы.

Вот и мы с ними — разной породы, Коленька. В детстве-то меня крутило из-за музыки,— он говорил это не мне,

а Николаю, но смотрел на меня.— Казалось, это заговор всего человечества против меня. Одного. Кто играет на скрипке, кто хлопает ему. Разделение труда. Выйдет этакий кудрявый баранчик, положит подбородочек на красный лоскуточек, лоскуточек на краю скрипочки приспособит — и пошли ерзать: подбородочек по лоскутку, смычок по скрипке. Пальцы дрожат-дрожат, скрипка душу тянет. Не. Не завидую.

— Ты завидуешь только тому, что тебе под силу,— не без ехидства сказала я.

— А ведь верно,— обрадовался Николай.

— Музыка, значит, мне не под силу? — удивился Витя.

— Ты научишься играть на скрипке? — брат рассмеялся.

— Он положит лоскуток на скрипочку, подбородок на лоскуток...— поддержала я.— Только имей в виду, это не лоскуток, а подушечка.

— Ну,— Витя всегда легко загорался.— Хорошо. Я научусь понимать музыку и играть... Или...

— Что «или»? — Николай веселился.

— Или докажу, что это действительно заговор. Да! Человечество само себя обманывает!

Так это началось. В тот же вечер, едва мы вышли из ресторана, Витя негромко сказал брату:

— Сегодня я завидовал тебе, а скоро ты мне будешь. Береги сестренку. Пока!

— Куда ты? Нам же по дороге.

— Нет. Тут неподалеку живет мать моего начальника зимовки. Хвастался, что она любит музыку, большую библиотеку о ней собрала. Еще раз — пока. И помни, чему у тебя я завидую больше всего.

Витя появился у нас через три дня. Стал меня допрашивать:

— Вот ты играешь. Что ты в это время чувствуешь?

Выслушал. Досадливо покачал головой. Сказал:

— Смутно. Смутно. А в книжках этих! Мелодия, понимаешь, это художественно осмысленный ряд звуков разной высоты. Ну а что значит слово «художественно», авторы энциклопедий не знают.

— Это чувствовать надо,— сказала я. И сама сморщилась: так высокомерно прозвучала фраза.

— Чувствовать! Тоже из ряда «художественного». Почему-то про литературу критики пишут точнее. И даже

про живопись, когда не очень умничают. А тут — беспомощны. Ничего объяснить не могут.

— Гармония дает ощущение красоты,— попыталась объяснить я.

— Гармония? Да какая же в нынешней музыке особая гармония? Я тут поглядел учебники да справочники. Оказывается, еще древние греки с гармонией весьма вольно обращались. А затем ее все больше и больше калечили, саму музыку на шесть седьмых урезали. В октаве чистого строя должно быть восемьдесят пять звуков, осталось двенадцать. И это — ничтожная доля всех изменений. А радуются: гармония. Да она же искусственная. Картина, китайская или японская, мне нравится. Но что мне с китайской музыкой делать? Звукоряд у них другой! А тоже ведь художественно организованный. У нас октава, у них октава. У нас внутри нее лесенка из семи ступенек, у них — из пяти. Почему нам этого не много? Почему им того не мало? Аллах знает. Договорились и все.— Заговор!

Я забыла свою застенчивость, даже страх перед человеком, которого любила. Он оскорбил музыку!

Витя слушал меня молча. Время от времени делал заметки на своих листочках. Потом резко оборвал:

— Священнейшее из искусств! Древнейшее из искусств! Сумасшедших им лечат. Подумаешь! У меня тут цитатки покрепче. Аристотель, понимаешь, считал, что музыка раскрывает суть вещей.

— Правильно!

— Да ну? А то, что есть мелодии, которые сжигают певца и все, что его окружает, тоже верно? Индусы утверждают, что один человек спел такую песню, стоя по горло в море, и волна вынесла на берег кучку пепла.

— Легенд много. Не всем же верить.

— А каким именно прикажешь? Ладно, спасибо. Пошел. Тут меня попросили полгода позимовать в одном месте. До встречи. Кончай свой десятый поскорее. Взрослей, взрослей, девочка. Кстати, у вас есть чистая магнитная пленка? Давай всю.

Ушел. Я подошла к книжному шкафу, взяла тоненькую книжечку.

Я люблю тебя давно,
Впрочем, это все равно.
Все равно ты не поверишь,
Как я жду тебя давно.

Шла я девочкой по саду,
Помню детскую досаду:
Дождь пошел, дед ушел —
Сразу все нехорошо!
Кто-то встал передо мной.
Наклонился надо мной:
«Что ты плачешь, слезы тратишь,
Слезы льются, как вода...
Ты не вырастешь, завянешь,
Ты красивою не станешь,
Я не встречусь тебе,
Не женюсь на тебе!»

Через день я пересказала брату наш разговор. Он рассмеялся.

— Этими-то новостями Витька тебя так ошарашил, что двое суток, гляжу, места себе не находишь? Эх, ты! А еще в консерваторию собираешься. Азы он тебе выкладывал. Мы действительно играем и слушаем искаженную музыку — с точки зрения хоть Пифагора, хоть Палестрины. Про них ты слышала, надеюсь?

— Пифагоровы штаны,— бодро ответила я.— А Палестрина, по-моему, служил композитором у какого-то римского папы.

— Точно. В XVI веке. А за два следующие столетия музыку и обузили. Слышала про такой термин — чистый строй?

Я пристыженно молчала. Слышала ведь и читала, а внимания не обратила.

— Это когда в мелодии звучат одновременно только тона, по частоте различающиеся в два, три, четыре раза. Звуки тогда кажутся чистыми, прозрачными. В музыкальном диапазоне рояля укладываются семь октав и двенадцать квинт.

— Ну, это-то я знаю.

— Слава богу. Так вот, семь октав не равны двенадцати квинтам, а их взяли да подравняли. Искусственно. Квинты подкоротили. Понимаешь? Исказили чистый строй, правильно твой Витольд говорит.

— Мой?

— Ну, мой. И Гендель то же говорил, и Чайковскому это время от времени ужасно не нравилось, и Шаляпину, а Скрябин от отчаяния пытался новый рояль сконструировать, с добавочными клавишами, чтобы брать естественные интервалы. Поняла?

— Так значит, он прав?

Николай погладил меня по щеке:

— Чудачка, всякое искусство условно.

А через год он приехал. И сразу велел нам с братом собираться. Такси ждет.

— Теперь клуб управления Главсевморпути,— сказал шоферу.

Концерт поначалу был так себе. Но третьим номером конферансье объявил:

— Оригинальный номер. Витольд Коржиков.

— Я говорил ему, чтобы он назвал меня Виктором,— прошипел Витя мне в ухо. Поднялся на сцену.

Конферансье торжественно передал ему маленький магнитофон. Витя поставил его на крышку рояля. Вынул из кармана пиджака кассету, установил. Повернулся к публике, объявил:

— Записи странных звуков, сопровождавших северное сияние 2 февраля 1979 года. Слушайте.

Меня словно ударило по ушам; я невольно подняла руки, прикрывая их, оглянулась, увидела, что этот жест повторил весь зал.

Резкий звук сменила почти красивая мелодия, затем последовала серия разрядов, больше всего напоминающих радиопомехи... Снова та же мелодия, только на два тона ниже, потом скрежет... Шумовые звуки сменялись музыкальными и возвращались опять, пока эта чудовищная музыка не превратилась окончательно в какофонию. Витя быстро снял кассету, сунул в карман, спрыгнул в зал, прошел к нам. Его сменил на сцене конферансье. Морщась, проговорил:

— Я позволю себе от вашего имени поблагодарить Витольда Коржикова. А теперь,— его лицо расплылось в довольной улыбке,— вы услышите настоящую музыку. И, надеюсь, исполнителя поблагодарите сами, не возлагая на меня и эту обязанность. Скрипач...— конферансье назвал имя, заставившее зал всколыхнуться, и отошел за кулисы. Щедрые аплодисменты оборвались. Скрипач поднял смычок.

Невыносимо фальшивым был звук, вызванный им у скрипки. И сам маэстро почувствовал это. Он торопливо передвинул пальцами на грифе. Несколько раз встряхнул смычок. Снова опустил его на струны. Зал застонал. Скрипач тоже. Он выронил... нет не выронил. Он бросил смычок! Кинулся за кулисы.

Взъерошенный конферансье выскочил на сцену:

— Артист почувствовал себя плохо. Трио баянистов попытается вознаградить нас за потерю такого номера,— конферансье был растерян и косноязычен.

Баянисты раздвинули меха. Пальцы заерзали по белым пуговичкам.

— Фальшь! — крикнул кто-то неподалеку.— Не умеешь — не берись,— возмущались из первого ряда. Баянисты смотрели друг на друга. На публику. Из-за кулис крикнули: «Занавес».

Мокрыми губами прошептал конферансье о «технических причинах». Зал шумел. А мы с Витольдом пробирались к выходу.

Он был счастлив.

— Ну, что, музыкантша, получила? Вот уж не завидую всем этим скрипачам, пианистам, барабанщикам! И композиторам тоже! Именно не завидую! И никто больше никогда им не позавидует. Никогда!

— Что ты сделал?

— Я лишил людей музыкального слуха.— Он посмотрел на мое перепуганное лицо и расхохотался еще громче.— Не бойся, нынешняя акция действует недолго. Завтра все будет в порядке и у тебя, и у других. Но стоит мне захотеть — и я, пожалуй, захочу — стоит только захотеть...

— Что ты тогда сделаешь?

Он смеялся от всего сердца, донельзя довольный своей победой.

— Да, я уже знаю, что можно отбить у человека музыкальный слух на месяц. А может, и на года. Может, навсегда.

— Но ведь сейчас было не так! Если бы ты отнял у нас слух, музыка была бы скучна, а она резала уши.

— Молодец! Ты наблюдательна. Это промежуточная стадия на пути к результату. Людям нравится музыка, к которой они привыкли, а непривычная кажется в лучшем случае странной. Европейцу — монгольская или национальная киргизская, например. Музыка, как человеческая речь, делится на языки, только у музыки их меньше. Ну, а я устроил музыкальное вавилонское столпотворение. У каждого артиста оказалось свое наречие. А публика состояла из иностранцев. Я не лишал людей музыкального слуха, а просто делал его другим — восприимчивым для другой музыки, сдвигал привычный настрой.

— Но у тебя же нет музыкального слуха!

— Я зато много читал. Думал. Да и разрушать — не строить... Ну, не бойся, не бойся. Не оставлю я безработными всех музыкантов мира. Пожалею. Тебя. Выйдешь за меня замуж?

Он обнял меня и поцеловал. Я не сопротивлялась, но и не ответила на поцелуй. Сейчас этот добродушный человек казался мне неким вселенским духом зла. Обнимавшие меня руки час назад запустили магнитофон с самой страшной музыкой, когда-либо звучавшей на земле. Поцеловавшие меня губы только что пригрозили уничтожить музыку мира... а потом снисходительно пообещали оставить ее в покое. Из жалости! Из жалости не к кому-нибудь — ко мне, ко мне самой. Неужели он действительно властен стереть с лица земли целое искусство? Неужели это возможно?

А он был счастлив. Мое молчание он принимал за восхищение им, то, что я не прятала губ,— за ответное признание. Он усадил меня на скамейку в скверике, сел рядом, обнял и говорил, говорил, говорил. О своей любви. О том, как давно он понял, что я для него — единственная женщина. О том, как уже пять лет он ждал, когда я стану взрослой, как боялся, что он мне не нравится, как еще больше боялся (он был до предела искренним), что сам в кого-нибудь влюбится до потери сознания и женится, не дождется меня. А я все молчала и молчала. Он встревожился. Снова заговорил о музыке.

— Не трону я ее, обещал же. А потом...— И он стал оправдывать свой замысел.— Да пойми же, девочка, это действительно заговор. Чистые звуки на самом деле не чистые. Все построения искусственны. Вас приучили (только не меня) наслаждаться тем, от чего ваших дедушек мутило.

— Но то же ведь и с живописью,— тихо сказала я.

— В живописи бывает что-то похожее, но то, что там исключение, для музыки — правило. Китайская музыка скучна французу, французская — китайцу. Это подлинный заговор, обернувшийся и против самих заговорщиков, потому что сами они во все верят. Ну, я ж их!..

— Что ты собираешься делать?

— Да просто предложу на радио свои записи. Найду, под каким предлогом. Пропустят один разок пленку перед микрофоном — и каюк.

— Но не все же услышат.

— Первый раз, конечно, не все. Да ведь с каждой передачей у меня будет становиться все больше сторонников. Выступлю с открытым забралом... хотя нет, что я, я же тебе обещал... Ну, значит, останется на свете музыка — для тебя, девочка. И вообще, раз я знаю, что могу все это сделать, так делать уже и неинтересно. Хотя... ты не очень расстраивайся, но и успокаивать не хочу. Раз я открыл этакую противомузыку, значит, и другие могут. Впрочем... Стоит ли охранять то, что так легко уничтожить?

И он опять засмеялся! Ему было смешно...

Луна вышла из-за туч, стало очень светло, я видела его лицо. Гладкая кожа щек кричала о здоровье, крупные белые зубы свидетельствовали о том же. Ровно лежал великолепный пробор. Лоб выглядел так, будто его только что выгладили, как парадную блузку. Ни тени сомнения не было в его взгляде. Он был уверен, уверен на сто процентов во всем. В том, что может уничтожить музыку. В том, что она достойна уничтожения. В том, что я его люблю. Надо было его остановить. Чтобы самой с ним не согласиться.

— И ты считаешь, что добился того, чего хотел?

— Да. Я ж не завидую.

— Ты позавидовал хозяину дворца — и сжег этот дворец! Красиво!

— Но дворца-то не было!

— Тогда ты должен был строить другой.

Я сама знала, как мало логики в этом утверждении. Но мне было не до выбора слов. Я вспомнила один его разговор с моим братом.

— Ты ведь так и не узнал, почему Аристотель считал, что музыка раскрывает суть вещей. Да что там! Ты даже не узнал, зачем Эйнштейн играл на скрипке, почему это помогало ему думать.

— Ну, знаешь! Шиллеру помогал работать запах гнилых яблок. Привычка — и все.

— Да? Тогда назови мне хоть одного глухого гения.

— Бетховен.

— С твоей точки зрения, композитор гением быть не может.

— Ну, ладно. А все-таки? Как с Бетховеном?

— Оглох поздно, в зрелом возрасте. А гениев, глухих с детства, нет и не было.

— Ну и что?

— А слепые гении были. Гомер и Мильтон.

— И Паниковский,— он радостно рассмеялся.

— Ты подумай над тем, что я говорю. Зрение дает человеку четыре пятых сведений о мире, слух — в пять или шесть раз меньше. Но без зрения можно стать гением, без слуха — нельзя. Почему? Музыка.

— Ты можешь доказать?

— А зачем? У нас же есть ты, великий теоретик! Завидуешь гениям? Но они музыкальны. Все до одного, я уверена. Вот иди и не возвращайся, пока не полюбишь музыку.

Радостная улыбка медленно ушла в уголки рта. Лоб, точно гладь пруда, подернулся рябью морщинок. Быстро-быстро заморгали ресницы. Ему было больно, и он не скрывал этого. Мне тоже было больно, но он не должен этого знать.

Упавшим голосом Витя сказал:

— Но ведь я этого не смогу...

— Ладно. Приходи, когда докажешь, что музыка необходима.

— А если...— у него не хватило дыхания и мужества, чтобы договорить эту фразу.

Но у меня-то мужества было хоть отбавляй:

— Тогда и ты не необходим. Мне.

Я знаю, что он чувствовал тогда. Не могу не знать. Ведь я его жалела. Он чувствовал себя на вершине. За весь наш разговор ни разу не произнес свое привычное «завидую». Ему ли, властному решить судьбу искусства, было завидовать кому бы то ни было? И вот с этой высоты сбросили человека, чувствовавшего себя и гением, и любимым, и победителем, и открывателем.

И он растерялся. Потерял себя. Не знал, что делать. И все-таки делал.

До меня доходили, с опозданием, конечно, слухи о том, что он делал. То профессор в консерватории рассказывал про чудака, требовавшего выработать у него музыкальный слух под угрозой, что в противном случае он самого профессора лишит музыкального слуха.

То в ботаническом саду экскурсовод сообщил об энтузиасте, организовавшем концерты для растений с целью выяснить, какие мелодии они предпочитают.

А как-то меня пригласил в театр бывший одноклассник, ныне студент химфака. Он считал нужным развлекать меня самыми сногсшибательными историями. В их

число попал рассказ о том, как на кафедру, по теме которой он делал курсовую, явился какой-то Витольд Юрьевич. Витольд Юрьевич узнал, что профессора здесь занимаются звукотехнологией — изучают возможности применения обычного звука для ускорения и направленного изменения химических реакций, и предложил им модулировать этот звук согласно нотам нескольких маршей, песен и танцев. Он даже принес ноты. Большого труда профессорам стоило от него отделаться.

Студент смеялся над этой историей, но в конце концов покачал головой и сказал: «А все-таки — вдруг? Я бы на их месте попробовал...»

Я понимала, что все это бессмысленно. Витя не хотел идти по прямому пути — слушать, слушать и слушать музыку, пока не поймет ее. Или — не мог? Что мне было делать? Я так хотела помочь ему...

Снова я увидела его через полгода в кафе «Молодежное». Мы с Петей (это и был тот студент с химфака) пошли в кафе ради «Синего джаза». Джаз играл неплохо, только вот танцевать было негде, столики стояли почти вплотную, стулья упирались спинками друг в друга.

— Сейчас руководитель оркестра поделится своими мыслями о музыке,— объявил саксофонист, оборвав мелодию.

Руководителем оказался юноша, задавшийся целью быть похожим на Паганини. Ему удалось обзавестись такой же шевелюрой. Взгляд его был не менее жгуч, фигура почти столь же стройна. И только розовые мальчишеские щеки упрямо торчали в стороны от острого носа двумя крепенькими яблочками. Да руки вместо смычка и скрипки держали барабанные палочки.

Он сразу начал кричать на нас. Он обвинял собравшихся в том, что музыка нужна им для танцев, для песен и для маршей. Что мы сделали музыку развлечением и бытом, тогда как она — средство возвышения человека. Стиснув побелевшими кистями рук свои неразлучные палочки, джазист гремел обличениями:

— Я слышал, как тут выражали недовольство. Танцевать, мол, негде. А Аристотель — может быть, вы знаете это имя — говорил: «Ни один свободный человек не будет танцевать или петь, если он, конечно, не пьян». Музыка в его время была ключом к сути вещей (я вздрогнула, узнавая слова, слышанные от Вити). Музыкой лечили безумие и музыкой ввергали в него. Планеты звучали с неба,

и физика, как наука, началась с создания теории музыки. В Спарте учили музыке вместо грамоты. Пифагор связал разные звуки между собой. Но его последователи обобрали музыку. Вы нищие, потому что у вас украли шесть седьмых музыки. У вас двенадцать музыкальных звуков в октаве, а должно быть восемьдесят пять. У вас...

— А у вас? — рассерженно крикнул какой-то посетитель.

— Вот что у нас! — и оратор почти упал на свой стул, резким движением ног развернул его, палочки обрушились на барабан, оркестр грянул вслед их удару...

Я ничего подобного не слышала. Описать это невозможно. Можно было только понять, что не зря в Древней Греции музыкой умели сводить с ума.

Под эту музыку нельзя было ни танцевать, ни петь, временами она резала слух, временами казалась некрасивой, порой превращалась в какофонию. Я узнала основную мелодию шопеновского полонеза. Но это был не только полонез. В кафе повеяло чем-то древним и страшным. Казалось, тени прошлого сейчас затанцуют в узеньких проходах между пластиковыми столиками. А когда я скользнула взглядом по своему соседу, мне показалось, что пиджак сидит на нем необычно лихо, а опущенная к бедру рука сжимает рукоять сабли. Посмотрела на оркестр. Набор инструментов был обычен, но на столике за спиной саксофониста стояли два включенных магнитофона. Я что-то поняла, едва увидела их, но не было сил вырваться из-под власти музыки.

Только когда она смолкла, я смогла быстро обвести глазами зал. Конечно, Витя был здесь. Он сидел у буфета, в стороне, но я видела, как он встретился глазами с недавно ораторствовавшим джазистом. И барабанщик снова вскочил на ноги.

Теперь он уже не обвинял, а прощал, не обличал, а благословлял. Мы были не виноваты в том, что нас ограбили. Средние века разорвали священную нить музыкального искусства. Возрождение увидело скульптуры Фидия и вернуло к жизни изобразительное искусство. Литература нового времени обрела образец во вновь прочтенных Гомере и Эсхиле. И только музыка не смогла воскреснуть, ибо звуки нельзя закрепить в камне или на пергаменте. Даже наши ноты достаточно условны, а древние знаки для записи музыки не передавали и сотой доли ее смысла, не говоря уже о том, как мало таких знаков удалось найти.

И наконец... Витольд Юрьевич, встаньте. Пусть наши слушатели посмотрят на человека, который попытался своим телом закрыть щель между двумя музыками.

Витя поднялся, согнув плечи, с вытянутым хмурым лицом. Это же должно быть его торжество, он победил. Чем же он недоволен? Может быть, тем, что я здесь с Петром...

А оратор продолжал:

— Когда Шопен впервые сыграл наедине с собой этот полонез, он убежал из комнаты. Потому что увидел длинный ряд призраков. Рубаки XVI века шли мимо него под руку со своими красавицами. Шопен умел делать на рояле вещи, для рояля невозможные в принципе. Мы под руководством Витольда Юрьевича заставили музыку Шопена звучать так, как звучала она для автора. Вы услышали?

Зал ахнул.

— Ага, значит, и увидели. Слушайте еще.

Музыка стала тревожной, потом испуганной, потом стало страшно нам. Я схватила за руку своего спутника и почувствовала, что он тоже дрожит.

Музыка несла к нам древний ужас человека, окруженного всеми опасностями мира. Я зажмурилась. И тут почувствовала на плече чью-то твердую руку. Взглянула: Витя!

— Толку что? — спросил он меня.— Всех пугаю, только самому не страшно. Как там Николай? Очень по нему скучаю. До свиданья.

В этот вечер нас еще пугали и еще радовали, но прежней полноты ощущения страха и радости уже не было. Я думала о нем. И когда еще через год я увидела в «Вечерней Москве» короткое сообщение, что состоялся семинар на тему: «Музыка и научное творчество», я знала, кто был на нем докладчиком. И статья «Скрипка для Эйнштейна», появившаяся в «Комсомольской правде» через два дня (сегодня утром), не была для меня неожиданностью.

«Скрипка! Задумывались ли вы, почему она продолжает существовать как солистка рядом с полнозвучным роялем и мощным органом? Почему из всех музыкантов в легенды чаще всего попадают скрипачи? Почему именно скрипачом был Паганини? Почему, наконец, или, вернее, зачем играл на скрипке Эйнштейн?

Скрипка не знает власти клавишей, планок, педалей! Ее мелодия свободна. Чистый строй такой же родной для

нее, как и темперированный, который единственно признает почти вся современная музыка, от оперы до джаза. Обо всем этом напомнил нашему корреспонденту доктор физико-математических наук В. Ю. Коржиков.

Мы знаем, продолжал он, несколько музык, построенных на разных ладах, в разной степени отклоняющихся от естественного строя. Но это — только ничтожная часть всех в принципе возможных музык!

Европейский музыкальный строй сложился недавно, под сильным влиянием созданных в XVII—XVIII веках новых клавишных инструментов. Музыка зависит от них, как архитектура зависит от материала.

Но кто поручится, что самые красивые и единственно красивые здания можно строить только из дерева?

Скрипка тем и сильна, что она властна не только сохранять размер квинт или укорачивать их, но может и удлинять. Скрипка существует одновременно как бы в разных музыкальных мирах. В этом, как выяснили недавние исследования, секрет игры Паганини. Музыка, темперированная по-новому, несколько иначе действует на людей. В частности, она, по-видимому, в большой степени интенсифицирует творческие процессы.

Дело в том еще, что новая музыка, как и старая, может служить средством моделирования. И когда Эйнштейн играл на скрипке, в ритмах и мелодиях его импровизаций проявлялись свойства времени и пространства. Можно выражать эти свойства линиями графиков, можно — уравнениями, можно и музыкой».

Мне он даже не похвастался! Но теперь позвонит. Не может не позвонить.

— Юля?

— Прости, Тамара, я жду важного звонка.

Он позвонил уже вечером. И у двери, а не по телефону.

Как похудел! И сутулится. Пиджак помят.

— Уйдем отсюда,— сказал он.— С Колей мне говорить не хочется. Пойдем.

— Когда ты ел?

— Это неважно.

— Что ты ел?

— Какое это имеет значение? Пойдем.

— Сначала я тебя накормлю. Пойдем в мою комнату. А Николая я предупрежу, что ты плохо себя чувствуешь.

Коля только поднял брови, услышав, как я извиняюсь перед ним от имени его лучшего друга. И снова уткнулся в книгу.

Витя пил чай.

— Как ты похудел,— вырвалось у меня.

— Если бы только это...

— А что еще? — я спросила весело. Даже игривым немного тоном. Но чувствовала, что с трудом заставляю губы шевелиться. Вот сейчас он скажет что-нибудь о несчастной любви... и о любви не ко мне.

— Измучился я.

— Конечно, ты ведь столько сделал.

— Откуда?.. А, вон у тебя «Комсомолка»... Великое дело.— Он чуть приободрился.— Академик Щербатов меня прилюдно целовал. Доктора дали без защиты. Творческую отдачу, говорят, утроить можно.— Витя чуть приподнял уголки губ в подобии улыбки.— Рады. Завидую.

Но это было уже не то задорное «завидую».

Я возмутилась. Заставила себя возмутиться, потому что из всех возможных чувств испытывала сейчас только жалость.

— Ты столько сделал — и ноешь! Перетрудился? Так бери путевку в санаторий.

— Санаторий! Мне бы в лесную сторожку. Транзистор разобью. Репродуктор, если есть, выкину. Знала бы ты, как мне надоела музыка! — он запнулся, нахмурился, глотнул воздуха и спросил:

— Мы поженимся?

— Да.

— Хорошо... Прости, но вот уже два года я слушаю музыку. Утром и вечером, днем и ночью. Я объелся, сыт по горло. Я задохнулся под тяжестью мелодий. Помнишь миф о Мидасе? Он все превращал в золото. Даже хлеб. Даже воду. Со мной — то же. Только все превращается в музыку, а она для меня несъедобна. Завидую? Завидую. Как никогда и ничему. Я всех уговаривал, что их обобрали. А обобран-то я. Чистая музыка, искаженная музыка, исправленная музыка, а мне все равно.

— Но ведь ты столько сделал!

— А! То, что возможно много музык, видели до меня сотни людей. Яблоня уже сама роняла зрелые яблоки. Другое дело, что со времен Пифагора никому в голову не приходило заняться изучением полезности музыки. Первый же математик должен был снять урожай. Смот-

рели на иероглифы, радовались их красоте, читать не умели. И даже не подозревали, что иероглифы можно читать. Идиоты. Идиоты с музыкальным слухом. Миллионеры-скупердяи.

— Ты стал сварлив.

— А! Пустяки. Просто у меня даже от слова «музыка» судороги начинаются.

— Ну, и хватит, милый,— я взяла его за руку,— хватит с тебя музыки. Я никогда не потребую...

— Ты? А я?

Нет, у него испортился характер. И раньше он мог перебить меня, но не так резко.

— Отвернулась? Обиделась? Мне надо обижаться. Вспомни, как ты переживала за музыку, когда я сказал, что могу ее уничтожить. И за себя ведь переживала, да?

Я кивнула.

— Ну вот, а за меня не боишься. Я без музыки. Я ее не люблю. Тебе это все равно? Вот когда я по-настоящему завидую, Юлька.

Телефонный звонок в коридоре. Потом в дверь просунулось смущенное лицо Николая.

— Разыскали тебя, Витька. Не хотел звать, сказали: «Сверхсрочно».

Я вышла за ним в коридор. Слишком недавно Витя вернулся, чтобы оставлять его без присмотра.

— Да. Слушаю. Да. Не может быть!!! — Витя кричал так, что я сжалась, притиснувшись к стене.

— Резонанс, вы думаете? Но ведь сами структуры слишком различны... Статистика дает какие-нибудь результаты?.. Конечно, приеду. Но... завтра.

Трубка упала на рычаг. Он повернул ко мне преображенное восторгом лицо.

— Скалкин считает, что в случае с полонезом Шопена проявляется какой-то эффект, связанный с переносом энергии во времени. Он сейчас терзает на этот предмет «Синий джаз». Я ж говорю — прикосновение Мидаса. Но здорово закрутил старик Скалкин! Это главное.

— Ладно. Главное, что ты здесь.

Он засмеялся. Почти так, как два года назад. Быстро меняется у него настроение. Трудно с ним будет.

Николай снова вышел в переднюю — на Витин смех.

— Значит, родственниками будем, Витя?

— Кажется, да.

— Только кажется? Тут знаешь какая слышимость? Я все про тебя знаю. Мне в семье музыкально глухие не нужны.

— Шутишь?! — зло спросил Витольд.

— Что ты! Как бы я посмел. Вон Юлька тебе сказала то же, что я, так ты науку и искусство вверх дном перевернул. И на меня с кулаками готов наброситься. А между тем у меня есть для вас подарок.

Николай достал из кармана блокнот:

— Здесь копия программы, по которой обучает детишек профессор Микульский. Насколько я знаю, за пятнадцать лет ему почему-то ни одного музыкально глухого не встретилось. Так что, сестричка, дело только за тобой.

— Но ведь Микульский начинает работать с пятилетними...

— А сколько лет ты дашь этому доктору наук? В музыке-то он, во всяком случае, разбирается не больше пятилетнего.

— Коль, ты и в правду считаешь, что я смогу?

— Зря я, что ли, хожу к этому Микульскому? Сможешь. Начнешь с одного музыкального строя, с обычного, а там, глядишь, и другие поймешь, открыватель. Только поработать придется. И тебе и Юльке. Пошли в комнату. Ну-ка, сестричка, к пианино. Открой блокнот. С чего там начинается? Действуй, а мы с Витенькой поучимся, послушаем.

Я опустила пальцы на клавиши. И они запели:

— Чижик-пыжик, где ты был?

И. ВАРШАВСКИЙ

Сюжет для романа

Я был по-настоящему счастлив. Тот, кто пережил длительную и тяжелую болезнь и наконец почувствовал себя вновь здоровым, наверное, поймет мое состояние. Меня радовало все — и то, что мне не дали инвалидности, а предоставили на работе длительный отпуск для окончания диссертации, которую я начал писать задолго до болезни, и то, что впереди отдых в санатории, избавляющий от необходимости думать сейчас над этой диссертацией, и комфорт двухместного купе, и то, что моим попутчиком оказался симпатичный паренек, а не какая-нибудь капризная бабенка. Кроме того, меня провожала очаровательная женщина, которую я горячо и искренне любил. Мне льстило, что она, такая красивая, не обращая внимания на восхищенные взгляды пассажиров, держит меня за руку, как девочка, боящаяся потерять в толпе отца.

— А вы далеко едете? — обратилась она к моему попутчику.

— До Кисловодска.

— Вот как? Значит, вместе до самого конца.— Она пустила в ход свою улыбку, перед которой не мог устоять ни один мужчина.— Тогда у меня к вам просьба: присмотрите за моим... мужем.— Она впервые за все время, что мы были с ней близки, употребила это слово, и меня поразило, как просто и естественно оно прозвучало у нее.— Он еще не вполне оправился от болезни,— добавила она.

— Не беспокойтесь! — мой попутчик тоже улыбнулся.— Я ведь почти врач.

— Что значит «почти»?

— Значит, не Гиппократ и не Авиценна.

— Студент?

— Пожалуй... Вечный студент с дипломом врача.— Он вышел в коридор и деликатно прикрыл за собой дверь, чтобы не мешать нам.

— Вероятно, какой-нибудь аспирант,— шепнула она.

Я люблю уезжать днем. Люблю постепенно входить в ритм движения, присматриваться к попутчикам, раскладывать не торопясь вещи, обживать купе.

Все было так, как я люблю, к тому же, повторяю, я был вполне счастлив, но почему-то мною владело какое-то странное беспокойство, возбуждение. Я сам это чувствовал, но ничего не мог с собой поделать. Я то вскакивал и выходил в коридор, то, возвращаясь в купе, начинал без толку перебирать вещи в чемодане, то брался читать, но через минуту отбрасывал журнал, чтобы опять выйти в коридор.

Не знаю почему, но в дороге многие люди готовы открыть свои сокровенные тайны первому встречному. Может быть, это атавистическое чувство, сохранившееся еще с тех времен, когда любое путешествие таило опасности и каждый попутчик был другом и соратником, а может, просто дело в том, что у всякого человека существует потребность излить перед кем-то душу, и случайный знакомый, с которым ты наверняка никогда не встретишься, больше всего для этого подходит.

Между тем пришло время обедать, и мой сосед по купе предложил пойти в вагон-ресторан.

Вот тут-то, за обедом, я начал без удержу болтать. Уже мы давно пообедали, официант демонстративно сменил скатерть на столике, а я все говорил и говорил.

Мой компаньон оказался идеальным слушателем. Вся его по-мальчишески угловатая фигура, зеленоватые глаза с выгоревшими ресницами и даже руки, удивительно выразительные руки с тонкими, длинными пальцами, казались олицетворением напряженного внимания. Он не задавал никаких вопросов, просто сидел и слушал.

В общем, я рассказал ему все, что было результатом долгих раздумий в бессонные ночи. О том, что в тридцать пять лет я почувствовал отвращение к своей профессии и понял, что мое истинное призвание — быть писателем, рассказал о пробах пера и постигших неудачах, о новых замыслах и о том, что этот отдых в санатории должен многое решить. Либо я напишу задуманную повесть, либо навсегда оставлю всякие попытки. Я даже рассказал ему сюжет этой повести. Непонятно, отчего меня вдруг так прорвало. Ведь все это было моей тайной, которую я не поверял даже любимой женщине. Слишком много сомнений меня одолевало, чтобы посвящать ее в свои планы. Впрочем, все это не так. Сомнение было всего одно: я не знал, есть ли у меня талант, и стыдился быть в ее глазах неудачником. Разочарование, если оно меня постигнет, я

должен был пережить один. Кстати, это все я ему тоже высказал.

Наконец я выговорился, и мы вернулись в купе. Тут у меня наступила реакция. Мне было стыдно своей болтливости, обидно, что совершенно постороннему человеку доверил мысли, совсем еще не оформившиеся, и предстал перед ним в роли фанфарона и глупца.

Он заметил мое состояние и спросил:

— Вы жалеете, что обо всем этом рассказали?

— Конечно! — горько ответил я.— Разболтался, как мальчишка! Видимо, мне свойственна эта черта. Не помню, кто сказал, что писателем может быть каждый, если ему не мешает недостаток слов или, наоборот, их обилие. Боюсь, что многословие — мой основной порок. Сюжеты у меня ерундовые, на короткий рассказ, а стоит сесть писать, как я настолько запутываюсь в несущественных деталях, что все превращается в тягучую жвачку из слов. Вот и сейчас...

Он вынул из кармана какую-то коробочку.

— Я обещал вашей жене... Словом, примите таблетку. Как раз то, что вам сейчас нужно.

— Но откуда вам известно, что мне сейчас нужно?

— Ну, иначе я был бы плохим психиатром.

— Ах, так вы психиатр?

— Отчасти.

У меня немного закружилась голова. Вагон приятно покачивало, и от всего этого я чувствовал удивительную успокоенность.

— Что значит «отчасти»? — лениво спросил я.— Давеча вы сказали, что почти врач, сейчас — отчасти психиатр. А если точнее?

— Точнее, психофизиолог.

— Что это такое?

— В двух словах рассказать это трудно, а вдаваться в подробности вряд ли есть смысл. Постараюсь ограничиться примитивным примером. Вот вы сейчас приняли таблетку, и ваше психическое состояние как-то изменилось. Верно?

— Верно.

— Это искусственно вызванное изменение. Однако в человеческом организме имеются внутренние факторы, воздействующие на психику, например, гормоны. Гормональной деятельностью управляет вегетативная нервная система. Существует множество прямых и обратных свя-

зей между мозгом и всем организмом. Это некое целое, которое следует рассматривать только в совокупности. Словом, психофизиология — наука, изучающая влияние состояния организма на психику и психики на организм.

— Вот, к примеру, желчный характер,— сказал я,— это, видимо, не случайное выражение? Вероятно, когда разливается желчь...

— Конечно! Хотя все обстоит гораздо сложнее. Иногда бывает трудно отделить причину от следствия. То, что принято считать следствием, часто оказывается причиной, и наоборот. Тут еще непочатый край работы, и работы очень интересной.

Он задумался.

Я глядел в окно. Чувствовалось, что мы ехали на юг. Вместо подлесков с кое-где сохранившимся снегом пошли зеленеющие поля. И земля, и небо, и солнце были уже какими-то другими.

— А ведь я мог бы помочь вам,— неожиданно сказал мой попутчик.— У меня есть занятный сюжет для романа. События, которые можно положить в основу, произошли на самом деле. Это не выдумка, хотя многое выглядит просто фантастично. Хотите, расскажу?

— Конечно! — ответил я.— С удовольствием послушаю, хотя, по правде сказать, не уверен, что смогу даже из самого лучшего сюжета...

— Это уж ваше дело,— перебил он.— Я только должен предупредить, что есть такое понятие, как врачебная этика. Поэтому кое о чем я должен умолчать. В частности, никаких имен. Вам придется их придумывать самому, а в остальном... Впрочем, слушайте.

Вся эта история начинается в клинике известного ученого. Будем его называть просто профессором. Вам придется дать ему какую-то характеристику. Только, пожалуйста, не делайте из него ни сусального героя, ни маньяка из фантастического романа. Это очень сложный и противоречивый характер. Великолепный хирург. Ученый с широким кругозором. Вместе с тем человек болезненно честолюбивый и упрямый, к тому же знающий себе цену. Внимательный и отзывчивый по отношению к больным, но часто неоправданно грубый с подчиненными. Если хотите, можете по своему усмотрению наделить его еще какими-то качествами, это уже несущественно.

Можете также написать, что его работы по преодоле-

нию барьера биологической несовместимости тканей при трансплантации органов вывели клинику, которой он руководит, на новый и очень перспективный путь.

Дальше вам придется представить себе отделение трансплантации в этой клинике. От вас не требуется знания техники дела, но нужно почувствовать особую атмосферу, царящую там. Постоянное напряженное ожидание. Большой коллектив врачей самых разнообразных специальностей всегда в состоянии полной готовности. Никто не знает, когда это может случиться. Может, через час, а может, через месяц. Не думайте только, что все они обречены на безделье, параллельно идет большая работа в лаборатории. Проводится множество опытов на животных. Каждый опыт рождает новые планы, надежды и, конечно, разочарования.

Профессор напролом идет к поставленной цели — трансплантация мозга. Уже проделаны десятки опытов на крысах и собаках. Однако все делается не так быстро, как может показаться. Проходят годы. Наконец — решающий эксперимент. Мартышка с пересаженным мозгом живет и здравствует. Возникает вопрос: что же дальше? Наука не может останавливаться на полпути. Будет ли такая операция проделана на человеке? Вы, наверное, знаете, настороженное отношение к трансплантации вообще, а тут ведь речь идет об эксперименте, связанном с новыми моральными и этическими проблемами. Профессор атакует одну инстанцию за другой, но никто не говорит ни «да», ни «нет». Все стараются под всякими благовидными предлогами уйти от решения этого вопроса. Словом, нет ни формального запрещения, ни официального разрешения.

Между тем время идет, клиника успешно производит пересадки почек, сердца и легких, продолжается работа и в лаборатории над главной темой, но все дальнейшее остается неясным.

Это, так сказать, прелюдия.

И вот однажды «скорая помощь» почти одновременно доставляет двух человек. Оба в бессознательном состоянии, оба подобраны на улице. Первый — безо всяких документов. Не известен ни возраст, ни фамилия, ни адрес, ни профессия. Диагноз — обширный инфаркт легких. Положение практически безнадежное. Второй — преподаватель вуза, тридцати трех лет, холост — жертва несчастного случая. Открытая травма черепа с ранением мозга и

глубоким кровоизлиянием. Тоже не жилец. Поражены участки, ответственные за жизненно важные функции. Оба лежат на реанимационных столах, два живых трупа, в которых поддерживается некое подобие жизни за счет искусственного кровообращения и дыхания. Однако если второй — безусловный кандидат в морг, то первого можно попытаться спасти. Пересадка легких от второго. Такое решение принимает профессор.

Все готово к операции, но начать ее нельзя. Вы не представляете, какими ограничениями связан в этих случаях врач.

Во-первых, на такую операцию нужно согласие больного либо его родственников и уж, во всяком случае, согласие родственников донора.

Во-вторых, пересаживаемые органы можно взять только у мертвого и пока в теле донора теплится хоть какое-то подобие жизни, врач обязан принимать все меры к ее поддержанию. За это время другой может умереть.

В-третьих... Впрочем, что там «в-третьих»! Можно без конца перечислять всяческие проблемы, с которыми сталкивается в это время хирург, но самая гнусная из них — это напряженное ожидание смерти больного. Остановка сердца, клиническая смерть, высокочастотные разряды в область миокарда, снова чуть заметные пульсации, опять остановка, на этот раз разряды не помогают. Остается последнее средство: вскрытие грудной клетки и массаж сердца. Эта последняя мера дает результаты, хотя совершенно ясно, что ненадолго. Однако тут выясняется одна подробность, которая все сводит на нет. У второго туберкулезные каверны в легких.

Есть много людей, больных туберкулезом и не подозревающих об этом. Их организм выработал какие-то средства поддержания болезни в равновесии, так что она не прогрессирует. Но ни один врач не решится пересадить пораженный туберкулезом орган другому человеку.

В общем, можно было снимать перчатки и отправлять в морг два трупа.

Я не зря обратил ваше внимание на особенности характера этого... профессора. Без них не понять того, что произошло дальше.

Мгновенно было принято другое решение: пересадка мозга тому, второму. При этом, заметьте, без соблюдения

всяких формальностей. Звонить в Москву и добиваться разрешения уже было некогда. По правде сказать, даже нет уверенности, что тут были соблюдены те нормы, о которых я уже упоминал.

— На что же он рассчитывал? — спросил я.

— Трудно сказать. Прежде всего, конечно, на успех. Люди такого склада, когда их обуревает какая-то идея, просто не желают считаться с возможностью неудачи. В таком деле всегда кто-то должен быть первым и взять весь риск на себя. Кроме того, он, видимо, справедливо полагал, что лучше один труп, чем два. А вообще, он, думается мне, действовал скорее импульсивно, чем рассудочно. Уж больно мало времени оставалось для всяких рассуждений.

Вы можете воздержаться от описания самой операции. Дело это до крайности тонкое, растягивается на несколько этапов и для непосвященного читателя вряд ли может представлять интерес. Да и вы наверняка наврали бы с три короба. Для писателя гораздо важнее психологические коллизии, а их тут хоть отбавляй!

Итак, операция сделана. На следующее утро жена донора разыскала следы через справочную «скорой помощи» и опознала его в морге. Ей сказали, что он умер от инфаркта легких, что, конечно, соответствовало действительности. В остальные подробности ее не посвятили. Это было бы для нее слишком сильным ударом. Он оказался журналистом двадцати пяти лет от роду. Прожили они вместе всего год и очень любили друг друга. Поверьте, что самое трудное в нелегкой профессии врача — разговаривать с близкими умершего пациента. Даже если он сделал все, что в его силах, все равно остается чувство, что ты в чем-то виноват. Поэтому простим профессору, что он не стал с ней говорить сам, а послал своего ассистента. И самые смелые люди иногда проявляют малодушие. Кроме того, не нужно забывать, что оставался еще тот, второй, за которого профессор нес ответственность не только перед обществом, но и перед своей совестью. Тут поводов для беспокойства было более чем достаточно.

Что, собственно говоря, было известно из предыдущих опытов? Что у животных с пересаженным мозгом сравнительно быстро восстанавливаются двигательные функции, чувство равновесия, что большинство условных рефлексов, выработанных у донора, исчезают после пересадки, но восстанавливаются быстрее, чем вырабатываются у экземпля-

ров контрольной группы, что особи с пересаженным мозгом вполне жизнеспособны. Вот, пожалуй, и все. Вряд ли этого достаточно, чтобы прогнозировать поведение человека после такой операции. Тут есть очень много факторов, которые на животных не проверишь. Что остается в памяти, а что полностью стирается? Что надолго, а может быть, навсегда вытесняется в подсознание? Наконец, даже речь. Ведь она тоже результат обучения. Характер. Я уж говорил, что деятельность мозга невозможно рассматривать в отрыве от организма в целом. Неисчислимое количество путей взаимодействия, большинство которых остается еще загадкой. Словом, человека с пересаженным мозгом нельзя считать неким симбиозом чьей-то индивидуальности с другим телом. Это совершенно новый индивид. Как видите, сомнений больше, чем уверенности.

Однако операция сделана. В постели — человек. Он дышит, реагирует на свет, глотает жидкую пищу, у него работают кишечник, почки, и... ничего больше. Идут недели, месяцы, его учат ходить. Он даже выучивает несколько слов. Что же дальше? Дальше —одна надежда, что поможет время. Время идет. Он делает кое-какие успехи. С трудом, но разговаривает. Учится читать. Прошлое свое не помнит. Проходит год. Он свободно разговаривает, читает, пишет. У него появляется интерес к окружающей обстановке. Восстанавливается все, кроме памяти о прошлом. Все попытки ее пробудить остаются безрезультатными. Ему объясняют, что он перенес тяжелую травму мозга, вызвавшую полную амнезию. Он это понимает. Проходит еще какое-то время, и больничная обстановка начинает его тяготить.

Возникает вопрос: что с ним делать? По документам он преподаватель вуза, но сами понимаете, что ни о какой профессиональной пригодности в этой области не может быть и речи. От журналиста в нем тоже ничего не осталось. Учиться заново? Об этом еще рано говорить. Перевести на инвалидность — сами понимаете, что это значит для него. Кроме того, пришлось бы оборвать уникальный эксперимент в самой решающей фазе. Нужно дать ему возможность встречаться с людьми, ходить в театр, кино, держа его все время под неослабным наблюдением специалистов.

Я забыл упомянуть, что у этого преподавателя была возлюбленная. Узнав о несчастном случае и об операции,

она все время просила, чтобы ей разрешили его навещать. Обращалась даже в горздрав, но профессор категорически запретил всякие посещения. В то время, кроме вреда, это ничего бы не принесло. Однако теперь ситуация была иной. Ей разрешили свидание. Узнать ее он не мог, но появление нового человека из не доступного ему мира очень его обрадовало. Кроме того, она ему определенно понравилась. Это была красивая, обаятельная женщина.

Ей разрешили приходить каждый день. Они подолгу разговаривали. Она рассказывала ему о его прошлой жизни, и бедняге даже казалось, что он начал кое-что вспоминать.

В конце концов она попросила разрешения взять его к себе.

Профессор согласился на это.

Все складывалось неплохо. У нее не было никаких сомнений относительно того, что она берет к себе близкого человека, попавшего в беду. Материальных затруднений не предвиделось: у этого преподавателя были сбережения, а клиника имела возможность держать его на больничном листе неопределенно долгое время. Перемена же обстановки была просто необходима ему. Что же касается морального аспекта всей этой истории, то, как говорится, снявши голову, по волосам не плачут, тем более что оба они были, несомненно, счастливы. Оставалось только ждать, что будет дальше.

К сожалению, дальше все шло не очень ладно. То ли у него действительно начала пробуждаться память, то ли что-то из прошлой жизни журналиста было попросту вытеснено в подсознание, но так или иначе он стал уходить из дому и часами простаивал на лестнице возле квартиры, где этот журналист раньше жил. Его возлюбленная, естественно, встревожилась. Она даже обращалась за советом к профессору, но что он мог ей сказать? Видимо, надвигалось что-то неизбежное, и вряд ли можно было в этой ситуации что-либо изменить.

Наконец случилось неизбежное. Он встретил жену. Жену журналиста.

Я уже говорил, что они очень любили друг друга. Любовь! Сколько томов о ней написано, и все же как мало она изучена!..— Он вдруг прервал свой рассказ, и я, воспользовавшись паузой, решил задать ему вопрос.

— Откуда вам известна вся эта история? — спросил я.

— Я... — он запнулся. — Меня несколько раз приглашали на консультацию к этому больному. Так что, продолжать?

— Пожалуйста!

— Значит, так. Они встретились. На него это произвело ошеломляющее впечатление. Видимо, ее образ все же где-то хранился в глубинах памяти, и то, что он считал любовью с первого взгляда, было попросту подсознательной реакцией.

— А она?

— Что ж она? Для нее это был посторонний человек, видимо, не в ее вкусе, к тому же еще не изгладились воспоминания о погибшем муже, так что она на него просто не обратила никакого внимания. Он начал ее преследовать. Поджидал у проходной, у дома, заговаривал в метро, а если мужчина очень настойчив, то рано или поздно... Словом, все шло по извечным и непреложным законам. Не судите ее строго. Совсем еще молодая женщина, остро переживающая одиночество. Кроме того, ей казалось, что в этом назойливом поклоннике есть что-то от человека, которого она любила. Конечно, не внешность. Характер, манера говорить, десятки мелочей, из которых складываются индивидуальные черты.

— Но ведь была еще та, которая взяла его из клиники, он что, ушел от нее? — спросил я.

— В том-то и дело, что нет. Ее он тоже любил. Как женщина она ему даже больше нравилась. Здесь в описании их отношений от вас потребуется большой такт. Нужно понять его психологию. Это не вульгарный любовный треугольник. Это... трудно объяснить... Точно так же как в нем было два человека, так и они обе... Нет, не то! Скорее — одна женщина в двух ипостасях — духовной и телесной. Вот именно! Обе они слились для него в единый образ, расчленить который было уже невозможно. Может быть, специалист уловил бы тут начало психического заболевания, но разве множество литературных героев, строго говоря, психически здоровы? Рогожин, Мышкин, Настасья Филипповна, Раскольников, Карамазовы... Уфф!

Он вытащил свою коробочку и отправил в рот таблетку. Выглядел он скверно, глаза блуждали, лоб покрылся потом. Кажется, нам с ним предстояло поменяться ролями.

Не хватало только, чтобы теперь я его успокаивал. Однако вся эта история интересовала меня все больше и больше. Я начал кое о чем догадываться.

— Скажите,— спросил я,— этот второй, преподаватель, он что преподавал?

— Какое это имеет значение?! Пусть хоть физиологию. Я ведь вам излагаю сюжет, а не...

— Продолжайте! — сказал я. — Сюжет действительно занятный.

— Хорошо! Значит, эти две женщины. Ни та, ни другая с таким положением мириться не желала. Обе они были молоды, хороши собой и по-женски самолюбивы. Каждая считала его своим. Разыгрывался последний акт трагедии, в которой главные участники не знали своей истинной роли. Я не зря упомянул о начале психического заболевания. У мозга есть защитные реакции. Когда ситуация становится невыносимой, человек часто уходит в вымышленный мир, реальность подменяется бредом. У специалистов это носит специальное название, но вы можете пользоваться термином «умопомешательство». Особый вид, когда человек представляется себе кем-то другим. Итак, в финале вашего романа не исключена психиатрическая лечебница.

— Невеселый финал,— сказал я.— Признаться, я ожидал другого, а не пожизненного заключения в сумасшедшем доме.

— Почему пожизненного? — возразил он.— У медицины есть достаточный арсенал средств лечения таких болезней. Вылечить всегда можно, нужно только устранить причину, а это самое трудное. Можно, конечно, на время убрать больного из конфликтной обстановки, но сами понимаете, что в данном случае — это всего лишь временная мера. Рано или поздно они снова встретятся, и все начнется сначала. Есть более радикальный метод — рассказать больному правду, чтобы он знал причину заболевания, как бы посмотрел на себя со стороны. Может быть, даже сам поведал потом об этом кому-нибудь... Однако тут накурено! Извините... больше не могу. Пойду в коридор...

И как я мог не вспомнить раньше, что эту мальчишескую фигуру, облаченную в белый халат, и внимательные зеленоватые глаза с выгоревшими ресницами я видел над своим изголовьем в клинике, когда меня учили говорить, и потом сквозь пелену бреда...

Многое становилось мне ясным, многое. И то, что начатая диссертация казалась китайской грамотой и обуревавшее стремление писать.

Впрочем, теперь все это уже отходило на второй план. Важно было, что та женщина по праву назвала меня своим мужем.

Все остальное не имело значения, даже три месяца, которые мне предстояло провести в туберкулезном санатории.

Н. РАЗГОВОРОВ

Четыре четырки

Я люблю дерево, отполированное прикосновением рук, ступеньки лестниц, истертые шагами людей...

Фредерик Жолио-Кюри.
Размышления о человеческой ценности науки, 1957 г.

Как трудно изобретать подарки

В ту ночь доктор Бер засиделся в своей лаборатории гораздо дольше обычного. Его мучила проблема, над которой раз в год приходилось ломать голову каждому женатому жителю Марса. Завтра день рождения его жены, а он еще так и не решил, какой преподнести ей подарок. В прошлом году он подарил ей готовальню. И жена осталась очень довольна. Разумеется, это была не обыкновенная готовальня. Каждый инструмент в ней доктор сам покрыл никелем, полученным буквально из всех уголков Галактики. Задумав сделать этот подарок, доктор, долгое время исследуя метеориты, тщательно собирал и сортировал никель. Он завел целую коллекцию банок, на каждой из которых была соответствующая этикетка: «Никель из метеорита № 67, район планеты Оро», «Никель из созвездия Диф», «Никель из туманности Асиниды». Всего у доктора накопилось двадцать два различных никеля. Конечно, все они ничем не отличались друг от друга, никаким физическим или химическим анализом нельзя было бы отличить их от обыкновенного марсианского никеля, но, что ни говорите, приятнее держать рейсфедер или циркуль, если знаешь, что покрывающий его металл проделал изрядный путь в космосе, прежде чем попал к тебе в руки. Можно было бы на этот раз подарить жене алюминиевый транспортир, сделав его из металла, добытого из огромного метеорита, который чуть было не позволил доктору побить рекорд академика Ара. Такого алюминия у доктора оказалось 80 килограммов, а потребовалось всего лишь три грамма для того, чтобы установить его абсолютное сходство с марсианским. Но доктор так часто говорил жене о

том, что не знает, куда девать этот алюминиевый порошок... Нет, лучше пустить его для каких-нибудь других целей... Решительно ничего не приходит в голову. Может быть, сделать все-таки транспортир, выгравировав на нем дату поимки метеорита.

Во всех своих делах и расчетах доктор неизменно обращался к помощи электронной вычислительной машины. Но здесь-то она не сможет ему помочь. Однако почему бы не посоветоваться с ней? Доктор взял обрывок перфорированной ленты и решил, что если счетчик покажет в ответе число, последняя цифра которого будет четная, то можно будет сделать транспортир, если же нечетная, то он просто подарит пойманный им недавно крошечный метеорит, на котором, если положить его под микроскоп, можно увидеть причудливый узор, чем-то напоминающий инициалы его жены. Кстати, он давно уже собирался показать ей этот камешек.

Счетная машина сработала мгновенно, но, увы, число оканчивалось нулем. Доктор с досадой посмотрел на своего электронного советчика, который так решительно предоставлял ему полагаться на самого себя.

Впрочем, доктор хорошо знал, что он все равно не послушался бы совета машины. Подарок, сделанный по чьему-либо совету, уже не подарок. Это известно каждому школьнику, выучившему первую страничку нормативной грамматики: «Все окружающее нас можно подразделить на одушевленное и неодушевленное, к одушевленному относимся мы и подарки. Подарком называется вещь, задуманная вами и сделанная вами для другого». Учение о подарках преподается с первого по восьмой класс и по количеству отведенных для него часов занимает третье место после математики и физики. Это очень трудный предмет, и доктору никогда не удавалось иметь по нему хорошей отметки. Ему приходилось даже посещать дополнительные занятия с отстающими учениками, многие из которых, впрочем, стали впоследствии крупными физиками и математиками, весьма уважаемыми учеными.

Доктор снял очки, провел рукой по лбу, облокотился о стол и твердо приказал себе не менее чем через пять минут принять какое-нибудь решение, так как дальше медлить было уже невозможно. Но решение пришло даже раньше. Очки?.. Ну конечно же, можно сделать прекрасные очки, взяв для этого стекло, которое он получил из метеорита М223. Разве не приятно смотреть сквозь стекла,

которые сами столько повидали на своем веку? Отличная мысль, а вот оправу действительно стоит изготовить из алюминия. Это будет вполне уместно. Все-таки не у каждого на счету имеется метеорит в четырнадцать тонн весом.

Завтра с утра он примется за стекла, а сейчас надо отправляться домой, уже совсем поздно. Доктор был у двери, когда из радиоприемника послышались резкие позывные, означавшие, что кто-то собирается передать не терпящее отлагательства сообщение. Только в таких чрезвычайных случаях ученые прибегали к метаволнам, автоматически включающим все радиоприемники на Марсе. Что могло произойти в такой поздний час? Доктор напряженно вслушивался.

«Внимание, внимание,— оглушающе громко донеслось из репродуктора,— говорит лаборатория 602, говорит лаборатория 602. Говорит академик Ар. Приступаю к вскрытию искусственного небесного тела, пойманного мной в квадрате 7764. Включены все микрофоны лаборатории, следите за моими передачами. Следите за моими передачами. Говорит академик Ар».

Доктор Бер бросился к радиопередаточной установке. Он пытался понять, что могло произойти. Искусственное небесное тело? Почему академик не подал сигнала сразу же, как он убедился в искусственном происхождении метеорита? Почему он решил доставить это тело именно в лабораторию 602? В лабораторию, расположенную на Фобосе? Почему он считает необходимым немедленно вскрыть искусственный метеорит? Почему он решил это сделать один, не призвав никого на помощь? И главное, почему он молчит?

Этот поток мыслей и неразрешимых вопросов, наконец, был прерван раздавшимся в приемнике голосом академика Ара. Академик говорил взволнованно и торжественно, но слова его были обращены не к тем, кто, затаив дыхание, слушал его на Марсе.

— Дорогой и глубокоуважаемый коллега,— говорил академик,— я счастлив от своего имени и от имени всех ученых и жителей планеты Марс сердечно приветствовать вас, первого гостя, прибывшего к нам из космоса. Я отдаю себе отчет в том, что посещение нашей планеты, быть может, не входило в ваши научные планы, которые оказались нарушенными по моей вине. Я приношу вам по этому поводу свои глубочайшие извинения. Я вижу, судя по той

тревоге, с которой вы осматриваете своды этой мрачной лаборатории, что прием, оказываемый вам на Марсе, не кажется вам радушным. Я позволю себе быть с вами совершенно откровенным и тогда, может быть, ваши недоумения и опасения рассеются. Мы, марсиане,— единственные живые существа, населяющие нашу планету. Однако древнейшие периоды нашей истории, полные жестоких войн, когда достижения науки нередко использовались для уничтожения жизни, заставили нас прийти к прискорбному выводу, что даже живые существа, во всем подобные друг другу, не сразу могут обрести язык мира и согласия. Удивит ли вас после этого, что я не мог не питать величайшей тревоги, когда у меня возникла мысль, что в вашем космическом корабле, перед техническим совершенством которого я преклоняюсь, возможно, есть живые существа? Вот почему мы с вами оказались здесь. Я еще не знаю, что вы скажете мне в ответ и смогу ли я также понять вашу речь, как вы понимаете мою, в чем меня убеждает внимание, с которым вы меня выслушали, но я прошу вас, дорогой коллега, верить, что я и все жители Марса, которые сейчас слушают нас, бесконечно рады вашему прибытию. Мы с волнением ждем вашего слова...

Но никакого слова не последовало. Вместо него вновь воцарилась тишина, повергнувшая доктора Бера в новый водоворот тревожнейших мыслей и сомнений, приобретавших самые кошмарные формы.

Представитель Меркурия не получает слова

Меркурий... Венера... Земля... Марс... Юпитер... Сатурн... Уран... Нептун... Плутон... Кто же выступит первый? Впрочем, порядок не имеет особенного значения. Пускай начинает Юпитер: он самый большой и толстый.

Старший научный сотрудник Музея необыкновенных метеоритов Кин еще раз лукаво посмотрел на нарисованные им забавные фигурки, каждая из которых изображала какую-нибудь планету, а все вместе они должны были представлять первое межпланетное совещание по упорядочению названий. Вопрос очень серьезный. Когда представители всех планет собрались для того, чтобы обсудить насущные задачи Солнечной системы, оказалось, что им очень трудно разговаривать между собой, так как все их имена перепутались.

Но тут вдруг выяснилось, что планета Венера во всех уголках Солнечной системы, хотя и на разных языках, но всегда называлась всеми планетой Любви. Это очень заинтересовало участников совещания. Они обрадовались такому замечательному совпадению, позволявшему предполагать, что произошло это не случайно, а потому, что у жителей всех планет общее представление о любви, а значит, в конце концов они смогут обо всем договориться. Решено было, чтобы каждый представитель объяснил, почему на его родине Венеру называют планетой Любви.

На этом месте написанной им истории Кин остановился, задумавшись, кому же первому предоставить слово. Сочинение таких историй очень увлекало Кина, хотя многие другие ученые считали, что такое времяпрепровождение несовместимо с научной работой... Итак, что же скажет представитель Юпитера?

— Мы, — начал забавный толстячок,— долго мучились, пытаясь разгадать, почему Венера светится ярче, чем все другие планеты, и даже в тринадцать раз ярче Сириуса. Мы определили, что она отражает половину падающего на нее солнечного света. Но почему? Вот загадка. Наконец, удалось установить, что этот свет отражают белые облака, густой пеленой окутывающие планету. И тогда мы назвали Венеру планетой Любви, ибо любовь тоже тем ярче, чем непроницаемее пелена тайны, которая ее покрывает.

— Прежде чем объяснить причины, по которым мы назвали Венеру планетой Любви,— сказал застенчивый плутонец,— я должен принести свои извинения представителю Меркурия. К сожалению, так как мы очень удалены от центра и находимся в глухой периферии, мы вообще не знали о существовании Меркурия и считали Венеру самой близкой спутницей Солнца. Как вы знаете, у нас довольно холодный климат, даже летом температура не поднимается выше абсолютного нуля. Наблюдая в сверхмощные телескопы Венеру, мы радовались тому, что она так близко расположена к центральному светилу, что ей так хорошо, тепло и светло. Не такое же чувство радости за любимое существо охватывает нас, когда мы видим, что оно счастливо и наслаждается жизнью? Может быть, это наше плутоническое представление о любви покажется кое-кому устаревшим и отсталым, но таковы уж мы, плутоники, живущие в суровых условиях и не избалованные

окружающей средой. Поэтому мы и назвали далекую планету, внушающую нам такие чувства, планетой Любви.

Кин перечитал все написанное, поправил несколько неудачных слов, хитро улыбнулся и стал придумывать, что же должны сказать о любви и другие представители и сама обворожительная обитательница Венеры. «Представитель Меркурия...» — начал писать он. Но в этот момент раздались резкие позывные сигналы по радио.

Первое сообщение академика Ара вывело Кина из себя. В гневе он стукнул кулаком по столу, так что содрогнулась вся Солнечная система; удар пришелся по листку, на котором был изображен представитель Меркурия. Стукни Кин с такой же силой по самому Меркурию, одной планетой в Солнечной системе стало бы меньше. Безобразие! До каких же пор это будет продолжаться, до каких пор будут попираться права, предоставленные Музею метеоритов необычайных форм?! Ни к каким физическим и химическим исследованиям нового метеорита не разрешается приступать, пока работники музея не снимут с него слепок, в точности воспроизводящий все особенности его поверхности, вплоть до самых мельчайших деталей! Что из того, что некоторым ученым снятие слепка кажется никому не нужной формальностью. Это невежды, не понимающие, какие великие тайны хранит поверхность материи... «Приступаю к вскрытию искусственного небесного тела...» Академику Ару, разумеется, не терпится изувечить и искалечить драгоценную находку, попавшую к нему в руки. Он наконец-то уверовал в то, что могут быть метеориты искусственного происхождения. А разве Кин не говорил этого тысячи раз, разве не доказывал он, что обширная коллекция музея располагает по крайней мере десятком метеоритов, на которых можно явственно различить отпечатки неведомых цивилизаций. «Игра воображения, фантазии, досужие домыслы» — вот что приходилось слышать всякий раз тем, кто посвятил свою жизнь кропотливому изучению поверхности камней. Посмотрим, что теперь скажет сам академик Ар. Какая игра воображения заставила его поднять на ноги всю планету?

Кин был в таком разгоряченном состоянии, что даже не сразу задумался над тем, к кому обращается академик Ар с приветственной речью. Но когда наконец до его сознания дошло, что искусственное небесное тело оказалось обитаемым, что на Марс прибыл представитель жиз-

ни с какой-то другой планеты, сотрудника Музея необыкновенных метеоритов охватило буйное ликование. Он ощутил такую необходимость поделиться с кем-нибудь своим восторгом, что стал говорить, тыча пальцем прямо в живот представителю Юпитера. «Вы понимаете, что теперь будет?! Теперь многое станет ясным. Мы узнаем, нет ли на планете, откуда прибыл наш уважаемый коллега, мощных действующих вулканов. Мы узнаем, не бывало ли случаев неожиданных грандиозных извержений, когда целые острова с находившимися на них каменными строениями уносило в космос? Мы попросим нашего почтеннейшего коллегу осмотреть коллекцию музея, и, быть может, он опознает некоторые из причудливых обломков, и тогда те, кто позволял себе потешаться над нами, будут посрамлены, а истина восторжествует!» Кин уже видел, как он вместе с обитателями другого мира идет по галереям музея, как охваченный любопытством гость склоняется над стендами, внимательно рассматривая каждый камень, и наконец...

— Я вижу, — донесся вновь из приемника голос академика Ара,— что наш уважаемый гость очень утомлен после своего необычайного путешествия. Я был бы счастлив, если бы вы приняли мое приглашение и согласились провести первые дни на Марсе в нашем академическом павильоне на Большом Сырте. Там, в обстановке полного покоя, вы сможете хорошо отдохнуть и собраться с силами. Нас встретят мои друзья — доктор Бер и маэстро Кин, общество которых, я надеюсь, будет вам приятно. Если вы не возражаете против моего приглашения, то мы можем сейчас же покинуть эту лабораторию. Прошу вас, мой вертолет к вашим услугам.

После короткой паузы, когда все слушавшие академика Ара напряженно ждали, не последует ли от него еще каких-нибудь сообщений, слово взял президент Академии.

— Уважаемые коллеги,— сказал он,— произошло событие чрезвычайной важности, все последствия которого нам трудно сейчас представить. Обстоятельства вынуждают меня быть кратким. Я считаю, что доктор Бер и маэстро Кин, если они не имеют обоснованных возражений, должны немедленно вылететь на Большой Сырт. Мне не известны причины, по которым академик Ар призвал на помощь именно их, но, очевидно, у него были на то свои веские соображения. Скудность фактической информации, полученной во время сообщений академика Ара, не дает

мне возможности реально оценить создавшуюся обстановку. Я могу лишь призвать участников экспедиции к величайшей бдительности. Прошу высказываться.

Радиоперекличка ученых Марса еще продолжалась, когда Бер и Кин были уже на Большом Сырте.

Магнитофонная запись первой беседы, состоявшейся между академиком Аром, доктором Бером и Кином

Академик Ар. Мои дорогие коллеги, я предложил вам воспользоваться тем, что наш гость крепко уснул, подняться наверх и произвести первый обмен мнениями. Я еще не имел возможности проинформировать вас и весь научный мир Марса обо всех событиях этой необычайной ночи. Я должен это сделать, так как для успеха нашей дальнейшей совместной работы нам необходимо знать все, а мои сообщения из лаборатории 602 в силу ряда обстоятельств, которые я и собираюсь изложить, не могли полностью ввести вас в курс происходившего.

Начну с фактической стороны. В 3 часа 15 минут 22 секунды радиомагнитный луч моего прожектора вошел в соприкосновение с метеоритом в квадрате 7764, пространственные координаты 29 и 648. По показаниям массметра, вес заабордажированного небесного тела равнялся 3,5 тонны. При включении контрлуча массметр отметил неожиданное резкое уменьшение веса метеорита до 120 килограммов. Вошедший в поле видимости метеорит поразил меня своим блеском и необычайностью форм.

Осмотр его на фиксационной площадке убедил меня, что это небесное тело искусственного происхождения, и зародил во мне мысль о том, что внутри него могут находиться живые существа, создатели межпланетного снаряда. Я решил немедленно проверить это предположение, учитывая, что пилоты могли нуждаться в экстренной помощи, так как программа их полета была резко нарушена моим невольным вмешательством. С другой стороны, по вполне понятным вам причинам я опасался произвести демонтаж снаряда на Марсе. Вот почему я отправился в лабораторию 602. После того как я разобрался в системе крепления наружного люка, я сделал свою первую передачу. Открыв люк, я увидел в кабине снаряда пилота-исследователя, который добровольно покинул летное помещение, не захватив с собой ничего, что могло бы напом-

нить средство обороны или нападения. Тем не менее в момент встречи с межпланетным пилотом я испытывал чувство величайшей тревоги и, лишь преодолев ее, смог обратиться к водителю снаряда с приветственной речью, которую вы все слышали.

С волнением я ожидал ответа, но пилот, не спускавший с меня глаз, оставался совершенно безмолвным. О возможных причинах этого молчания я позволю себе высказаться ниже. Сейчас же скажу, что, хотя внешний облик таинственного пришельца из космоса внушал мне опасения, в самом его поведении не было ничего, позволявшего предполагать дурные намерения.

Дальнейшее проявление какого-либо недоверия к нему могло бы иметь самые нежелательные последствия, и тогда я произнес свое заключительное обращение, которое вам известно. Слова «мой вертолет находится в вашем распоряжении» я сопроводил пригласительным жестом, и наш гость без какого-либо понуждения с моей стороны сам поднялся по откидной лесенке, ведущей в кабину. Во время перелета Фобос — Большой Сырт он вел себя очень спокойно, хотя по-прежнему не отвечал ни на какие мои вопросы. В 6 часов 30 минут, за 20 минут до посадки вертолета, пилот уснул. Я вынужден был вынести его из кабины на руках. Он, как вы знаете, не проснулся и после того, как мы перенесли его в отведенную для него часть павильона. Таковы вкратце происшедшие события.

Доктор Бер. Чем вы можете объяснить внезапное изменение показаний массметра при включении контрлуча?

Академик Ар. Это остается для меня загадкой. Однако я предполагаю, что контрлуч, возможно, благодаря радиотехническим совпадениям привел в действие разъединительные механизмы крупного космического корабля, распавшегося на части, одной из которых и является пойманный нами снаряд. В случае правильности этой гипотезы, согласно закону Леза, мы могли сохранить в сфере притяжения лишь частицу с наименьшей массой.

Кин. В чем вы видите основную цель работы нашей группы?

Академик Ар. Мы должны попытаться установить контакт с инопланетным коллегой, найти способы общения с ним, выяснить, чем мы можем быть ему полезны в создавшейся обстановке.

Кин. Вы говорили, что у вас есть особые соображения, позволяющие понять причины молчания пилота. Я думаю,

что мне, доктору Беру и всем слушающим нас было бы очень полезно познакомиться с этими соображениями.

Академик Ар. Сейчас я их изложу. Но я должен предупредить вас, что это пока не более чем рабочая гипотеза.

За те двадцать минут, которые я провел в кабине своего вертолета, глядя на моего уснувшего спутника, я продумал очень многое. Вот существо, думал я, которое преодолело миллионы километров в безднах космоса. Оно победило и подчинило себе стихийные силы природы, но потерпело неожиданную катастрофу, столкнувшись с силами разума, которые оказались более слепыми, чем сама стихия. Вас может удивить, что я говорю о катастрофе. Но она несомненно произошла, и я — невольная ее причина.

До того мгновения, когда вступил в действие луч, корабль шел по строго намеченному курсу. Его водитель был свободен, он наслаждался свободой, он был властелином космоса, и вот что-то неведомое, непостижимое, непокорное отнимает эту свободу и превращает укротителя стихий в игрушку обстоятельств. Для того чтобы ощутить это, не требовалось ни взрыва, ни грохота, ни стремительного падения — достаточно было загадочных перемен в показаниях приборов.

Межпланетный снаряд, покорный нашему разуму, покорный созданным нами силам, спокойно опустился на Марс. Но разум водителя корабля пережил в эти минуты катастрофическое падение с космических высот свободы, с космических высот познания. Мог ли он остаться невредимым?

Но во всяком случае, мы не должны терять надежды на то, что наш инопланетный коллега может оправиться от шока. Мне кажется, что он не утратил способности воспринимать обращенную к нему речь. При звуках голоса в его глазах всегда вспыхивает свет мысли и чувства. Мы окружим нашего гостя условиями, ни в чем не напоминающими ту обстановку, в которой произошла катастрофа. Мы изолируем его от всего, что хоть в какой-либо мере может напомнить научную лабораторию, подобную той кабине, в которой находился пилот во время полета. Никаких приборов.

Время и естественная среда — вот единственные союзники в той нелегкой борьбе, которую нам предстоит вести за возвращение нашему гостю дара речи.

Палка о двух концах

Доктор Бер рассматривал фотографии. Их нужно было выслать в редакцию академического бюллетеня. На столе лежало несколько снимков. Живой — так предложил академик Ар назвать космонавта — был сфотографирован во весь рост в профиль, анфас. Доктор внимательно изучал снимки. Это было нечто привычное — чертеж, схема, на которую можно смотреть часами, проникая во взаимоотношения частей и деталей. В обществе Живого доктор чувствовал себя связанным. Всякий раз, когда Живой неожиданно поворачивал голову в его сторону, как бы уловив пытливый взгляд ученого, доктору становилось не по себе. Ему казалось, что Живой упрекает его в бестактности: «Что вы рассматриваете меня, как какую-нибудь колбу? Будьте любезны спросить, хочу ли я, чтобы на меня смотрели...» А спрашивать Живого и вообще разговаривать с ним с такой непринужденностью, как это делал Кин, доктор никак не мог научиться. Он даже сказал както академику Ару, что сомневается, сможет ли принести какую-нибудь пользу в работе их научной группы. И не напрасно ли академик пригласил именно его. Какая связь между специальностью доктора — молекулярное строение метеоритных кристаллов — и теми задачами, которые стоят перед их экспедицией?

— В ваших работах,— ответил ему академик Ар,— меня всегда привлекала справедливость и точность выводов, которые вы делали, сопоставляя факты, на первый взгляд казавшиеся несопоставимыми, не имеющими никакого отношения к сфере проводимого вами исследования. Это как раз то, что сейчас нам очень нужно. Наблюдайте и сопоставляйте.

Но как сопоставлять наблюдения, которые нельзя фиксировать? Даже для того, чтобы сделать эти снимки, абсолютно необходимые для информации других ученых, пришлось выдержать борьбу с Кином, твердившим, что нельзя фотографировать Живого, поскольку фотоаппарат — это сложный механический прибор и вид его может усилить душевную травму космонавта. Академик Ар тоже склонялся на сторону Кина, и доктору Беру пришлось прибегнуть к сильному телеобъективу и снимать Живого с большого расстояния. Но так ли уж правы Ар и Кин, считая, что нужно оградить Живого от всего, даже отдаленно связанного с наукой, с приборами, с обстановкой,

окружавшей его в момент катастрофы? И какие же наблюдения без приборов? И где взять тогда материал для сопоставлений?

На вечернем совещании, когда трое ученых собрались в библиотеке, у Кина был радостный и взволнованный вид.

— Дорогие друзья! — начал академик Ар.— Приступим к работе. Закончился пятый день нашего пребывания на Большом Сырте. Он был отмечен весьма важным событием. Вы оба понимаете, что я говорю о палке. Необходимо, чтобы маэстро Кин во всех подробностях изложил нам ее историю, историю первого тесного и добровольного контакта Живого с окружающим его миром марсианской природы.

Кин откашлялся, быстро проглотил вечно торчавшую у него за щекой глюкозную таблетку — привычка Кина постоянно засовывать себе в рот эти таблетки ужасно раздражала доктора Бера,— провел рукой по своим всклокоченным волосам и, взглянув на часы, начал сообщение.

— Осуществляя программу послеобеденных наблюдений, я прогуливался с Живым в лощине, прилегающей к парку нашего павильона. Как всегда, Живой совершал массу движений, и мне никак не удавалось проследить, что побуждает его к такому постоянному и хаотическому перемещению. Поскольку вчера доктор Бер очень подробно охарактеризовал, сколь различно поведение Живого в закрытых помещениях и на природном ландшафте, я не буду на этом останавливаться. Скажу только, что кривая наблюдавшихся мной перемещений Живого ничем существенно не отличалась от той, которую начертил перед нами наш уважаемый коллега. Но внезапно Живой, за мгновение до этого скрывшийся в кустарнике, появился передо мной, держа вот эту палку.

Кин торжественно показал рукой на лежавший на столе обломок засохшей ветки.

— Это было столь неожиданно, что я оторопел. Но затем, заметив, что Живой очень пристально и как-то вопрошающе смотрит на меня, я подошел к нему и сказал: «Уважаемый коллега, разрешите мне посмотреть вашу находку». Живой очень любезно положил палку передо мной. Я взял ее в руки, отлично сознавая ее огромную научную ценность и не решаясь вернуть Живому, так как он мог бы унести палку назад в кусты, оставить ее там, и я ни за что бы не нашел ее среди хвороста, которого

так много в лощине. Я понимал, что нам дорога именно эта палка, первая среди тысячи других привлекшая внимание Живого. Вместе с тем я не решался оставить ее в своих руках, так как Живой смотрел на меня с выражением недоумения и даже сделал слабую попытку вновь завладеть своей находкой. Тогда, положив палку перед Живым, я постарался объяснить ему вкратце ее значение. «Отличная палка,— сказал я,— очень хорошая палка. Поздравляю вас, коллега, я очень рад, что, наконец, что-то понравилось вам у нас на Марсе. Это очень, очень хорошо. А теперь пойдемте домой, наши друзья уже ждут нас, они тоже будут рады познакомиться с вашей находкой, с вашей прекрасной, великолепной, отличной палкой». При этом я погладил палку рукой, желая этим жестом еще раз подчеркнуть ее значение.

Всю обратную дорогу Живой, держа палку, шел впереди меня. Его поведение резко изменилось. Хаотические метания из стороны в сторону прекратились, он никуда не сворачивал и лишь время от времени опускал свою находку, чтобы взять ее потом поудобнее. Когда мы вошли в павильон, Живой не отнес палку в комнату, а положил ее перед моей дверью, выражая всем своим видом, что он хочет мне ее подарить. Я сердечно поблагодарил его за такой подарок.

Кин умолчал о том, что, растроганный, он, со своей стороны, преподнес ответный подарок Живому: три глюкозные таблетки. Конечно, это нарушало режим питания. Но Кин не мог иначе выразить своих чувств. К тому же он сразу убедился в том, что Живой умеет хранить такие секреты в глубокой тайне.

После короткой паузы, во время которой все трое ученых сосредоточенно рассматривали палку, доктор Бер взял ее в руки, подержал на ладони и произнес несколько смущенным, но уверенным голосом:

— Я вижу в этом факте пока что только одно: Живой способен поднять кусок дерева весом около трехсот граммов и перенести его на расстояние приблизительно в восемьсот метров, иными словами, он способен совершить работу, равную примерно двумстам пятидесяти килограммометрам.

— И это все, что вы можете сказать по поводу палки? — запальчиво воскликнул Кин.

— Все,— хладнокровно ответил доктор.— Факты не позволяют мне сказать большего.

— Ну, тогда я вам скажу, что думаю об этом я. Я очевидец и, если хотите, соучастник всего происшедшего. Мы вступаем в область психологии. Так забудьте же ваши граммы, килограммы, метры, большие и малые калории. Забудьте о них, наблюдайте, наблюдайте глазами сердца! Когда я увидел эту принесенную Живым палку, я очень хорошо понял, что он мне хотел сказать. Он говорил: я нашел и принес вам в подарок то, что напомнило мне о моей родной планете; у нас тоже растут деревья, мы строим из них жилища, мы делаем из них столы, чертежные доски, книжные полки. Вот что он хотел сказать этим маленьким кусочком дерева.

Я вижу, вы улыбаетесь, но знайте, ваша скептическая улыбка не убьет во мне уверенности в том, что я с помощью этой палочки сумею узнать о Живом больше, чем вы со всеми вашими приборами и аппаратами. Эта палочка — знак доверия, может быть, единственный знак, который способен сейчас подать наш несчастный коллега, это отчетливый проблеск сознания и поиск общения, а вы собираетесь измерять его в граммах и сантиметрах. Стыдитесь, доктор, нельзя быть таким педантом!

Будь что будет

После бурного вечернего совещания академик Ар долго не мог уснуть. В конце концов ему удалось утихомирить своих разбушевавшихся коллег, но они так и не пришли к согласию. Вопрос о палке решено было обсудить еще раз. Сейчас, беспокойно ворочаясь с боку на бок, академик раздумывал над тем, как лучше провести новое совещание, на котором с первым докладом должен выступить он сам.

Академик пытался привести свои мысли в строгий порядок. Но внезапно, когда ему уже казалось, что он достиг какой-то системы, блеснувшая в его голове мысль опрокинула все предыдущие построения. Он встал с постели, зажег свет, накинул халат, прошел в ванную комнату и там, взяв в зубы пластмассовый чехол от зубной щетки, стал внимательно рассматривать себя в зеркале. Зажатый в зубах чехол придавал безобидному лицу академика непривычно злодейское выражение, глаза его лихорадочно блестели. Но в этом блеске было одновременно и что-то умиротворенное. «Дорогие коллеги»,— попытался проговорить академик, не вынимая чехла изо рта.

Говорить было очень трудно, почти невозможно, членораздельность явно утрачивалась. Изо рта академика вырывался лишь поток гортанных звуков, в котором сам ученый не узнавал произносимых слов. От напряжения на лбу выступили капельки пота. Ар вытер их полотенцем, вынул изо рта чехол и торжественно произнес, обращаясь к самому себе в зеркале: «Если это так, то тяжкий груз скоро падет с моих плеч!»

Вернувшись в свою комнату, академик сел за письменный стол, положил перед собой лист бумаги и взял карандаш. Крепко зажав неотточенный конец карандаша в зубах, он склонился над бумагой. Сначала буквы получались очень нечеткими и расплывчатыми, но постепенно они стали приобретать все более определенные очертания.

Свет еще долго горел в кабинете академика Ара. А когда он решил, наконец, снова лечь в постель, то от волнения опять не мог заснуть, но это было радостное волнение. Академику хотелось немедленно поделиться своими мыслями с Бером и Кином. Но он не решался будить их среди ночи. Напрасные опасения.

Доктор Бер, вернувшись с совещания, просидел за своим письменным столом еще дольше академика. Доктор был в очень дурном расположении духа. Все эти психологические способы изучения Живого казались ему по меньшей мере преждевременными. Нет, он будет придерживаться своей программы. Он хочет располагать хотя бы минимумом точных математических данных, и он их получит.

Доктор достал пачку фотографий и отобрал те, где Живой был снят во весь рост анфас и в профиль.

Ну что же, раз ему не дали взвесить Живого, то он по крайней мере хотя бы приблизительно узнает, в каких соотношениях находится вес отдельных частей его тела. Доктор взял фотографию и аккуратно вырезал Живого по всей извилистой линии профильного контура. Затем он положил вырезанную фигуру на лабораторные весы. Четыре грамма сорок шесть милиграммов. Отлично. А теперь... Крепко сжав Живого большим и указательным пальцем левой руки, доктор осторожно ввел его шею в раздвинутые лезвия ножниц. С секунду он поколебался, не следует ли взять немного правей, а потом решительно сдвинул ножничные кольца. Отделившаяся от туловища голова Живого упала на стол. Доктор Бер взял ее пинцетом и положил на чашу весов. Один грамм двадцать два милли-

грамма. Таким образом, можно предположить, что вес головы Живого относится к весу туловища примерно как один к четырем. Обычное соотношение веса головы жителя Марса к весу туловища один к семи. Сравнение явно в пользу инопланетного коллеги.

Доктор Бер положил в конверт части принесенной в жертву науке фотографии и задумался. «Наблюдайте и сопоставляйте»,— вспомнились ему слова академика Ара.

Доктор достал новые снимки и принялся их внимательно изучать, вооружившись циркулем, линейкой и транспортиром.

Вид спереди. И вид сбоку. Рассматривая их поочередно, Бер прежде всего обратил внимание на то, что голова Живого не только представляет собой высшую часть его тела, но и наиболее выдвинутую вперед. Этот факт как-то особенно подчеркивает подчиненность всех других органов голове. Вид сбоку убедительно свидетельствует о том, что все служебное и второстепенное решительно отодвинуто назад и имеет чисто подсобное значение. Вместе с тем, будучи отличным знатоком механики, Бер без труда определил, что при такой конструкции на передние конечности Живого должно приходиться не менее двух третей нагрузки от его общего веса. Примат переднего над задним совершенно очевиден.

Еще более поразительную картину представляет собой вид спереди. Бер порылся в записной книжке и достал свою собственную фотографию, где он был запечатлен рядом со своим четырнадцатитонным метеоритом. Голова Живого составляет одну треть от общей высоты его тела. Голова Бéра всего лишь одну восьмую. Это, конечно, не очень приятно, но нужно уметь смотреть в лицо фактам.

Таким образом, следует обратить особенное внимание на изучение головы. Первое, что бросается в глаза,— это расположение ушей. Они находятся непосредственно над префронтальной частью мозга и обращены прямо к собеседнику. Если провести прямую от ноздри Живого через зрачок его глаза, то она будет одновременно и биссектрисой угла, в вершине которого находится кончик уха. Такое расположение всех важнейших центров восприятия на одной оси может и должно способствовать чрезвычайной концентрации внимания. Бер соединил соответствующие точки на своей фотографии и получил тупой угол в 105°, с вершиной, приходящейся на зрачок. Не вытекает ли из этого, что марсианскому ученому требуется допол-

нительное умственное усилие, когда ему необходимо направить и зрение, и обоняние, и слух на один определенный предмет?

Но при всем своеобразии, оригинальности формы и расположения уши Живого все-таки не так примечательны, как его нос. Он — центральная и абсолютно доминирующая часть его лица; в сущности, все лицо Живого, исключая лобовой и глазной участок, это один разросшийся нос. Не следует ли в таком случае предположить?.. Доктор не знал, как точнее сформулировать свое предположение, но он чувствовал, что его выводы имеют далеко идущие последствия. Обоняние... Мир запахов... Вот где, судя по всему, может таиться разгадка Живого.

Бер вышел на балкон, чтобы немного подышать перед сном свежим воздухом. Дурное расположение духа сняло с него как рукой. Ощутив под ногами твердую почву фактов, доктор уже с улыбкой вспомнил недавнюю полемику с Кином. Он снисходительно посмотрел на темное окно соседа. Горячая голова, что-то ему сейчас снится?

Но Кин не спал. Всю ночь он не смыкал глаз, терзаемый самыми жестокими сомнениями, которые когда-либо выпадали на долю ученого. То, что он задумал сделать, было близко к попытке проверить закон всемирного тяготения прыжком из окна десятиэтажного здания. Но если бы у великого древнего мыслителя, открывшего этот закон, не было никакой другой возможности убедиться в истине, разве не прибегнул бы он к этому способу?

Четыре уравнения с пятью неизвестными

Профессор Ир, сидя за письменным столом, просматривал свежие академические бюллетени. Он никак не мог привыкнуть, что именно с этого начинается теперь его рабочий день. И хотя на дверях кабинета профессора висела табличка «Директор универсального академического издательства и универсальной единой библиотеки», это громкое название не доставляло ему никакого удовольствия. Он продолжал считать, что после всей этой раздутой истории с метеоритами с ним поступили несправедливо, отстранив его на три года от научных лабораторных изысканий и переведя на административную работу. Сколько было шума, когда выяснилось, что камни, которые профессор выдавал за метеориты, были просто собраны им в заброшенной каменоломне около Асидолийского

моря. Но как бы там ни было, с профессором поступили слишком жестоко. Никакой профанацией науки он не занимался, а если и нарушил второй пункт нового академического устава, так сделал это потому, что бедняге уж очень не везло на метеоритной ловле. Но устав есть устав, и в нем написано ясно и четко: «В связи с завершением работ по изучению материальной структуры Марса и во избежание топтания науки на месте Академия предлагает заниматься исследованием только тех видов материй, которые не встречаются на поверхности и в недрах нашей планеты».

В эти дни, когда внимание всех ученых Марса было приковано к экспедиции на Большом Сырте, профессор Ир особенно остро переживал свое опальное положение. Он не сомневался в том, что при других обстоятельствах академик Ар, несомненно, пригласил бы его в исследовательскую группу. Они много лет работали вместе, и академик весьма ценил неутомимую энергию профессора, сочетавшуюся с выдающимся талантом экспериментатора.

На новом месте профессору не к чему было по-настоящему приложить свои силы. Издательство и библиотека работали как хорошо налаженный механизм, без особенного вмешательства профессора.

Единственное, что он мог бы назвать собственно своим детищем, это задуманное им юбилейное издание трудов Рига, выдающегося ученого, основателя Академии. В этом году исполняется стотысячелетие со дня выхода в свет его фундаментальной работы «Кризисы и взлеты познания». К этой дате решено было издать новое академическое собрание сочинений Рига, снабдив его подробными комментариями, позволяющими, с одной стороны, оценить все своеобразие научной мысли Рига, с другой стороны, продемонстрировать, как далеко шагнула наука за минувшее стотысячелетие.

Сначала это представлялось профессору Иру делом не очень сложным, но неожиданно в работе над комментариями возникли серьезные затруднения, связанные с тем, что Риг жил и творил за два века до печально знаменитой четырехсотлетней войны, вошедшей в историю под названием «Физики против лириков». Поводом к этой войне послужило изобретение синтетических продуктов питания. Представитель лирических наук маэстро Тик выступил на торжественном заседании Академии и поздравил фи-

виков с их выдающимся открытием, освобождавшим жителей Марса от тиранической власти природы. Но в своей речи несчастный маэстро позволил себе сказать несколько добрых слов и по поводу старинной марсианской окрошки и древнего марсианского винегрета. Этого оказалось достаточно, чтобы физики обвинили лириков в чудовищной неблагодарности. «Лирические науки развращают разум! Долой лириков!» Сопровождаемый такими выкриками маэстро Тик покинул трибуну. Торжественное заседание неожиданно превратилось в ожесточенное перечисление взаимных обид. Прорвались наружу страсти, сдерживавшиеся в течение тысячелетий, вспыхнула война, в которой лирики потерпели полнейшее поражение.

Торжествовавшие победу физики, математики и химики подвергли физическому и химическому уничтожению все, что не имело непосредственного касательства к их наукам. От «лирической скверны» были очищены все библиотеки, музеи и прочие культурно-просветительные учреждения. Напрасно покоренные лирики пытались доказать, что среди гибнущих книг имеются ценнейшие исследования по истории материальной и духовной культуры Марса. Физики были неумолимы. Даже из оставшейся собственной физической литературы они повычеркивали все сравнения, эпитеты и метафоры, встречавшиеся, правда, там довольно редко. Картинные галереи, консерватории,— даже цирки — все было превращено в просторные физические лаборатории, где представители других наук и профессий первоначально использовались на подсобных работах.

Безраздельное владычество физиков продолжалось несколько тысячелетий. Потом, в период застоя физико-химической мысли, предшествовавшего метеоритной эпохе, вновь пробудился некоторый интерес к нефизическим наукам. Возникло и пышно расцвело подарковедение. Стали по крупицам разыскивать и собирать оставшееся от древности. Но практически ничего не осталось. Правда, среди 56 миллиардов книг, хранившихся в академической библиотеке, случайно удалось обнаружить с десяток гуманитарных произведений. Какие-то хитроумные лирики, чтобы обмануть бдительность физиков, вклеили эти книжки в корешки и обложки от физических трудов. Но даже и эти книги не удавалось прочитать, так как редко встречалась фраза, где бы не было трех, четырех, а иногда и больше непонятных слов и идиом, установить значение

которых, пользуясь словарями физического периода, было совершенно невозможно. В библиотеке Академии был создан специальный отдел по расшифровке древней лирической литературы, но дело продвигалось крайне медленно, натыкаясь на бесчисленные непреодолимые препятствия.

Труды Рига были написаны отличным физическим языком. Очевидно, именно это обстоятельство ослабило в свое время внимание проверочной комиссии, не вычеркнувшей из них ни одной фразы. При тщательной же подготовке текста к переизданию обнаружилось, что в одной из своих работ по определению коэффициента диффузии оптическим методом почтенный ученый позволил себе весьма странное выражение. «Я, — писал он, — проделал сотни опытов с коллиматором, и теперь, подобно древним тидам, могу сказать, что съел на этом деле бусуку». Профессор Ир знал, что «Тид» — это древнейшее название жителей Марса, вытесненное впоследствии словом «ученый», но что такое «бусука», на этот вопрос не мог дать ответа ни один из имевшихся в библиотеке словарей.

Оставить без комментариев это место в статье было невозможно, а объяснить его никак не удавалось. Можно было, разумеется, написать: «Бусука — вид пищи, распространенный во времена древнейших тидов». Но профессор Ир, типичный физик по своему характеру, не терпел никакой неточности и неопределенности. Он решил во что бы то ни стало разгадать тайну этого странного выражения. С этой целью он распорядился произвести осмотр и перепись всех 56 миллиардов книг в библиотеке, надеясь, что среди них обнаружатся новые, не открытые до сих пор издания, которые помогут разрешить загадку. Проверка 25 миллиардов книг не привела пока к положительным результатам.

Собственно говоря, в глубине души профессор сознавал, что, может быть, не стоило проделывать такую огромную работу из-за какой-то одной несчастной строчки. Но вместе с тем эти поиски бусуки принесли ему огромное моральное удовлетворение. Он снова чувствовал себя исследователем, готовым вот-вот прикоснуться рукой к чему-то неизведанному. Исследовательская страсть была в его сердце неистребима. Именно она заставила профессора, когда в его лаборатории истощились запасы метеоритов, притащить туда эти злополучные камни. Он не мог

жить не исследуя, сам процесс поисков доставлял ему безграничное наслаждение.

Разумеется, профессор не просто отдал распоряжение пересмотреть все книги, он сам принимал в этом живейшее участие. Просмотрев утреннюю прессу, подписав два-три приказа, профессор надевал черный рабочий халат и отправлялся в помещение, где хранились наиболее древние книги. Здесь он и проводил целые дни.

«Дипольная молекула...», «Микрофарада...», «Зонная теория проводимости...», «Азимутальное квантовое число...» Профессор не просто берет с полки очередную книгу и открывает на первой попавшейся странице. Так можно и пропустить что-нибудь важное. Ведь в «Наблюдении аномальной дисперсии» Сида среди подлинных страниц этого классического труда были обнаружены сходные по формату вклеенные листы. Их не удалось до конца расшифровать, но речь там идет о какой-то жестокой катастрофе, постигшей древних тидов в пятидесятом тысячелетии до основания Академии. Очевидно, какого-то лирика почему-то заинтересовала эта катастрофа, он постарался уберечь несколько страничек из подлежавшей уничтожению книги. Такие находки могут быть всюду. И поэтому профессор, держа книгу в правой руке, левой осторожно отгибает все ее листы, а потом постепенно, отводя большой палец, заставляет страницы быстро промелькнуть перед глазами. Книга объемом шестьсот страниц просматривается таким образом примерно за 45 секунд. За час не удается проверить больше ста. Дневная выработка профессора равняется тысяче.

«Эффективное сечение молекул...», «Флуктуации силы тока...», «Универсальные физические константы. Выпуск 7». Профессор давно заметил, что на просмотр маленькой брошюры уходит иногда больше времени, чем на солидный том. Страницы толстого тома при отводе пальца быстрее принимают исходное горизонтальное положение, подвергаясь большему пружинящему действию остальных отогнутых листов. Эти «Физические константы» — совсем маленькая книжечка, она перелистывается очень медленно... Наметанный взгляд профессора сразу обнаружил, что на средних листах отсутствуют числа и формулы. Константы без формул и чисел? Здесь что-то неладно. Профессор стал рассматривать брошюру внимательнее. Так и есть! Нумерация страниц не совпадает. После восьмой идет сразу сорок вторая.

Профессору была свойственна исследовательская страсть, но он никогда не горячился, он не терпел торопливости. Когда нужно было изучить привлекший его внимание предмет, профессор действовал методично, он даже становился пунктуален.

Поднявшись в свой кабинет с «Универсальными физическими константами» в руках, профессор положил брошюру на стол, достал стопку бумаги и, усевшись поудобнее, принялся за исследование находки. Прежде всего он посмотрел на выходные данные книжки. Брошюра была довольно древняя, она вышла в свет за 153 года до рождения Рига и представляла собой учебное пособие для студентов физико-математических высших учебных заведений. Вставленные в нее 32 страницы в точности соответствовали формату. Сорт бумаги казался тоже одинаковым, но уже при чтении первых строк профессор встретился с массой незнакомых слов. Физические константы на вставленных листах были напечатаны в виде отдельных предложений. На первых трех страницах профессор смог до конца понять только две константы. Одна из них гласила: «Капля камень точит». Вторая — «Под лежачий камень вода не течет».

Профессор выписал эти слова на отдельный лист бумаги и продолжал чтение. На четвертой странице ему удалось прочитать: «Куй железо, пока горячо», «Палка о двух концах» и «Не все то золото, что блестит». На следующих пяти страницах он не смог разобрать ни одной константы. Наконец, на двадцатой ему снова повезло, и он пополнил список еще тремя константами: «Нет дыму без огня», «Близок локоть, да не укусишь», «Никто не обнимет необъятного».

Профессор отложил в сторону брошюру и задумался. «Универсальные физические константы. Выпуск 7»? То, что ему удалось разобрать, несомненно, имело прямое отношение к физике, но находилось в каком-то явном противоречии с содержанием страниц, предшествующих вставленным. Профессор раскрыл книжку на восьмой странице: «Гравитационная постоянная...», «Объем грамм-молекулы идеального газа при 15°», «Скорость света (в пустоте)». И каждая константа сопровождается неопровержимой формулой и числовым значением. Выписанные же профессором константы лишь регистрируют то или иное, но тоже, несомненно, постоянное физическое явление: «Палка о двух концах», «Не все то золото, что блестит».

Профессор еще раз посмотрел на обложку книжки: «Выпуск 7». Возможно, эти страницы константы не вставлены умышленно, а попали сюда благодаря небрежности при верстке книги в типографии... Возможно, они относились к выпуску первому, где были собраны древнейшие выводы из первичных физических наблюдений. «Не все то золото, что блестит» — это безусловная истина и зачаток спектрального анализа металлов; «Никто не обнимет необъятного» — сжатая формулировка теории относительности; «Куй железо, пока горячо» — итог наблюдений над изменением агрегатного состояния железа при увеличении температуры.

Все это очень интересно и ведет нас к истокам физики. Профессор снова углубился в чтение брошюры, но десять просмотренных им страниц не привели ни к каким результатам. Он понимал назначение некоторых отдельных слов, но связать их вместе не удавалось. Как все-таки изменился наш язык и каким безумием было уничтожить все словари! Этого никак нельзя было делать.

Наконец, на последней из вставленных страниц профессор Ир сразу же разобрал еще одну константу: «Бусука — лучший друг тида». Несколько секунд он сидел совершенно неподвижно. Потом, преодолев оцепенение, снова погрузился в лежавшую перед ним страницу. Одну за другой он выписал еще три константы, подчеркивая незнакомые слова:

«Бусука воет, ветер носит.

Любить, как бусука палку.

Четыре четырки, две растопырки, седьмой вертун — бусука».

На этом вставные константы заканчивались. Профессор Ир с раздражением посмотрел на следующую страницу. Увы! Здесь уже снова шли знакомые физические постоянные. Удельный заряд электрона!.. Все, что он смог узнать о таинственной бусуке, свелось пока к этим выписанным строчкам, четырем уравнениям с пятью неизвестными.

Из дневника академика Ара

Есть простейшие истины, которые никогда не следует забывать, но они почему-то забываются чаще всего. Сегодня утром, вспоминая все, что произошло со мной вчера ночью, я вдруг почувствовал себя смущенным и озадачен-

ным школьником. Мне вспомнился наш первый урок физики.

Учитель, поставив на стол сосуд с водой и держа в руках термометр, обратился к нам с вопросом: «Кто из вас может измерить температуру воды в том сосуде?» Мы все подняли руки. Только один мой сосед по парте не поднял руки. Ну и тупица, подумал я. Не может сделать самой простой вещи. Учитель спросил, почему он не вызвался отвечать. И мой сосед сказал: «Я не могу измерить температуру воды, я могу узнать лишь, какова будет температура термометра, если опустить его в воду».— «Разве это не одно и то же»? — спросил учитель. «Конечно, нет, — ответил ученик,— когда я опущу термометр в воду, она станет или немного холоднее, или немного теплее, чем была раньше. Термометр или чуть-чуть охладит ее, или чуть-чуть согреет, разница будет малозаметной, но все-таки температура воды изменится, она будет не такой, какой была до того, как я опустил в воду термометр». Учитель очень похвалил ученика за его ответ и весь первый урок рассказывал о том, с какими трудностями сталкивается физик, когда он хочет достичь точности в своих измерениях. «Никогда не забывайте,— говорил он,— что всякий прибор вмешивается в производимый вами опыт, умейте находить и вносить соответствующую поправку в ваши выводы и расчеты». Простейшая истина, но как часто она забывается. Вероятно, и сейчас я бы не сразу вспомнил о ней, если бы мои вчерашние опыты с футляром и карандашом не показались мне вдруг страшно нелепыми. Я представился себе чем-то вроде термометра. Пожалуй, еще можно измерить температуру воды в море, ошибка будет невелика, но ведь Живой — это капля. Живой — это точка, и через нее можно провести бесчисленное количество линий, бесчисленное количество гипотез, и каждая из них будет утверждать, что Живой принадлежит только ей. Если бы в космическом снаряде оказался не один Живой, а несколько, если бы у нас были хотя бы две точки, наши построения, наши выводы носили бы более определенный характер. Мы могли бы установить линию, связывающую двух Живых.

В чем мне хотелось убедиться, когда я пробовал говорить с футляром в зубах? Еще и раньше мне и моим коллегам стало ясно, что основным органом труда, в отличие от наших рук, у Живого должны служить его рот, шея, челюсти, зубы. Зажав в зубах палку или камень, Живой

и его сопланетники могли переносить их с места на место, могли складывать в различных комбинациях — это начало трудового процесса, который в конечном счете мог приобрести самые сложные формы, породив все то, что мы называем наукой и техникой. Мои опыты с карандашом убедили меня в том, что, держа карандаш в зубах, можно писать, можно чертить; шея способна осуществить массу самых точных движений, почти не уступая в этом отношении руке. Разумеется, для этого нужно выработать навык. Вспоминая рассказ Кина о том, как Живой принес палку, я отчетливо, зрительно представил себе Живого в процессе труда. И тогда мне показалось, что при таком специфическом характере труда, когда зубы, рот несут рабочую функцию, должны были развиваться какие-то другие формы речи, позволяющие Живому и его собратьям координировать их усилия во время трудовой деятельности. Эта мысль показалась мне очень плодотворной и вытекающей из конкретных наблюдений. Но так ли это? Не возникла ли она по совсем иным причинам?

До сих пор я не могу освободиться от сознания своей невольной вины перед Живым. В первые мгновения нашей встречи это сознание было и наиболее остро, сейчас я думаю, что именно оно и продиктовало мне мою гипотезу катастрофы. Ощущал ли Живой что-нибудь катастрофическое в результате столкновения с магнитным лучом, это еще требуется доказать. Но то, что я был потрясен всем происшедшим, это не требует никаких доказательств. Когда я вскрывал космический снаряд, мое воображение было накалено до предела. И таким накаленным термометром я продолжаю оперировать во всех своих выводах. Моя новая гипотеза о том, что Живой не говорит потому, что он обладает другими, неведомыми нам способами речи, не диктуется ли прежде всего моим желанием опровергнуть мою же собственную гипотезу катастрофы? Первая возникла из ощущения вины, вторая порождена стремлением убедить себя в том, что я не причинил Живому вреда.

Как отречься от самого себя в наблюдениях и выводах? Как измерить подлинную температуру Живого? Ведь если прямо взглянуть в лицо фактам, мы знаем о нем пока только то, что он — живой. Мы затратили десятки тысячелетий на изучение своей планеты. Тысячи поколений ученых проникали в ее тайны. Мы не сможем так долго изучать Живого. Наш опыт ограничен во

времени. Тем яснее и отчетливее должны мы представлять себе цели, которые преследуем. Слепое вмешательство магнитного луча роковым образом нарушило опыт, который производил Живой.

Какими глазами мы должны смотреть на Живого, чтобы не повторить ошибки наших приборов?

Письмо доктора Бера своей жене

Дорогая Риб! Сегодня на вечернем совещании я собираюсь выступить с весьма ответственным заявлением. Мне не хочется этого делать, не посоветовавшись с тобой, поэтому я решил написать тебе это радиописьмо. Приняв его, передай мне, пожалуйста, все, что ты думаешь по поводу изложенных в нем мыслей. Мы привыкли понимать друг друга с полуслова, и поэтому я буду конспективно краток, особенно в тех местах, которые не затрагивают сущности моей гипотезы.

Зрение. Слух. Обоняние. Если бы какие-либо обстоятельства поставили нас перед необходимостью отказаться от одного из этих трех чувств, каждый, несомненно, пожертвовал бы обонянием. Потеряв зрение, мы стали бы слепыми, потеряв слух — глухими, потеряв обоняние... Как видишь, в нашем языке даже нет слова, обозначающего этот физический недостаток, настолько малое значение мы придаем обонянию вообще. У нас есть врачи, специальность которых — ухо, горло, нос. И здесь нос оказывается на последнем месте. Мы говорим: «Беречь как зеницу ока», но никогда не придет в голову сказать: «Беречь, как свою правую или левую ноздрю». Мы относимся к своему носу без всякого уважения. Многие из нас, вероятно, считают, что нос это вообще всего лишь естественное приспособление для ношения очков. Пренебрежение к носу проявляется уже в детском возрасте. Ребенок никогда не ковыряет у себя в глазу, но вспомни, сколько трудов нам стоило отучить нашего Биба от дурной привычки запускать палец то в одну, то в другую ноздрю. «Подумаешь, что с ними сделается»,— отвечал он нам уже в довольно зрелом возрасте. Сама возможность столь грубого вмешательства в деятельность нашего обонятельного органа могла бы навести на мысль о том, что этот орган сконструирован весьма примитивно и далеко не совершенен.

Между тем обоняние, несомненно, оказывает нам не-

которые услуги в нашей жизненной и научной практике. Они, однако, не идут ни в какое сравнение с тем, чем мы обязаны зрению и слуху. И если бы потребовалось определить всю нашу цивилизацию исходя из какого-либо одного органа чувств, мы назвали бы ее зрительной цивилизацией, а определение «зрительно-звуковая» почти исчерпало бы ее характеристику. Менее всего подходило бы к ней название «парфюмерическая».

Чем все это объяснить? Прежде всего тем, что мы обладаем весьма слабо развитым обонянием. До последнего времени я, как и все мы, был уверен в противоположном. Наш нос обнаруживает присутствие миллиардных долей грамма пахучих веществ в одном кубическом метре воздуха. Великолепный прибор, есть чем гордиться! Но вот появляется Живой, и оказывается, что наше обоняние это не лабораторные весы, а не более чем прикидывание веса на ладони. Дело, разумеется, не в ущемленном самолюбии, а в том, что размеры носа и обусловленная этим необычайная острота обоняния, которую мы наблюдаем у Живого, обязывает нас выработать к нему совершенно особенный подход. Живой — это нос! Живой — это обоняние! Я несколько упрощаю, но истина, несомненно, такова. В сознании Живого, по моим предположениям, главную роль играет не зрительный, не звуковой, а парфюмерический образ предмета.

Я позволю себе отвергнуть или, во всяком случае, временно отклонить теорию катастрофы, предложенную академиком Аром. Я считаю Живого абсолютно нормальным представителем парфюмерической цивилизации. Мы должны отдать себе отчет в том, каков внутренний мир существа, для которого главным и решающим признаком предмета служит запах. Мы должны стать на ту точку зрения, что Живой видит и слышит носом. Ноздри — это замочные скважины Живого, мы не проникнем в его тайну, пока не подберем к ним ключа. Я не хочу, разумеется, сказать, что зрение и слух не имеют для Живого никакого значения. Но, возможно, они играют в его жизни такую роль, какая в нашей отведена обонянию, то есть весьма второстепенную, почти не участвующую в формировании нашей психики и научных воззрений.

Вот, дорогая моя Риб, примерные наметки того, что я собираюсь сказать, но, разумеется, развив и уточнив отдельные положения. Я посылаю тебе несколько фотогра-

фий Живого, часть из них опубликована в сегодняшнем номере «Академического вестника», другие, видимо, будут напечатаны позднее. Жду твоего ответа.

Твой Бер.

Коротко и вразумительно

Дорогой Бер! Я внимательно проштудировала твое письмо. Ты отлично исследовал нос Живого. Все твои построения весьма логичны. Но помни, пожалуйста, что гипотеза, когда она забывает о том, что она гипотеза, начинает водить своего создателя за нос. Спасибо за фотографии Живого. Он очень симпатичный, только не донимайте его опытами и исследованиями. Всем привет.

Крепко целую, твоя Риб.

Формула бусуки

1. Риг съел бусуку.
2. Бусука лучший друг тида.
3. Бусука воет, ветер носит.
4. Любить, как бусука палку.
5. Четыре четырки, две растопырки, седьмой вертун — бусука.

Первые попытки анализа способны были обескуражить кого угодно. Профессор Ир заменил во второй константе непривычное слово «тид» на равное по значению слово «ученый». Затем, действуя по принципу подстановки, он совершил замену в первой константе. В итоге получился еще более запутанный ряд переходных значений: «Бусука — лучший друг ученого». «Риг съел бусуку». «Риг съел лучшего друга ученого». Все замены произведены правильно, но что же все таки съел Риг, оставалось совершенно непонятным. Тогда профессор сосредоточился на анализе третьей константы. Прежде всего следовало попытаться установить значение слова «воет». Профессор выписал всю константу на отдельную карточку и направил запрос ученому секретарю отдела остатков древнелирической литературы. Через два дня от секретаря пришел ответ: «Выть, очевидно, означает — сливать свою грусть и печаль в единое слово».

Профессор попросил прислать ему источники, на основании которых был сделан такой вывод. Он получил бланк с отпечатанными на машинке четырьмя строчками.

Хотел бы в единое слово
Я слить свою грусть и печаль
И бросить то слово на ветер,
Чтоб ветер унес его вдаль.

Далее следовала сноска: «Надпись, сделанная от руки на обратной стороне экзаменационного билета по древнейшему курсу дифференциального и интегрального исчисления. Значение слова «выть» устанавливаем из анализа контекста, базируясь на симметричном построении константы «бусука воет, ветер носит».

Профессор решил проверить справедливость вывода, сделанного ученым секретарем, и углубился в сопоставления. «Бусука воет, ветер носит». Следовательно, можно предположить, что ветер носит то, что воет бусука. С другой стороны, в присланном фрагменте ветер уносит вдаль, то есть несет, носит слитые в единое слово грусть и печаль. Вывод секретаря показался профессору справедливым. Но древнелирический текст требовал еще дополнительного анализа. Это был первый образец древней лирики, попавшей в руки профессора, и он решил досконально проштудировать эти строки, так как, на его взгляд, кое-что в них ускользнуло от внимания ученого секретаря.

Хотел бы в единое слово
Я слить свою грусть и печаль.

Древний лирик, отметил профессор, не слил свою грусть и печаль в единое слово, а только хотел это сделать. Практически почему-то такое слияние казалось лирику труднодостижимым. Между тем из текста явствовало, что ветер мог унести грусть и печаль только в таком слитном состоянии; если бы лирик бросал их на ветер порознь, сепаратно, то ни грусть, ни печаль сами по себе не могли подвергнуться уносящему действию ветра. Очевидно, в результате их слияния в единое слово между ними должна была произойти какая-то реакция, порождающая нечто новое, качественно отличающееся от составляющих частей. Не физическая смесь, а химическое соединение. В таком случае лирику необходимо было знать, какое именно количество грусти, соединяясь с каким именно количеством печали, способно образовать новое,

легко улетучивающееся соединение. Очевидно, древние лирики и занимались тем, что искали пропорции, в которых следовало сливать различные слова, для того чтобы полученное целое оказывалось качественно новым. Сделать это удавалось не всегда. Вероятно, тут были свои трудности и секреты.

Между тем третья константа утверждает со всей категоричностью: «бусука воет, ветер носит». Значит, бусука хорошо владела секретами мастерства, и если она сливала свою грусть и печаль в единое слово, то ветер всегда носил образовавшееся соединение. Бусука добивалась успешного результата не время от времени, а постоянно, так как в противном случае эта ее способность не была бы занесена в число таких же бесспорных констант, как «под лежачий камень вода не течет» или «не все то золото, что блестит». Умение хорошо «выть», точнее сливать свою грусть и печаль в единое летучее слово, было постоянной отличительной чертой бусуки; следовательно, она должна была считаться выдающимся лириком.

Вывод этот представлялся профессору Иру столь бесспорным, что он решил составить новую таблицу констант, заменив везде «бусуку» на «лирика». Может быть, это несколько упростит проблему других свойств бусуки.

1. Риг съел лирика.
2. Лирик лучший друг ученого.
3. Лирик воет, ветер носит.
4. Любить, как лирик палку.
5. Четыре четырки, две растопырки, седьмой вертун — лирик.

Профессора нисколько не смущала некоторая парадоксальность полученных формулировок. Он хорошо знал, что истину следует искать в переплетении противоречий. Во всяком случае, самая сложная и запутанная пятая константа при такой подстановке стала сразу легче поддаваться исследованию.

Четыре четырки + две растопырки + вертун = лирик.

Отсюда можно заключить, что

вертун = лирику — четыре четырки — две растопырки.

Хотя значение слов «вертун», «четырки» и «растопырки» по-прежнему оставалось неизвестным, профессор смело выделил «вертуна». Он исходил из того соображения, что главный отличительный признак предмета или явления чаще всего бывает единичным, а второстепенные выступают в большом количестве. Наличие одного верту-

на при четырех четырках и двух растопырках убедительно говорило, что именно вертун воплощает в себе сущность бусуки как лирика.

Однако что такое «вертун», оставалось непонятно. Профессор хорошо знал, что представляет собой «шатун». Это — часть кривошипного механизма, преобразующего поступательное движение поршня во вращательное движение вала. При конструировании приборов профессору приходилось иметь дело с вертлюгом — соединительным звеном двух частей механизма, позволяющим одному из них вращаться вокруг своей оси. Вертун, шатун, вертлюг. Весьма возможно, что вертун — это важная деталь лирика, преобразующая внутренние порывы в определенный вид эмоционального движения.

Конечно, это не более чем рабочая гипотеза, но она не лишена некоторых фактических оснований. В сложном процессе слияния грусти и печали или радости и веселья в одно слово бусуке, возможно, необходим был специальный орган, вращательное движение которого, подобно стрелке весов, отмечало бы точность взятых пропорций. При отсутствии лирической нагрузки вертун находился в некотором определенном исходном положении.

Вертун позволял бусуке действовать безошибочно, в то время как обыкновенные лирики испытывали неуверенность в своих расчетах, что доставляло им, вероятно, массу огорчений. Профессор Ир чувствовал, что он на верном пути. И хотя ему по-прежнему оставалось непонятно, почему Риг съел бусуку, почему бусука лучший друг ученого и почему она любит палку, профессор, окрыленный уже достигнутыми успехами, не сомневался в том, что упорный анализ приведет в конце концов к раскрытию истины.

Зараженный примером древних лириков, он даже выразил эту свою уверенность в двух коротких строчках:

Будет формула бусуки,
Не уйти ей от науки.

Кто подарил глаза Живому?

— Мне остается добавить очень немногое,— сказал профессор Бер, закрывая объемистую папку с чертежами, таблицами и расчетами,— я хочу закончить тем, с чего начал. Возможно, моя парфюмерическая гипотеза не охватывает всей сложности стоящей перед нами проблемы,

возможно, мои выводы покоятся на недостаточно проверенных фактах и потому ошибочны. Но я хотел бы напомнить вам, что произошло в свое время с профессором Гелом. Это забытый, но очень поучительный пример.

Профессор Гел задался целью всесторонне исследовать влияние солнечной энергии на жизненные процессы. Он располагал огромным количеством фактов. В том числе запросил у Центрального статистического бюро точную информацию о количестве рождений, приходившихся на каждый день первого тысячелетия академической эры. Сопоставив полученные цифры с соответствующими данными метеорологического архива, профессор Гел пришел к выводу, что рождаемость резко повышается в светлую, солнечную погоду и катастрофически падает в пасмурную, дождливую. Когда он опубликовал результаты своих вычислений, мнения ученых по этому поводу разошлись. Одни утверждали, что профессор Гел не совершил никакого открытия, что это явление отмечено уже давно. Не случайно, говорили они, на нашем языке «родиться» и «появиться на свет» означает одно и то же. Профессор всего лишь статистически подтвердил эту истину. Задача состоит в том, чтобы найти естественное объяснение такой закономерности. В своей многотомной работе «Мы — дети солнца» профессор Гел изложил ряд гипотез, объединенных единой мыслью: солнечная энергия — источник жизни. Противники взглядов профессора утверждали, что его наблюдения о рождаемости носят случайный характер и необходимо обобщить данные не одного, а нескольких тысячелетий. Приступив к этой работе, они обнаружили, что в результате ошибки электронной счетной машины профессору были в свое время направлены сведения не о количестве рождений, а о регистрации новорожденных родителями. Выводы профессора, таким образом, убедительно свидетельствовали лишь о том, что марсиане и в первом тысячелетии предпочитали выходить из дома не в дождливую, а в солнечную погоду.

Итак, профессор Гел ошибался? Несомненно! Но именно в «Детях солнца» он высказал те мысли, которые легли позднее в основу гелеологии — науки, неопровержимо доказавшей связь деятельности нашего организма с различными моментами солнечного цикла. Я не претендую на то, что моя парфюмерическая гипотеза дает исчерпывающие ответы. Но она заслуживает серьезного рассмотрения.

Академик Ар задал профессору Беру несколько вопросов, а затем спросил у Кина, каково его мнение о парфюмерической гипотезе. Кин сказал, что все это следует тщательно обдумать. Он был чем-то явно расстроен. Вначале он слушал сообщение Бера очень внимательно, делал в своем блокноте какие-то заметки, казалось, что он готовится к полемическому выступлению, а затем он отложил свой карандаш, и лицо его приняло какое-то отсутствующее выражение. Профессор Бер предполагал, что Кин отнесется к его сообщению со свойственной ему горячностью и запальчивостью. Но Кин хранил молчание до самого конца вечера. Лишь незадолго до того, когда Ар предложил закончить беседу, Кин спросил у профессора: «Уверены ли вы в том, что ваша гипотеза открывает, а не закрывает перед нами пути к Живому?» Бер ответил, что он не совсем понимает этот вопрос. Кин покачал головой и ничего не сказал.

Сейчас, лежа на койке дежурного в комнате Живого, Кин пытался ответить самому себе на мучительные вопросы, которые вызывало у него сообщение Бера. Он размышлял над тем, что практически должна означать парфюмерическая гипотеза, если она справедлива. Отдает ли себе в этом Бер достаточный отчет?

В комнате было темно. Кин знал, что там, у противоположной стены, спит Живой. Кин знал это, но сейчас он не видел его и не слышал. Ничто не выдавало присутствия Живого. Между ним и Кином — пелена мрака. Если зажечь свет, Кин увидит Живого, но увидит ли его Живой, даже если проснется? Что такое для него Кин, если, как предполагает Бер, главным и определяющим признаком предмета в сознании Живого служит парфюмерический образ? Кин понюхал свою ладонь. Ему показалось, что она ничем не пахнет, во всяком случае, он не смог уловить никакого запаха. И вот это неуловимое, совершенно неизвестное самому Кину, и есть Кин, такой, каким он представляется Живому? Если это так, то они никогда не смогут понять друг друга.

Когда Кин шел на вечернее совещание, ему не терпелось рассказать своим коллегам, к каким потрясающим результатам привели новые опыты с палкой. Кин установил совершенно точно, что Живой принес ему палку не случайно. Это был рискованнейший опыт. Кину пришлось собрать все свои душевные силы, чтобы на него решиться. Когда он, наконец, в первый раз бросил палку, то от

волнения закрыл глаза и боялся их открыть. И когда он все же увидел стоявшего перед ним Живого с палкой в зубах, то пришел в буйное ликование. Живой приносил палку двадцать раз. Значит, между ним и палкой была определенная связь. До совещания Кин был уверен в этом. А сейчас?.. Живой мог приносить палку, потому что на ней оставался запах ладоней Кина, связь была между палкой и Кином, а не между палкой и Живым. Парфюмерический образ — в сущности, это значит, что Живой навсегда останется на таком же расстоянии от Кина, как та неизвестная планета, с которой он прибыл: ведь расстояние между живыми существами следует измерять тем, как они способны понимать друг друга. И все-таки Кин чувствовал, что Живой ему близок. Но это всего лишь чувство, оно может быть обманчиво.

Кин беспокойно ворочался, он не мог уснуть. Его продолжали одолевать самые грустные мысли. Неужели Живой останется всего лишь живым метеоритом? Таким же загадочным и чужим, как те камни, которые собраны в коллекциях музея? По своей форме и своему химическому составу они родные братья гранитам и базальтам в марсианской коре. Кин даже писал когда-то, что, если бы у метеоритов был язык, он немногим бы отличался от языка марсианских камней, они легко могли бы договориться друг с другом. Как видно, он сильно преувеличивал значение химического состава. Но то, что камни не могут понять друг друга, так на то они и камни. Впрочем, Кин без всякого стеснения заставлял их разговаривать в своих фантастических историях. Теперь он не сможет этого делать с такой легкостью. Где уж камням говорить друг с другом, если даже живое не имеет общего языка.

Нет, лучше бы профессор Бер не развивал своей парфюмерической гипотезы, лучше бы она не казалась такой убедительной. Гипотеза академика Ара позволяла надеяться, что со временем Живой оправится от шока, но от самого себя, от своей парфюмерической природы он не освободится никогда. И как бы Кин ни любил Живого, а он очень привязался к нему за эти дни, все равно при всем желании Кин не сможет стать парфюмерическим существом, не сможет ощущать мир так, как Живой, и они никогда не поймут друг друга. И все-таки странно, почему даже сейчас, в темноте, в тишине, когда ничего не видно и ничего не слышно, Кин чувствует, что он здесь не один. А ведь ему случалось иногда ощущать одиноче-

ство даже в стенах музея, хотя он так любил свои камни, мог разглядывать их часами и думать о них.

Прикасалась ли хоть к одному из этих крохотных осколков далеких планет рука разумного существа? Об этом можно было спорить. И сам Кин был уверен, что среди его камней есть и такие, которые несут на себе отпечатки пальцев неведомых цивилизаций. Но он был также уверен и в том, что все эти камни попали на Марс случайно. Это результаты вулканических катастроф, потрясших затерянные в космосе острова жизни. Это не письма, не вести, не подарки, посланные разумом с одной планеты на другую.

Кин часто задумывался над этим. Глядя на собранные им метеориты, он размышлял, а что бы он, Кин, изобразил на камне, который можно было бы направить во Вселенную, точно зная, что это каменное письмо попадет на какую-нибудь обитаемую планету. И он не мог найти такого изображения, такой формы, которые могли бы раскрыть мир его чувств перед никогда не видевшими его существами. Он боялся столкнуться с их непониманием. Нет, он не считал других обитателей Вселенной невежественными. Наоборот, он исходил из того, что они могут быть наделены весьма богатыми познаниями. Но именно это не позволяло ему остановить свой выбор ни на одной из форм, которые подсказывались воображением. Кина пугала возможность бесчисленных истолкований. И он полагал, что эти же опасения должны были останавливать и жителей других планет. Письмо разумно посылать, только надеясь быть правильно понятым. А что может подкрепить такую надежду?

Вот если бы он мог создать такую вещь, которая была бы способна просто впитать его чувства и потом передать их другим, совершенно независимо от своей формы. Какой бы это был замечательный подарок! Его нельзя было бы истолковать по-разному. Он исключал бы само толкование. Но такой «метеорит» мог быть сотворен лишь из какого-то особенного вещества, наделенного способностью вбирать в себя чувства, хранить их и излучать. Однако такого вещества нет. Во всяком случае, его нет на Марсе, и не из такого вещества созданы все собранные Кином камни. Это должно быть живое вещество, подвластное рукам и сердцу художника. Есть ли оно на какой-нибудь из планет во Вселенной? Живое вещество, из которого можно было бы изваять живую радость, грусть?

Живое вещество, способное на такую степень самоотречения, чтобы стать живым произведением искусства, не только впитавшим в себя чувства, которые вложил в него художник, но и любящим его, художника, этими созданными сотворенными чувствами?

А может быть, Живой создан из такого вещества? Не весь, конечно, а его глаза... Может быть, когда на него, Кина, смотрят такие добрые, такие все понимающие глаза Живого, то этот взгляд принадлежит не только Живому, но кому-то еще? Парфюмерический образ?.. Уважаемый профессор Бер, теперь вы не хотите ничего видеть дальше кончика носа Живого, этот нос заслонил от вас его глаза. Вы боитесь, вы не умеете в них глядеть, они для вас всего лишь сочетание окружностей.

А Кин смотрел в эти глаза часами, он пытался увидеть в них отражение того, что видели эти глаза там, на той планете, откуда прилетел Живой. Кин много фантазировал, его воображение рисовало самые невероятные картины, но в одном он уверен совершенно твердо: глаза Живого привыкли смотреть в глаза друга, где-то в их глубине запечатлен его образ и он воскресает, когда Живой видит перед собой Кина. И никакой шок не замутил этого взгляда.

Конечно, профессор Бер в чем-то, несомненно, прав. Да, обоняние играет очень важную роль в жизни Живого. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно наблюдать за ним на прогулках. Кажется, что каждый предмет, как магнит, притягивает его своим запахом. В эти минуты Живой действительно как бы весь подчиняется своему носу, идет у него на поводу. Но стоит только подойти к Живому, обратиться к нему с каким-нибудь словом, и он весь превращается в глаза. Может быть, если бы Марс был необитаемой планетой, если бы он весь был таким, как этот заповедник на Большом Сырте, то для знакомства с ним Живому хватило бы одного носа. Но к одушевленному Живой обращает свой взгляд. И не потому ли так бесконечно выразительны его глаза, что в них нет застывшего отражения мертвых вещей, а есть лишь теплый свет других глаз, которые смотрели на Живого, делясь с ним радостью, печалью, надеждами, сомнениями, ища у него участия и поддержки?

Нос Живого — это его естественное достояние, но глаза — разве они принадлежат только их владельцу? Если они внимательные, умные, то это потому, что к ним было

обращено чье-то внимание, ум, доброта. Глаза — это драгоценные камни, они принадлежат нам, но их искренность и чистота — подарок наших друзей. Кто подарил глаза Живому? И так упростилась бы вся эта загадка, над которой Кин, Бер и Ар ломают себе сейчас голову, если бы можно было с уверенностью сказать, что и сам Живой — это подарок, посланный с какой-то неведомой планеты на другую и случайно попавший на Марс.

Как существо Живой загадочен, он таит в себе много непонятного для нас. Но как подарок — он воплощенная откровенность, именно таким могло бы быть живое произведение искусства, если бы оно вообще было осуществимо.

Разве мы изучаем подарки? Разве нас интересует, из чего они сделаны? Мы ищем, нет, не ищем, а находим в них и ценим особые, не уловимые никакими приборами признаки, которые говорят нам о тех, кто хотел подарить нам частицу самого себя. И как трудно вложить эту частичку в камень, в металл, в дерево. Они покорно принимают ту форму, которую мы желаем им придать, но как ожесточенно сопротивляются, когда мы хотим заставить их перешагнуть грань, отделяющую мертвое от живого, форму от выражения. Кажется, что в одном камне собирается тогда упорство всех камней Вселенной, и он, принимая новую форму, отступая под натиском резца и молота, упрямо хранит свое каменное молчание, свое каменное равнодушие ко всему живому.

Но жизнь, комочек жизни в руках художника, уже наделенный способностью чувствовать и выражать свои чувства, разве он не оказывал бы такого же сопротивления, разве он не вступил бы в ожесточенную борьбу за право оставаться самим собой, за право чувствовать и выражать свои чувства по-своему? Сколько времени должна была бы длиться такая борьба? И что надо было сделать, чтобы победить в ней? Каким оружием сражаться? Но как счастлив был бы тот, кто, глядя в глаза Живому, мог бы сказать себе: «Вот капельки жизни, которые не знали, что такое радость и тоска, дружба и одиночество, это я зажег в них мир своих чувств, и они способны перенести их в любой уголок Вселенной и рассказать обо мне каждому, кто заглянет в них с той ласковой тревогой, с какой все живое должно смотреть в глаза друг другу».

Кто создал твои глаза, Живой? Кто был твоим другом, кого ты видишь, когда с таким доверием смотришь на

меня? Ведь не здесь же за несколько дней я завоевал твою любовь? Я еще не успел ничего для тебя сделать такого, чтобы заслужить твою признательность. Но я постараюсь, я не дам тебя в обиду никаким гипотезам, посягающим на нашу дружбу. Я докажу всем... Доказательство — сухое, колючее, недружелюбное слово. Кин тяжело вздохнул.

В комнате послышался легкий шорох, и влажный холодный нос Живого уткнулся в свесившуюся с постели руку ученого.

Деликатное выступление профессора Ира на диспуте о живживках

— Профессор, пожалуйста, не забудьте, что вы обещали выступить сегодня на диспуте о живживках,— сказала профессору Иру молоденькая сотрудница отдела звукозаписи, специально в ожидании его прихода караулившая у двери кабинета.

— Я обещал выступить... Но позвольте, я не имею о живживках ни малейшего понятия.

— Это еще раз доказывает, профессор, что вы совершенно оторвались от жизни. Вы, наверное, даже газет не читаете?

Газет профессор Ир действительно ни разу не брал в руки с тех пор, как началась его лихорадочная погоня за бусукой. Он не умел заниматься двумя делами сразу, а ко всякому чтению он привык относиться очень серьезно.

— Но вы же знаете, что я ужасно занят. Через несколько дней мы должны сдать в печать девятый том Рига, а комментарии еще не готовы.

— Но, профессор, вы же обещали выступить...

— Да, я, кажется, что-то действительно обещал, но я думал тогда, что моя работа будет к этому времени уже закончена, а сейчас я решительно не могу.

— Но ваше имя стоит на пригласительных билетах. Получится очень неудобно: библиотека устраивает диспут, все в нем горячо заинтересованы, будет масса студентов, будут живживки, а директора библиотеки не будет. Это нехорошо. Придите и произнесите хотя бы несколько слов!

— Я охотно бы это сделал, но, повторяю, я ничего не знаю об этих живживках.

— Я могу включить ваш радиоприемник, вы прослушаете доклад, вам станет все ясно, а потом вы придете, посмотрите сами на живживок и скажете, что вы о них думаете. Профессор, это совершенно необходимо и займет у вас не больше двадцати минут.

— Ну, раз вы так настаиваете, хорошо, я постараюсь.— Профессор улыбнулся обрадованной сотруднице, вошел в свой кабинет и сразу же погрузился в разложенные на столе бумаги.

За последние дни его изыскания продвинулись довольно далеко. Профессор пришел к выводу, что древние лирики были вынуждены иногда прибегать к иррациональным выражениям: ведь есть же в математике иррациональные числа. Лирики неизбежно должны были иногда за отсутствием необходимого им слова прибегать к комбинациям слов, где нарушались их обычные, рациональные, осмысленные связи. Так, скажем, описывая сложности, с которыми сталкивался древний тид, пытаясь вычислить длину диагонали квадрата, сторона которого равна одному метру и соответственно $x = \sqrt{2}$, лирик мог бы написать:

Диагональ, диагональ,
Тебя мне жаль, тебя мне жаль,
Из двух квадрат нельзя извлечь,
Бессильны здесь число и речь,
Но все имеет свой предел —
На этом тид бусуку съел.

Здесь выражение «тид съел бусуку» передает иррациональный, практически недостижимый характер извлечения квадратного корня из двух. Профессор посмотрел на толстую папку, где лежала рукопись его работы «Введение к бусуке». По своему объему рукопись во много раз превышала статью Рига. Ясно, что включать всю работу в комментарий не следует. Очевидно, придется выпустить ее отдельным изданием, а в комментарии к сочинению Рига сделать соответствующую сноску: см. «Введение к бусуке» профессора Ира. Это позволит своевременно выпустить в свет сочинение Рига и даст возможность профессору еще некоторое время поработать над своей рукописью, уточнить некоторые формулировки в главе о растопырках.

В правильности своих выводов о четырках и вертуне профессор почти не сомневался, они естественно вытекали из лирической природы бусуки. Но растопырки продолжали его беспокоить. Что такое растопырки и зачем они

нужны лирику, профессор не мог еще сформулировать достаточно точно. Между тем медлить с этим было нельзя, так как «Введение к бусуке» станет настоятельно необходимо сразу же после выхода в свет сочинений Рига. Профессор стал перечитывать раздел о растопырках, но громкий голос докладчика оторвал его от работы. Профессор досадливо поморщился и хотел выключить радио, но, вспомнив свое обещание, вздохнул и стал слушать.

— ...Живживки,— говорил оратор,— болезненное явление в среде нашего студенчества. Мы должны решительно осудить живживок. Что такое живживчество? Это слепое поверхностное подражание жителям неизвестной нам планеты. Оно размагничивает нашу молодежь. (Голос из зала: «Неправда! Это еще требуется доказать!») Я как раз и собираюсь перейти к доказательствам и прошу не перебивать меня выкриками с места. Представители живживок получат слово и смогут высказаться. Некоторые думают, что живживчество — это всего лишь мохнатый беретик с торчащими ушками и пришитая сзади к брюкам или юбке длинная живживка из ворсистой материи. Некоторые утверждают, что это лишь невинные знаки межпланетной солидарности живых существ. Так ли это? Имеем ли мы дело с признаками межпланетной солидарности или, наоборот, с желанием противопоставить себя другим жителям своей собственной планеты?! Я думаю, что последнее гораздо вернее. (Голос из зала: «Неправда! Живживки хорошие товарищи!») Я не отрицаю, что среди живживок есть много хороших студентов, есть даже отлично успевающие по всем предметам и помогающие другим.

И все же я хочу остановиться на поведении живживок. Они дошли до того, что все свое свободное время отдают сочинению песен. Работники библиотеки могут подтвердить, что некоторые живживки часами просиживают в отделе древнелирической литературы. Не странно ли, что появление на нашей планете представителя другого научного мира, воплощающего в себе высшие достижения физики и математики, вызывает почему-то у живживок интерес к древней лирике. Казалось бы, следовало ожидать совершенно противоположного. Поймите меня правильно. Я не против лирики как таковой. Я не пытаюсь воскресить те времена, когда все лирическое подвергалось незаслуженному гонению. Я сам в детстве сочинял считалки и физматки. Чтобы не быть голословным, я даже могу

прочесть вам одну из своих физматок. (Голоса из зала: «Не надо! Не надо!»)

Но посмотрите, посмотрите, какую песню сочинили живживки, ее текст очень показателен:

Мы веселые живживки, живки,
Мы на всех планетах есть,
На лице у нас улыбки, лыбки,
В них космическая весть.

Живживки в своей песне утверждают, что космическая весть — это улыбка, но на улыбке в космос не полетишь! Я уверен, что полет в космос, осуществленный жителями неизвестной нам планеты, это результат упорной научной работы, а не легковесных песенок и улыбочек. Готовясь к своему сегодняшнему докладу, я специально вновь прочитал все сводки, поступающие в Академический вестник с Большого Сырта. В них ничего не говорится об улыбках уважаемого коллеги Живого. Тем более нечего улыбаться нам. Я вижу, что некоторые улыбаются, слыша эти мои слова, но это не мешает мне их повторить: да, нам нечего улыбаться.

Наукой доказано, что нельзя одновременно улыбаться и серьезно мыслить, а мы должны мыслить очень серьезно, наша серьезность должна соответствовать серьезности стоящих перед нами серьезных задач по ликвидации серьезного отставания в области освоения космоса. Пусть представители живживок объяснят нам, чему они улыбаются и долго ли они собираются улыбаться!

— ...Предыдущий оратор закончил свое выступление вопросом, почему мы, живживки, улыбаемся. Я отвечу ему, мы улыбаемся потому, что у нас очень хорошее настроение. Мы очень рады тому, что на нашей планете появилось новое живое существо. Я думаю, что когда наш уважаемый докладчик появился на свет, это тоже доставило всем окружающим радость, а не огорчение. Он говорил о том, что в сводках ничего не упоминается об улыбках почтенного коллеги Живого. Я позволю себе предположить, что, когда родился докладчик, он тоже первое время не улыбался, никто не родится с улыбкой на губах, но рождение нового существа вызывает радостную улыбку на лицах других! Мы считаем, что мы должны приветствовать коллегу Живого улыбкой, а мы верим в то, что когда-нибудь

он улыбнется нам в ответ. (Возглас из зала: «Правильно!»)

Докладчик говорил, что нельзя одновременно улыбаться и серьезно мыслить. Это неверно. Рождение новой мысли ученый приветствует улыбкой! И может быть, самая счастливая улыбка во Вселенной была на лицах создателей космического корабля, когда они увидели торжество своих научных идей.

Докладчику не нравятся наши ушастые береты и живживки. Но пусть он ответит мне прямо: если бы уважаемый коллега Живой подарил ему такой берет и живживку, отказался бы он их носить или нет? Я думаю, что он счел бы для себя высокой честью принять такой подарок. Возможно, в той части космического корабля, которая не попала на Марс, и были какие-нибудь подобные подарки, которые вез с собой Живой на другую планету. Что же дурного в том, что мы сами решили изготовить себе что-нибудь, постоянно напоминающее нам о Живом, и воспользовались для этого его характерными отличительными признаками? Напомню докладчику то, что известно каждому школьнику: «Подарок есть вещь, изготовленная для другого и несущая на себе отпечаток создавшей его личности». Коллега Живой не мог нам ничего подарить, мы сделали эти подарки сами. Сейчас мы думаем о том, какой приготовить подарок Живому от имени марсианского студенчества. Мы объявили конкурс на лучший подарок и предлагаем всем принять в нем участие.

— ...На нашем диспуте,— профессор Ир узнал голос молодой сотрудницы отдела звукозаписи,— обещал выступить директор библиотеки и издательства. Мы должны прислушаться к мнению старших товарищей... Я думаю, что профессор Ир...

Но сам профессор Ир решительно не знал, что и думать об этой странной дискуссии. Ему было ясно только то, что какие-то молодые люди в чем-то подражают в своей одежде космонавту, над изучением которого работает группа академика Ара. Но профессор был так увлечен все это время проблемой бусуки, что совсем перестал интересоваться сообщениями с Большого Сырта. «Пусть каждый занимается своим делом» — такого правила профессор Ир придерживался с юношеских лет и никогда в этом не раскаивался. Однако надо все-таки спуститься в зал. Надо посмотреть на этих живживок. Во всяком случае, выступление их представителя пришлось профессору по душе.

Конечно, он воздержится от того, чтобы навязывать кому бы то ни было свое мнение. Ну что может он, профессор Ир, сказать им полезного об этих самых живживках? В разгоревшемся в зале споре чувствуется, что обе стороны вкладывают в эту полемику весь жар своей души. И профессор, наверное, также бы горячился, если бы и перед ним стоял вопрос, носить ему эту живживку или нет. Но увы, он уже вышел из того возраста, когда фасон и покрой его брюк могли вызывать в нем какое бы то ни было волнение. А вот насчет улыбки живживки, несомненно, правы. Тут он хотел бы их поддержать. Но надо это сделать как-нибудь потоньше, поделикатнее, чтобы никого не обидеть.

Выйдя из лифта, профессор направился по коридору к актовому залу, где происходила дискуссия. Но, не доходя нескольких шагов до двери, он вдруг остановился как вкопанный перед большим объявлением: «Все на дискуссию о живживках!» С листа бумаги прямо на него в упор смотрела... бусука! Четырки, вертун и злополучные загадочные растопырки — все мгновенно встало на свои места. Профессор распахнул двери, как вихрь, ворвался в зал, метнулся к представителям живживок, сорвал с первого же попавшегося ему под руку ушастый беретик и с торжествующим криком бросил его в воздух!

Эпилог
Разговор на площади имени Живого

— Значит, он все-таки участвовал в создании межпланетного корабля?

— Да, несомненно, я мог бы назвать его нашим главным советчиком.

— Маэстро Кин тоже был в этом уверен. Они были неразлучными друзьями. После шести месяцев наблюдения академик Ар сказал: «Кин, вы — та среда, в которой Живой чувствует себя лучше всего, и он должен всегда оставаться с вами». Но в городе Живой очень грустил, и тогда было решено перенести Музей необычайных метеоритов сюда, на Большой Сырт. Живой прожил здесь двенадцать лет. Его все очень любили, он был веселый и добрый. Но иногда он тосковал, особенно в звездные ночи, он садился, прижимал к себе задние четырки и выл тихо и протяжно. Один маэстро Кин мог его тогда успокоить. Когда Живой заболел, его лечили наши лучшие доктора,

они лечили его долго, но не смогли вылечить. Маэстро Кин очень боялся, что он не сумел окружить Живого всем необходимым, и Живой умер от тоски.

— Нет, он умер от старости.

— Сначала мы хотели поставить ему очень большой памятник, чтобы он был виден издалека. Но ведь вы знаете, Живой был невысокого роста, и поэтому маэстро Кин сказал, что статуя должна быть такой, каким был Живой, чтобы и через тысячи лет те, кто будет на него смотреть, видели его таким, каким мы его знали.

Маэстро Кин отобрал для статуи самый лучший метеоритный камень из сокровищницы своего музея. Он говорил, что статую надо обязательно изваять из метеорита в память о том, что Живой пришел к нам из космоса. Было очень много проектов и памятника и постамента. Но в конце концов остановились на этом. На больших постаментах Живой смотрел на нас свысока, а это было не в его характере.

Вы хотели знать, что здесь написано? Эти несколько строк сочинила одна школьница:

Он был веселый, грустный и лохматый,
Гонец Венеры или сын Земли,
Он был во много раз сложней, чем атом,
Всех тайн его постичь мы не смогли.
Он был сложнее и гораздо проще,
Доверчивый, живой метеорит.
Мы в честь него назвали эту площадь.
Он был Живой, здесь прах его зарыт.

Высокий космонавт подошел к гранитному постаменту, ласково потрепал каменную голову собаки, потом вынул из петлицы комбинезона красный цветок и бережно положил его к ногам Живого.

Г. ШАХ

И деревья, как всадники...

Поначалу все было как обычно. Воронихин задавал те вопросы, какие ожидал услышать Сойерс, Сойерс давал те ответы, на какие, видимо, рассчитывал Воронихин.

Да, Вилли Сойерс — тот самый космонавигатор, пропавший без вести вместе с другими 84 членами экипажа «Крошки»,— это мой отец. Профессия у нас наследственная, передается из поколения в поколение. И сын мой поддержал традицию, в прошлом году закончил стажировку, получил первое самостоятельное задание. Сейчас пока работает на малых линиях в пределах Солнечной системы.

Что я могу сказать о «Крошке»? В сущности, ничего такого, чего бы не знала широкая публика. Этот космический гигант, который наградили таким ласковым прозвищем, был сконструирован на славу. Не верю в его гибель. Когда-нибудь мы о нем услышим. Может быть, не мы, а те, кто будет после нас.

Да, мне 46. Нет, начинал я не с пассажирских, пришлось водить грузовые титропланы. Знаете, эти лягушки с раздутым брюхом, их теперь уже не встретишь на трассах, уступили место шкафам. Сколько налетано? Честное слово, не считал. Где-то около триллиона. Жена? Да... Еще дети? Нет... Дом? Везде понемногу, чаще на Марсе.

Они сидели на открытой веранде столичной гостиницы «Мираж», на 300-м этаже. Гостиница была новенькая, несколько вычурной и сумбурной, на взгляд Сойерса, архитектуры. Нельзя не отдать должного технической стороне дела — обслуживание безупречное, такого не найдешь ни на одной другой планете. Любое желание, даже не высказанное вслух, удовлетворяется моментально. Эти забавные, неуклюжие на вид роботы новейшей конструкции ухитряются почти не показываться на глаза, работают ловко и бесшумно, ненавязчивы, почтительны без противного подобострастия,— словом, очень милы. Непонятно только, зачем надо было придавать им такую нелепую наружность. Видимо, дань современной эстетике. Потуги на оригинальность.

— Эй, робби, еще два кофе.

Сойерса с самого начала не покидало ощущение, что визит Воронихина обернется неожиданностью. Утром,

когда журналист позвонил к нему в номер и предложил встретиться, он был озадачен. Приятно, конечно, что в первый же день твоего появления в столице тобой интересуется не какой-нибудь начинающий репортер, а обозреватель со вселенским именем, с необыкновенным даром угадывать значительные общественные проблемы задолго до того, как они заявят о себе во весь голос, человек, каждое слово которого ловится как откровение. Но зачем, спрашивается, ему понадобилась моя скромная персона? Не для того ведь, чтобы сочинить очерк об одном из рядовых трудяг космоса или о благородной семейной традиции. Впрочем, почему бы и нет? В конце концов не такой уж я рядовой.

Сойерс попытался встретиться взглядом со своим собеседником, но тот следил за ловкими движениями белки, карабкавшейся по стволу молодой, изящно изогнутой лиственницы. Веранда была превращена в лесной участок с маленькими лужайками для отдыха и деловых встреч. После кратковременного увлечения закрытыми интерьерами с постоянно меняющимся зрительным фоном, который создавал иллюзию движения, архитекторы вернулись к моде XXXII столетия, когда господствовал лозунг «Назад, к природе».

Сойерс выждал, пока белка скрылась в листве, и сказал с оттенком вызова:

— Почему вы не спрашиваете о моем хобби? Этим, кажется, принято заканчивать интервью с интересными людьми.

Воронихин улыбнулся.

— Я слышал о вашем увлечении, вы пишете исторические повести. Слышал — не то слово, я их читал.

— Но это невозможно! Они были изданы ничтожным тиражом на Марсе и не удостоились упоминания даже в местной печати, не говоря уж о межпланетных изданиях.

— Чистая случайность. Кто-то приобрел вашу книжку, чтобы скоротать время в ракетоплане, и оставил в гостиничном номере, который достался мне. Кстати, это у вас единственная?

— Честно сказать, я до сих пор колеблюсь, стоит ли продолжать? — Сойерс виновато улыбнулся.— Я ведь сознаю, что недалек от графоманства.

— Ваши повести не относятся к числу литературных шедевров, это верно. Вы неумело выписываете характеры и еще хуже мотивируете действие. Зато в них бездна настоящего историзма. У вас способность угадывать детали,

которые помогают зримо представить дух эпохи. От меблировки, утвари, одежды до лексикона и манеры рассуждать.

Воронихин сжал виски ладонями, вспоминая. Когда Сойерс пытался было заговорить, остановил его взглядом.

— Вы слышали что-нибудь о «Безмолвии красного утра»? Нет? Я так и думал. О ней знают лишь немногие специалисты. Эта иллюстрированная книжонка с пышным названием содержит самое точное описание быта и нравов конца второго — начала третьего тысячелетия, то есть как раз того периода, который вы описываете в своем «Начале начал». И вы ухитрились почти дословно воспроизвести такие сочные подробности, что я просто дивился.

Сойерс был польщен и одновременно чуточку задет.

— Надеюсь,— сказал он,— вы не думаете, что я заимствовал эти подробности у древних авторов и позволил себе обойтись без ссылок?

— К сожалению, нет,— возразил Воронихин,— вы сумели их угадать. И знаете, почему я в этом убежден? Потому что рядом с достоверными деталями у вас встречаются дикие ошибки. Да вот пример. Ваш герой пользуется электрической бритвой. Это в тридцатом-то веке, когда успели забыть о таких неуклюжих приборах и научились начисто снимать щетину прикосновением ароматической губки.

— Непростительная оплошность,— признался Сойерс.— Результат спешки. Знаете, мне ведь приходится заниматься литературными опытами в окнах между полетами.

— Ладно, не оправдывайтесь. Разговор сейчас не об этом.

Наконец-то, подумал Сойерс, но собеседник молчал, видимо, обдумывая, как подступиться к делу. Сколько ему может быть лет? Кажется, еще в школе зачитывался его очерками, он уже тогда был знаменит. Кстати, почему он так странно выразился: «К сожалению»? Словно хотел сказать, что предпочтительней заимствовать, чем угадывать. Вот уж, прямо, нелепая мысль.

— Именно это я и хотел сказать.— Воронихин поднялся, обошел столик, подтянул к себе свободное кресло и придвинул его вплотную к Сойерсу.

— Пусть вас не смущает моя проницательность. У меня нет с собой мыслеулавливателя. Честно сказать, вообще не люблю прибегать к этому аппарату. Так вот, я

действительно думаю, что в исторической романистике плагиат лучше изобретательства, даже если оно удачно и опирается на изощренную интуицию. Почему я так думаю вопреки, казалось бы, очевидным нравственным постулатам, вы поймете позднее. Скажите, Сойерс, что вы читали из Брокта?

— Все. Решительно все. Не пропустил ни строчки. Тридцатитомное академическое издание плюс отдельные вещи, изданные вслед. Вот вы сделали мне комплимент, но я ведь не более чем жалкий его подражатель. Что меня больше всего поражает в его таланте, так это эффект присутствия. Наш современник, человек четвертого тысячелетия, он описывает события любой исторической эпохи с такой поразительной достоверностью, будто сам в них участвовал. Этот волшебник заставляет поверить в возможность ясновидения.

— Что вы больше всего у него любите? — спросил Воронихин.

— Трудный вопрос. Пожалуй, это «Хаджи Мурат», «Фиеста», «Шагреневая кожа», из пьес — «Кориолан», «Лиса и виноград». Из поэм — «Торжество Сида», «Мцыри», а впрочем, и все остальное.

Воронихин кивнул:

— Я тоже испытал это чувство восторга. Да так, вероятно, думают все. На протяжении последних двадцати лет опросы общественного мнения неизменно завершались единодушным провозглашением Брокта самым великим писателем современности. Вчера он умер,— добавил Воронихин без перехода.

— Не может быть! — воскликнул Сойерс.— Какая потеря!

— Да. Он был очень стар и к тому же вел нездоровый образ жизни. Дни и ночи проводил за чтением старинных книг, копался в микротеках, пренебрегал правилами физиологической и умственной гигиены. Странно, что его хилый организм так долго выдерживал подобные перегрузки. Но всему приходит конец.

— Какая потеря! — повторил Сойерс.

— Да, но потеря восполнимая,— возразил Воронихин.— Нет, нет, не перебивайте, выслушайте меня до конца. Около года назад я связался с Броктом по видео и попросил согласия на встречу. Он несколько помялся, сказал, что не любит отвлекаться от своих занятий и к тому же не нуждается в очередной хвалебной оде, но я

заверил, что речь идет не об этом, у меня к нему весьма важное дело. В конце концов Брокт уступил.

Мы встретились на другой день, для чего мне пришлось проделать довольно утомительное путешествие. Он живет, прошу прощения, жил в одном из тех уединенных местечек в горной местности, которые служат приютом для поэтов и влюбленных, желающих хоть на время отключиться от мирской суеты. Приходилось ли вам бывать в Одиноком?

— Нет, никогда,— ответил Сойерс,— хотя я слышал о нем немало, и даже как-то врач рекомендовал мне провести свой отпуск именно там.

— Это очаровательный поселок,— продолжал Воронихин,— вернее, даже рассеянная в горах цепь вилл, предназначенных для уединения, насколько оно вообще возможно. Район закрыт для полетов, туда нельзя добраться и на мобилях. Единственный способ — двадцатикилометровая прогулка, а если вы немощны, то вас снабдят древней колесницей, запряженной парой лошадок.

Меня встретила милая старушка, его жена, угостила чаем, заставив попробовать пироги домашнего изготовления,— как видите, не все в этом мире доверяется механизмам. Когда я стал выказывать признаки нетерпения, она сообщила, что Брокт ждет меня в кабинете. Я не стал спрашивать, почему меня не провели к нему сразу. Видимо, супруга Брокта не разделяла стремления своего мужа к одиночеству и рада была даже обществу случайного посетителя.

Брокт встал из-за широченного стола, заваленного кипой бумаг, небрежно протянул мне руку и вместо приветствия сказал:

«Могу уделить вам не больше получаса, мое время слишком ценно.— Потом, заметив гримасу неодобрения и укора на лице жены, добавил: — Это не от чванства, поверьте, у меня действительно остался слишком малый срок, чтобы тратить его попусту». И взглядом дал понять жене, что ее присутствие не обязательно.

«Я собираюсь задать вам всего один вопрос»,— сказал я.

«Спрашивайте».

«Почему вы опубликовали под своим именем поэму, принадлежащую перу Сергея Есенина?»

Эффект был совсем не тем, какого я ожидал. Никаких признаков удивления, или страха, или гнева. Ничего

похожего на то, что должен испытывать вор, пойманный с поличным. Секунду он пристально глядел мне в глаза, потом отошел к окну и, обернувшись ко мне спиной, уставился на уходящую вдаль череду зеленых холмов. Он был очень высок и худ, с узкими плечами, шеи почти не было видно и голова, казалось, росла прямо из туловища. Брокт явно не принадлежал к образцам человеческой расы на высшей ступени ее развития. Я терпеливо ждал, твердо решив не раскрывать рта, пока не дождусь ответа.

— Я ничего не понимаю,— сказал Сойерс.— Какая-то литературная кража в наше время... Сплошная несуразица.

— Я просил вас не перебивать, Сойерс,— сказал Воронихин, — я постараюсь быть кратким.

— Нет, нет, продолжайте, мне некуда спешить.

— Потом Брокт сказал, не оборачиваясь: «У вас есть доказательства?»

Я был готов к этому вопросу. «Нет, но при желании их нетрудно найти, и вам это известно лучше, чем мне».

«Да, вы правы,— сказал он.— Что же, когда-нибудь это должно было случиться. Странно, что так поздно. Я был готов к этому с самого начала.— Он отошел от окна, повернулся ко мне лицом и спросил: — Вы намерены, разумеется, предать свое открытие гласности?» — Слово «открытие» Брокт произнес с подчеркнутой иронией.

«Не знаю,— ответил я.— Прежде всего хотелось бы знать мотивы».

«Ах да, мотивы. Естественно. Вы имеете на это право. Садитесь.— Он указал мне на овальное кресло, а сам прошел к своему месту за письменным столом, сел, выставил вперед костлявые локти и уперся пальцами в виски.— Я, Николай Брокт,— сказал он торжественно, будто пародируя официальные заявления на межпланетных конгрессах,— опубликовал за свою жизнь сорок четыре выдающихся литературных произведения. И все они не мои. В старину это называли плагиатом — изысканное наименование для литературного воровства. Сейчас вы узнаете, почему я это сделал. Кстати, не хотите ли записать мою исповедь?» — Он достал из ящика миниатюрный автописец и щелчком подтолкнул его ко мне по гладкой серебристой поверхности стола.

«Благодарю,— сказал я,— пока в этом нет нужды. К тому же у меня отличная память».

«Ваше дело,— бросил он равнодушно.— Для начала

вам придется выслушать нечто вроде предисловия. Приношу извинения, если все или хотя бы часть того, о чем я собираюсь сказать, вам известно. Без этого не обойтись.

Одна из наиболее сложных проблем, стоящих перед человечеством и приобретающих все более серьезный характер для каждого нового поколения,— это проблема сохранения накопленных знаний. Впрочем, слово «сохранение» не совсем точно выражает суть дела. Хранить можно в конце концов что угодно, от овощей до запасов воздуха. Современная техника позволила сделать практически вечными такие неувядаемые творения человеческого духа, как Пизанская башня или Монна Лиза. В необъятном хранилище знаний сберегаются в микрофильмах все книги, изданные со времени изобретения книгопечатания. Но подавляющее большинство этих ценностей мертво, ибо не потребляется разумом. Да, это именно то слово, которое здесь уместно. Не проблема сохранения, а проблема потребления накопленных знаний.

Первые признаки неблагополучия стали обнаруживаться уже в конце второго тысячелетия. Вам любопытно будет узнать, что в 1970 году на Земле издавалось полмиллиона названий книг. Разумеется, в их числе было много переизданий или переводов. Но поток новинок нарастал с ужасающей быстротой. В 1980 году издавалось около 700 тысяч названий, в 1990 — примерно миллион, а когда человечество вступило в третье тысячелетие, в свет было выпущено свыше полутора миллионов.

Не стану утомлять вас цифрами. Позволю только напомнить, что в прошлом году, по данным Вселенского статистического института, на Земле и других планетах, населенных человеком, опубликовано почти 10 миллиардов названий, причем третью часть этой книжной лавины составляют новые произведения. Я говорю «книжной», потому что форма публикации не имеет значения. Идет ли речь о видеозвукозаписи либо об обычной книге, мы должны принимать в расчет не подобные различия, а сам факт появления новинок».

Брокт теперь расхаживал по комнате, заложив руки за спину, говорил монотонным назидательным тоном, как профессор, читающий популярную лекцию в студенческой аудитории.

«Вернувшись к рубежу второго и третьего тысячелетия,— продолжал он,— мы узнаем, что уже в те времена подавляющее большинство вновь созданных литературных

произведений жили два-три года, от силы пять лет. В сущности, они производились для разового потребления, как пища или одежда. Ремесленнические поделки, служившие средством скоротать или даже убить время, как тогда говорили, они быстро выходили из моды, пылились в подвальных помещениях публичных библиотек, а затем шли на макулатуру.

Я далек от намерения морализировать на сей счет и упрекать наших пращуров в недостатке культуры. Литература, как и всякая другая сфера деятельности, призванная удовлетворять определенную общественную потребность, не может обходиться без массовой продукции. Разве не так обстоит дело и в наше время? Разумеется, сегодняшний читатель несравненно более взыскателен, а средний уровень литературных произведений гораздо выше, чем когда-либо в прошлом. Это естественный результат развития цивилизации. Но соотношение между поделками и шедеврами остается без больших изменений. Весьма вероятно, что какой-нибудь проходной роман, изданный в наши дни, был бы признан выдающимся несколько веков назад. Для нас он остается проходным именно потому, что воспринимается в сравнении с подлинными шедеврами современной эпохи».

Брокт остановился, на секунду задумался, потом, улыбнувшись, подошел ко мне и уже совсем в другой манере, с оттенком дружеской доверительности, сказал:

«Кстати, Воронихин, вы хотели знать мотивы, попробуйте поразмыслить. Первая идея, которая пришла мне в голову, заключалась в следующем: если наша средняя книга была бы принята древними как шедевр, не следует ли отсюда, что средняя книга древних будет принята как шедевр людьми нашего времени? Говорит вам эта идея о чем-нибудь?»

«Нет,— ответил я.— Ровно ни о чем. Она представляется мне абсурдной. Вы только что изволили заметить, что относительно высокий уровень современного литературного производства... признаюсь, мне не очень нравится подобная терминология, но уж раз вы ее употребляете... да, наш средний роман был бы признан в прошлом шедевром. С этим еще можно согласиться. Но наоборот... Прошу прощения, подобная инверсия кажется мне бессмысленной».

«Вовсе нет, вовсе нет,— возразил Брокт.— Как раз потому, что речь идет о ценностях духовных, а не матери-

альных. Действительно, если бы нам вдруг пришло в голову предложить своим современникам, скажем, примитивные ручные часы XXIV столетия, нас бы подняли на смех. Иное дело книга, пусть даже посредственная. Она любопытна и привлекательна, потому что позволяет войти в незнакомый нам духовный мир, удовлетворить тот неистребимый интерес к прошлому, который всегда живет в человеке и на котором зиждется преемственная связь поколений.

Итак, у вас, Воронихин, не возникло никаких догадок. Не огорчайтесь. Мысль об инверсии, как вы выразились, пришла ко мне откуда-то из глубин подсознания и поначалу я ее попросту отбросил. Она показалась мне такой же нелепицей, как и вам».

— Вы не устали, Сойерс? — прервал свой рассказ Воронихин.— Извините, что я многословен и упоминаю малозначимые детали. У меня странная память. Я запоминаю абсолютно все и могу изложить события любой давности, какие пришлось пережить. Однако с обязательным условием не нарушать последовательности. Стоит мне опустить какое-нибудь промежуточное звено, и я не ручаюсь, что вместе с ним не пропадет важная мысль.

— Хотел бы я обладать такой странной памятью,— сказал Сойерс.— Суть дела запоминают все, но самыми ценными иногда оказываются как раз неприметные детали.

— Тогда я продолжаю. Брокт вновь принялся расхаживать по комнате. Ощущалась напряженность, вызванная, видимо, повторным переживанием того озарения, которое посетило его многие годы назад. Уже знакомым движением он приложил пальцы к вискам:

«Если б вы знали, как медленно и мучительно я шел к осознанию своего долга! Не один десяток лет жизни был потрачен на изучение клада, погребенного в хранилище знаний. Едва ли не все его бесчисленные лабиринты были мне знакомы, и я ориентировался в них не хуже расторопных роботов, которые заботились о сохранности архивных материалов, вели учет, давали справки редким посетителям. Среди этих посетителей было немало подлинных энтузиастов, но никто не мог сравниться со мной в самоотверженности. Это не похвальба, я, видимо, отношусь к числу маньяков.

Я пропустил через свой мозг гигантское количество книг. Поначалу в моей работе не было сколько-нибудь про-

думанной системы. Сегодня я смотрел античных поэтов, завтра знакомился с прозой XXX века, послезавтра переносился к героям Великой революционной эпохи. Собственно говоря, это то же самое, чем занимаются тысячи и тысячи историков и литературоведов, собирающих материалы для своих монографий. Однако с одной очень существенной разницей. У них была определенная цель, которая ограничивала рамки поиска. Я действовал бесцельно, брал все, что попадало под руку.

Единственным результатом моей работы было обнаружение некоторых забавных закономерностей художественного творчества, о чем я написал в своей первой и последней научной брошюре. Вряд ли многие ее прочитали. Она того и не заслуживала. То, что показалось мне тогда открытием, было всего лишь банальностью. Помню, я пытался доказать, что все литературные сюжеты сводятся к 12 основным и 64 вариантным. Позднее я узнал, что существует по крайней мере несколько тысяч литературоведческих работ, в которых сообщается о той же закономерности, однако каждый исследователь называет свою цифру.

Я зашел в тупик и склонялся к решению бросить свои бесплодные занятия. Помешала случайность. Зайдя однажды в помещение, где хранились знания XIX—XX веков, я по своей обычной манере наугад назвал серию и какой-то десятизначный номер. Через несколько секунд автомат выдал мне названное произведение, и, устроившись поудобнее в видеокамере, я начал его просматривать. С первых же страниц я понял, что передо мной великий художник. Мастерски построенный сюжет, глубина и многогранность мысли, редкостное понимание человеческой психики и умение передать несколькими штрихами самые сложные ее состояния — все это властно меня захватило. Даже лишенный блеска и фантазии машинный перевод на современный язык не помешал мне ощутить красоту и поэтичность слога. Это была повесть Льва Толстого «Хаджи Мурат» — первое опубликованное мной под своим именем художественное произведение».

Заметив мое движение, Брокт остановил меня жестом:

«Вы хотите спросить, почему понадобилось выдать повесть Толстого за свое произведение? Потому что другого способа вернуть ее людям не существовало».

— Должно быть я простак,— сказал Сойерс,— но вам придется меня просветить. Еще в школьные годы я пере-

читал всего Толстого: «Войну и мир», «Анну Каренину», «Воскресение». Мне просто не приходило в голову, что у него могут быть другие вещи. Помнится, даже в учебнике не было никаких сведений на сей счет.

— Видите ли, Сойерс, то, о чем я собираюсь вам сейчас рассказать, касается одной из наиболее деликатных и трудно разрешимых проблем развития человеческой культуры. В прошлом вокруг нее бурлили страсти, она была предметом ожесточенных дискуссий, практически не сходила с повестки дня Центрального научного совета. И сейчас еще отзвуки этих дискуссий можно встретить на страницах специальных журналов. Но у людей, занимающихся организацией культуры, существует как бы молчаливое соглашение не привлекать к этой проблеме широкого внимания. Само собой разумеется, что речь идет не о сговоре — вам, видимо, известно это старинное словечко — или намеренной утайке тревожной информации. Специалисты руководствуются лишь чувством такта и, если хотите, нежеланием без надобности ранить общественное мнение. Им приходится нелегко. Нужно иметь немало мужества и готовности к моральному подвижничеству, чтобы принять на себя бремя ответственности за погребение ценностей духа, бремя мучительных переживаний из-за невозможности сделать эти ценности достоянием современников.

Вы понимаете, что я имею в виду не бездарную литературную стряпню и даже не слабые неудавшиеся вещи крупных художников. Испанский драматург эпохи позднего средневековья Лопе де Вега сочинил несколько сот пьес. Спустя 100 лет на сценах изредка представляли всего две его пьесы: «Хозяйку гостиницы» и «Овечий источник». Все прочее было начисто забыто. Как бы ни принимались те или иные произведения в момент своего появления на свет, они подвергались затем суровому испытанию временем, которые выносило беспристрастный и не подлежащий отмене приговор: отбирало крупицы истинного и вечного искусства, отбрасывало шлак.

Иными словами, в литературе шел и продолжается жестокий естественный отбор. Но на определенной стадии развития цивилизации его оказалось недостаточно. Человечество стало производить гораздо больше художественной продукции, чем оно в состоянии потребить. Возникла опасность, что в результате неконтролируемого выбора люди будут проходить мимо значительной части того, что издавна принято называть золотым фондом литературы.

Первые попытки регулировать процесс потребления художественных ценностей нашли выражение в специально подобранных библиотечках мировой классики. Такое издание, например, было предпринято в Советском Союзе по почину Горького. В 60—70-х годах оно было повторено в количестве 60 томов. Любопытно, что из произведений Толстого были включены только «Война и мир» и «Анна Каренина».

Вам должно быть известно, Сойерс, что в прошлом году завершена публикация очередного собрания шедевров. Благодаря современным техническим средствам оно умещается в небольшом чемоданчике. Но подобная миниатюризация нисколько не облегчает задачи прочтения 15 тысяч томов, отобранных при крайне высоких требованиях. 15 тысяч — именно столько содержит это собрание классики. Если читать в день по книге, отставив в сторону все прочие занятия, то понадобится свыше 40 лет, чтобы проглотить этот океан художественных ценностей. Разумеется, сроки жизни значительно удлинились. Разумеется, современная аппаратура до предела облегчила процесс чтения и нам не приходится расходовать время на перелистывание страниц. Разумеется, теперь существуют методы интенсивного поглощения информации. Но все это не имеет принципиального значения, возможности человеческого мозга не безграничны.

Когда вы учились в школе, вам рекомендовали три романа Толстого. В последнем собрании уже отсутствует «Воскресение». Боюсь, что в следующем издании не найдется места для «Анны Карениной». Я постоянно возвращаюсь к Толстому, чтобы иметь некий эталон для уяснения тенденции. Конечно, «Анна Каренина» еще некоторое время будет находиться в обращении, но очередным поколениям просто будет не до нее: надо ведь овладеть официально отобранным золотым фондом да вдобавок поглощать огромное количество текущей информации. Как бы нас ни влекло к шедеврам прошлого, мы не можем обойтись без чтения новинок, даже тех, которые не относятся к числу шедевров. Что поделаешь, такова жизнь.

Сейчас специалисты обсуждают проект радикального сокращения золотого фонда. Именно радикального, потому что рекомендовать 15 тысяч — все равно что вовсе отказаться от рекомендации. Одни называют цифру пять тысяч, другие призывают ограничиться всего одной ты-

сячью. Страшно подумать, кого затронет эта операция и чего мы лишимся! Именно лишимся.

После встречи с Броктом я наводил справки в хранилище знаний, причем не в лабиринте, а в верхних отсеках, где содержатся книги, которые числятся в читательском обиходе. Мне сообщили, что многие из них в последний раз спрашивали 200—300 лет тому назад. Если книга остается без спроса более 500 лет, она отправляется в лабиринт.

Теперь примите во внимание, что речь шла до сих пор о чтении вообще, о свободном процессе приобщения к ценностям культуры, удовлетворения потребности в эстетическом наслаждении. Несравнимо сложнее проблема обязательного образования. Правда, мы уже давно признали негодными попытки унифицировать сознание, навязывать каждому новому члену человеческого сообщества строго определенный набор знаний. Возможность широкого выбора в соответствии с природными склонностями и вкусом — предпосылка того многообразия индивидуальностей и талантов, которое позволяет человеческому роду умножать свой коллективный разум, делает его способным ставить и решать самые головоломные задачи.

С другой стороны, человек не может стать человеком, если каким-то способом не приобщен к своему роду, не ощущает свою слитность с человечеством. И тут не поможет ни инстинкт, ни даже общность языка — всегда можно забыть свой язык и выучиться чужому. Мы с вами, Сойерс, понимаем друг друга прежде всего потому, что нас объединяет культура, выношенная за тысячелетия развития земной цивилизации. Как бы ни различались люди по профессиям, интересам, склонностям, они объединены Гомером, Шекспиром, Микеланджело, Бетховеном, Достоевским, великими сынами Земли третьего тысячелетия.

Знаете, Сойерс, в наше время специализация настолько углубилась, требует такой самоотдачи и предельного сосредоточения, что представители диаметрально противоположных профессий давно перестали бы понимать друг друга, не будь у них этого чудесного духовного родства. Вот почему с полным основанием можно сказать: человек стал человеком благодаря труду, приобрел могущество благодаря науке, но остался человеком благодаря искусству.

Простите, я увлекся. Так вот, никто не может поручиться за художественное чтение взрослого человека, и

тем более, если он маниакально увлечен своим делом. Поэтому решающее значение имеет тот запас литературных впечатлений, который мы приобретаем в детстве и юности, когда память чиста, чувства свежи и над всем существом нашим господствует неутолимая жажда познать мир, жизнь, самих себя. Какой бы экзотический род занятий человек потом ни избрал, это останется в нем навсегда. Но невозможно поглотить тысячи названий, поневоле приходится ограничиться тремя-четырьмя сотнями. И мы оставляем для юности шедевры из шедевров, беря от самых гениальных самое гениальное. Все прочее с болью в сердце выбрасывается за борт, иначе лодка будет перегружена и не пригодна к плаванию.

Теперь вы понимаете, что, когда Брокт отыскал «Хаджи Мурата», его первым побуждением было вернуть человечеству утраченное им сокровище. Но как? Сообщить об этом в печати, развернуть новую дискуссию? Этот путь не обещал успеха. Ведь, по сути дела, речь шла о попытке вызвать неконтролируемый процесс извлечения из лабиринта сотен и тысяч забытых произведений, что неминуемо привело бы к утере найденного равновесия, перечеркнуло результаты естественного отбора и огромной избирательной работы.

Я и не заметил, что вновь говорю словами Брокта. Как сейчас, вижу его перед собой: ссутулившись, уставившись взглядом в какую-то точку над дверным косяком, он рассуждает сам с собой, в который раз судит себя и ищет оправдание своему поступку.

«Легче всего,— говорил он,— было бы махнуть рукой и отправить повесть туда, где она пролежала без движения почти пятнадцать веков. Поначалу я так и сделал. Но уже через неделю прибежал в лабиринт, затребовал тот же номер и опять с наслаждением погрузился в чтение. Меня не покидало ощущение, что я нашел исключительную ценность и держу ее для себя, утаиваю от человечества. Утаить — значит украсть. И вместе с древним словом «вор» мне пришла в голову счастливая идея: а что, если опубликовать книгу заново под своим именем? Она получит право на жизнь как исторический роман, созданный в наше время, и ее наверняка прочитают десятки тысяч людей, внимательно следящих за литературными новинками. Тщательно отредактировав машинный перевод, сознательно внести в речь героев несколько модернизмов — пусть потом критики отмечают, что автору не всег-

да удалось передать речевой колорит эпохи, заручиться отзывами специалистов — вот и все дело.

Долго и мучительно я размышлял, имею ли моральное право на такой поступок. Плагиат — одно из самых отвратительных преступлений. Ведь присвоить себе чужую мысль несравненно хуже, чем украсть вещь.

Но разве, возражал я сам себе, можно назвать актом присвоения действие, имеющее целью вернуть шедевру вторую жизнь? Разве такое возрождение не важнее, чем абстрактное понятие справедливости? Я даже пытался вообразить, что сказал бы сам Толстой. Истинный художник, он, не задумываясь, предпочел бы, чтобы его творение жило под чужим именем, чем отлеживалось в хранилище знаний. В конце концов столь ли важно, какому имени будет воздана хвала? В древности ставили памятники неизвестному солдату, олицетворяя тем самым общий подвиг народа, сражавшегося за свободу. Может быть, и нам следовало бы воздвигать монумент неизвестному художнику, отдавая тем самым дань признания человеческому гению вообще?»

«Почему вы не прибегли к псевдониму?— спросил я.— Это в какой-то мере сняло бы остроту проблемы».

«У меня была такая мысль, но, поразмыслив, я от нее отказался. Псевдоним практически никогда не остается нераскрытым. В наше время его используют чрезвычайно редко и всегда по каким-то особо деликатным соображениям. Выплыви секрет наружу — возникли бы подозрения, стали бы доискиваться причин, а все это, неприятное само по себе, могло помешать моему намерению. Нет, полурешений здесь не могло быть. Надо было либо вовсе отказаться от затеи, либо браться за нее без оглядки.

Первое издание я считал своеобразным экспериментом. Если обман обнаружится — я выступаю с саморазоблачением, излагаю мотивы своего поступка, и пусть меня судят по всем законам морали. Если все будет в порядке — я продолжаю. Теперь все было просто и оставалось действовать: искать все забытое из творчества признанных классиков, отбирать самое ценное, редактировать перевод, модернизировать, издавать. Словом, рутина».

«Не могу понять одного,— сказал я,— каким образом могло случиться, что никто не обнаружил плагиата? Просто немыслимо».

«А кто вам сказал, что его не обнаружили? — возразил Брокт.— Кстати, это сделали вы сами».

«Чисто случайно и притом только сейчас, на сороковой вашей книге».

Я чуть было не поперхнулся, произнося слово «вашей». Он заметил это и пожал плечами. Встал, походил по комнате, опять вернулся к своему месту. Теперь уже напряженности в нем не чувствовалось, он явно устал и тяготился нашим разговором.

«Плагиат,— сказал Брокт,— был раскрыт первым же человеком, к которому я обратился за отзывом. Я не вправе называть вам его имя, могу лишь сказать, что это был крупный историк, один из лучших знатоков этой эпохи. В самом обращении к нему содержался рассчитанный риск».

«Вы изложили свою аргументацию, и он решил вам не препятствовать? Так ведь?»

«Да. Он сказал, что я беру на себя грех ради благородного дела и если обман раскроется, а это обязательно случится, то мне все равно поставят памятник с надписью: «Величайшему из плагиаторов Брокту — благодарное человечество».

Я не удержался от улыбки, которая привела моего собеседника в крайнее раздражение.

«Неужели вы не можете понять,— почти закричал он,— что лично для себя я ничего не искал. Мне не нужна слава, я-то хорошо знаю, что ее не заслужил. Всю жизнь я провожу в уединении, избегаю общения с людьми именно потому, что стыжусь принимать от них знаки уважения и признательности. Разве одного этого недостаточно, чтобы искупить вину, если вообще ее можно назвать виной!»

«Простите, я вовсе не хотел вас обидеть,— сказая я и, чтобы как-то преодолеть возникшую неловкость, добавил: — Поверьте, я не только вас не осуждаю, но, напротив, высоко ценю ваше мужество».

«Я сам должен просить у вас извинения за свою вспыльчивость,— сказал он смягчившись.— Но вы должны понять мое состояние. Как бы я ни был убежден в свой правоте, вот уже двадцать лет я каждый день встаю с предчувствием, что буду разоблачен и выставлен на осмеяние. Я-то понимаю, что даже оправдав мои действия с точки зрения нравственной, люди все равно будут смеяться — вот плут, перехитривший все человечество».

«Почему же...» — начал было я возражать, но он, не слушая, продолжал:

«Впрочем, мне это безразлично. Пусть смеются. Я свою

задачу выполнил, а это в конце концов самое важное. И знаете, что я вам еще скажу? Я глубоко убежден, что и другие специалисты обнаружили плагиат. Иначе не могло быть. По моим подсчетам, как минимум три-четыре человека должны были это сделать. Почему же они молчали? Видимо, по той же причине: соглашались и одобряли. А почему не дали знать хотя бы мне, что им известно все? Очевидно, потому, что не хотели становиться соучастниками.

Так или не так, но мне никто не помешал. После удачного эксперимента с «Хаджи Муратом» я выпускал книгу за книгой. Мог бы издать гораздо больше, но приходилось делать паузы: шедевры ведь не пекутся как блины».

«Знает ли об этом ваша жена?» — спросил я.

«Нет,— ответил он,— не хотел осложнять ей жизнь, она и без того не очень сладкая. Вот, собственно говоря, и все. Что же вы намерены делать, имея на руках такую сенсацию?»

«Ничего. Молчать»,— ответил я, вставая. Мы пожали друг другу руки, Брокт проводил меня к выходу. Старушки не было видно. У порога он сказал:

«Знаете, о чем я больше всего жалею? О том, что у меня нет продолжателя».

— Теперь вы понимаете, Сойерс, почему я все это вам рассказываю?

— Еще бы не понять,— сказал Сойерс.— Вы всерьез думаете, что я возьмусь за такое дело?

— Да. Выбор на вас пал не случайно. Во-первых, вы уже начали пробовать силы в литературе и появление новых работ будет вполне естественно. Скажут лишь, что ваш талант дозрел и заблистал новыми гранями. Во-вторых, и это может быть еще более важно, люди вашей профессии обладают, как правило, и мужеством, и развитым чувством долга. Словом, у вас есть все необходимое, чтобы взяться за такое дело.

— А почему вы не беретесь за него сами?

— Я ждал этого вопроса,— сказал Воронихин.— Можете быть уверены, если бы это было возможно, я не задумался бы ни на минуту. Не в моем характере сваливать на других ношу, какую способен поднять я сам. Но судите сами, я журналист со сложившимся стилем и, смею сказать, достаточно широко известен читающей публике. Никто не поверит, если вдруг Воронихин начнет выступать с историческими романами, пьесами и даже поэмами. Нет,

моя кандидатура не подходит ни по каким статьям. Подумайте, Сойерс, подумайте и решайтесь.

— Я все еще не могу привыкнуть к мысли, что в наше время может существовать только такой, не знаю даже как выразиться, странный, что ли, выход из создавшегося положения. Мы уже успели забыть само слово «плагиат», а тут...— Сойерс замолчал. Мимо их столика прошли девушка с пожилым мужчиной. Они оживленно беседовали о чем-то своем и, конечно, им не было никакого дела до чужих забот. Сойерсу внезапно пришла в голову мысль, что впервые в жизни он побоялся быть услышанным.

Он встал, подошел к высокой прозрачной балюстраде, заглянул вниз. Там расстилался огромный белый город, утопающий в зелени. Насколько видел глаз, тянулись нескончаемой цепью здания самых причудливых форм и конструкций. Высота позволяла оценить совершенство спиралеобразной планировки, которая оставляла достаточно простора для движения и вместе с тем объединяла архитектурные комплексы в единое стройное целое. В столице, отстроенной заново полвека назад, была всего лишь одна бесконечная магистраль. В чистом голубом пространстве мелькали аэроколяски, красочными пятнышками катились по подвесным дорогам мобили.

Всю жизнь быть готовым к разоблачению и осмеянию, утаивать от людей свое истинное занятие. А как он сможет утаить это от близких, друзей, как будет смотреть в глаза сыну? Нет, эта ноша не для него.

Воронихин подошел, встал рядом, молча ждал.

— Сожалею,— сказал Сойерс,— но я не смогу оправдать ваши надежды. Вот вы говорили о мужестве. А ведь оно неоднозначно. Одно мужество не похоже на другое. Я не колеблясь пойду в самый рискованный полет и отдам свою жизнь, если этого потребует мой долг. Но здесь нужно совсем другое. Не бесстрашие, а готовность к мученичеству. У меня ее нет.

Да и нет ясности. Трудно поверить, что вы да я, несколько одиночек, в состоянии решить проблему более разумно, чем все общество. Ведь есть ситуации, когда не обойтись без выбора. Нам то и дело приходится от чего-то отказываться. Досадно, конечно, но не должна ли служить некоторым утешением мысль, что забытые шедевры вошли в пласт человеческой культуры, на который смогли потом лечь другие слои, более совершенные?

— Помимо всего прочего, эти шедевры вытеснили часть сегодняшних поделок,— возразил Воронихин.

— Все равно это паллиатив, полумера. Ведь объема человеческого мозга, возможностей памяти, восприятия информации Брокт не увеличил. И вот еще что. Я сознаю, что как литератор не многого стою. Но это мое, собственное, выношенное. У меня, наверное, как и у каждого нормального человека, есть свое маленькое тщеславие, оно не позволит заниматься переписыванием других. Лучше уж я буду сочинять сам. По-моему, Брокт именно потому смог пойти на это дело, что сам писать не умел.

— Может быть,— сказал Воронихин. Он вздохнул, развел руками.— Что ж поделаешь, видимо, суждено делу Брокта остаться без продолжения. Разве что найдется еще один такой же энтузиаст. Простите, Сойерс, что зря отнял у вас время.— Улыбнулся и добавил:— Ну а если все-таки передумаете, так дайте мне знать. Я снабжу вас на первое время рекомендательным списком.

— Это Брокт вам дал?

— Да, он переслал его мне незадолго до смерти. Без всяких комментариев, просто листок, на котором значится два десятка названий. До свидания.

— Одну минуту,— сказал Сойерс.— Объясните, Воронихин, как вам удалось раскрыть обман.

— Видите ли, сомнения у меня возникли давно. Меня поражала разносторонность Брокта. В наше время не столь уж неожиданно сочетание в одном человеке самых различных дарований. Но легче быть, скажем, выдающимся химиком и композитором, чем выдающимся композитором в легкой и серьезной музыке или химиком в органике и неорганике. А Брокт был гением и в драме, и в прозе, и в стихах, и в сатире. Вспомните знаменитый «Остров пингвинов». Кстати, его автор — французский писатель Анатоль Франс. Но все это были не более чем смутные сомнения. Помог странный случай.

Мои предки русского происхождения, о чем легко судить по фамилии. Один из них был страстным любителем литературы, причем особенно преклонялся перед талантом Есенина. Из поколения в поколение передавалась эта страсть, и хотя старинные стихи постепенно забывались, уступали место современным, каждый в роду передавал своим наследникам то, что осталось в памяти. Мой отец как-то декламировал одно из забытых стихотворений, и мне оно запомнилось. Особенно я был пленен силой и не-

обычным лиризмом слов «И деревья, как всадники, съехались в нашем саду». Всего одна строка, Сойерс, но какая! Когда я встретил ее у Брокта — сомнений не оставалось.

— Да, но строку могли придумать заново. Вы ведь знаете, что теоретически все повторяется. Существует даже шутка, что если дать обезьяне автописец и не ограничивать ее временем, то когда-нибудь она воспроизведет дословно все творения, созданные гением.

Воронихин протянул руку для прощания:

— Знаете, Сойерс, я ценю математические абстракции, но при всем к ним уважении убежден: такие строки сочиняются только раз.

человек



ОБ АВТОРАХ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК»

Биленкин Дмитрий Александрович (1933). Писатель, член ССП. По образованию геолог-геохимик, много лет работал в научной журналистике. Живет в Москве. Автор нескольких научно-популярных книг. Дебютировал в фантастике в 1958 г., с тех пор им написаны десятки рассказов и повестей. Автор научно-фантастических книг «Марсианский прибой» (1967), «Ночь контрабандой» (1971), «Проверка на разумность» (1974), «Снега Олимпа» (1980).

Гуревич Георгий Иосифович (1917).. Писатель, член ССП. По образованию инженер-строитель. Живет в Москве. Дебютировал в фантастике в 1946 г. Автор научно-фантастических книг «Рождение шестого океана» (1960), «Прохождение Немезиды» (1961), «Пленники астероида» (1962, 1965), «На прозрачной планете» (1963), «Мы — из Солнечной системы» (1965), «Месторождение времени» (1972), «Нелинейная фантастика» (1978), «Темпоград» (1980). В 1967 г. выпустил литературоведческую книгу о фантастике «Карта страны фантазии», а в 1983 г.— «Беседы о научной фантастике».

Ларионова Ольга Николаевна (1935). Писатель, член ССП. По образованию физик. Живет в Ленинграде. Дебютировала в фантастике в 1964 г., с тех пор опубликовала несколько повестей и рассказов, печатавшихся в антологиях и периодике. В 1971 г. вышел авторский сборник О. Ларионовой «Остров мужества» (в который был включен роман «Леопард с вершины Килиманджаро»), в 1981 г.— «Сказка королей», в 1983 г.— «Знаки Зодиака».

Колупаев Виктор Дмитриевич (1936). Писатель, член ССП. По образованию радиоинженер. Живет в Томске. Дебютировал в фантастике в 1966 г. Автор научно-фантастических книг «Случится же с человеком такое» (1972), «Качели Отшельника» (1974), «Билет в детство» (1977), «Фирменный поезд «Фомич» (1979), «Зачем жил человек?» (1982), «Поющий лес» (1984).

Д. БИЛЕНКИН

Проба личности

Внимание Поспелова привлекли голоса за дверью. Он приостановился. Вечера в интернате не отличались тишиной, дело было не в шуме, который доносился из кабинета истории, даже не в том, что ребята, похоже, занялись там чем-то скрытым от глаз учителя. На это они имели полное право. Кому, однако, мог принадлежать фальцетом срывающийся, явно старческий и, судя по интонации, перепуганный голос?

— Помилосердствуйте... Все пакостные наветы недругов моих, клевещущая злоба завистников...

Что за странная лексика! Впрочем, это кабинет истории, там все может быть...

— Нет, Фаддей Венедиктович,— послышалось за дверью.— Вы, пожалуйста, ответьте на наш вопрос.

Фаддей Венедиктович? Поспелов сдвинул брови. Какое необычное имя! И почему-то знакомое. Фаддей... Венедиктович... «Так, это же Булгарин! — ахнул Поспелов.— Девятнадцатый век, Пушкин, травля, доносы... Ничего не понимаю!»

Уже давно вид закрытых ребятами дверей не мог навести педагога на мысль о чем-то дурном, но так же точно в подобной ситуации и педагог не был для ребят нежеланным гостем. Без долгих размышлений Поспелов толкнул дверь и, войдя в пемещение, тихонько притворил ее за собой.

Семеро мальчиков и девочек не заметили его бесшумного появления. Они были так увлечены своим занятием, что отвлечь их, чего доброго, не смогло бы и нашествие инопланетян. Слова вопроса, с которыми Поспелов хотел к ним обратиться, остались непроизнесенными. И немудрено! Там, где он очутился, был самый обычный, погруженный в полумрак школьный кабинет, в котором сидели столь же несомненные, хорошо знакомые учителю подростки двадцать первого века,— голоногие, голорукие, весьма взволнованные и привычно сдержанные. Но такой же несомненной, такой же подлинной была смежная реальность — как бы продолжавшая аудиторию комната, изразцовое

чело печи в простенке, конторка с впопыхах брошенным поверх рукописи гусиным пером, шкаф с темными корешками книг на полках, узкое и высокое окно, в которое падал хмурый свет дня, явно петербургского, потому что над крышами вдали вставал шпиль Петропавловки. И ничто материальное не отделяло эту комнату от действительности двадцать первого века: просто в двух шагах от ребят акмолитовое покрытие пола кончалось, как обрезанное ножом, и сразу начинался навощенный паркет. Вот только свет из окна, озарявший фигуру у конторки, не проникал за черту, хотя в воздухе ему не было никакой видимой преграды.

Но не эта реальность состыковки двух эпох поразила учителя. Будучи физиком, он прекрасно понимал, что все находящееся там, за чертой, столь зримое и очевидное, на деле было произведением фантоматики, не отличимой от настоящего моделью прошлого, сотканной компьютером голограммой. Парадокс, обратный тому, который возникает при быстром мелькании спиц в колесе: там грубая сталь, оставаясь веществом, расплывается в призрак, здесь призрачное ничто превращалось для взгляда в самую что ни на есть подлинную и телесную материю. Туда, в девятнадцатый век, можно было даже шагнуть, потрогать предметы, но лишь затем, чтобы убедиться в мнимости и той конторки, и этого массивного с завитушками шкафа, и этих резных кресел, столь же проницаемых для взмаха руки, как самая обычная тень. И в том, что среди всей этой иллюзорной обстановки находился прилизанный, с лоснящимся от пота лицом Фаддей Венедиктович Булгарин (Видок Фиглярин, по нелестной аттестации современников) — тоже не было ничего исключительного. Как все остальное, компьютер и его моделировал по рисункам, запискам, воспоминаниям той эпохи, воссоздал облик, душевный склад, характер мыслей, наделил фантом самостоятельной, насколько это вообще возможно, жизнью доподлинного Фаддея Венедиктовича, так что фигура у конторки могла слушать, думать, говорить и чувствовать, как сам Булгарин. Нового для Поспелова тут ничего не было. Всего несколько лет назад шальная жажда справедливости толкнула его, тогда еще студента, подобным образом воссоздать Лобачевского, чтобы хоть тень великого человека услышала благодарность потомков, ведь Лобачевский при жизни не дождался ни единого слова признания, даже простого понимания своего труда. Однако уже ослепший старик сразу

перебил его излияния: «Благодарю вас, сударь, но я и так знал, что моя воображаемая геометрия будет нужна».

Вот тебе, поделом!

Однако сейчас от Поспелова ускользал самый смысл затеи, и он не мог понять того странного разговора, который завладел его вниманием.

— Повторяю вопрос, Фаддей Венедиктович. Вы понимали значение Пушкина в литературе?

Поспелов сразу узнал говорящего: Игорь, конечно, и тут был главным!

— Понимал-с, прекрасно понимал, ваше...

— Напоминаю: без титулов, пожалуйста!

— Хорошо-с,— казалось, что Булгарин при каждом слове мелко раскланивается, но это впечатление создавал его пыряющий, с придыханием голос, потому что телесно он держался со смиренным достоинством.

— Если вы понимали, кто такой Пушкин, то почему вы его травили?

— Ложь сплетников и низких клеветников! Я, я — травил?! Господи, пред тобой стою, всегда желал Александру Сергеевичу добра, стихи его с восторгом печатал, мне он писал приятельски, сохранил, как святыню... могу показать...

Рука Булгарина дернулась к конторке.

— Не надо,— в голосе Игоря прорвалась брезгливость.— Эти письма двадцатых годов нам хорошо известны. Скажите лучше, что вы писали о Пушкине, например, в марте и августе 1830 года.

— Не отрицаю! — поспешно и даже как-то обрадованно воскликнул Булгарин.— Случалось, пенял достопочтенному Александру Сергеевичу, звал, некоторым образом, к достойному служению царю и отечеству. Не понят был, оскорблен эпиграммами, поношением литературных трудов моих, недостойным намеком на прошлое супруги, но зла — упаси боже! — не сохранил, ту эпиграммку сам напечатал, рыдал при безвременной кончине Александра Сергеевича... Заносчив был покойный, добрых советов не слушал, ронял свое величие поэта, так все мы, грешные, ошибаемся! Господи, отпусти ему прегрешения, как я их ему отпустил...

От обилия чувств лицо Булгарина покривилось, он сконфуженно утер слезу.

Шелест возмущения прошел по залу. Одна из девочек даже вскочила, готовая броситься, выкрикнуть потрясшее

ее негодование. Остальным удалось сохранить спокойствие, только взгляды всех сразу устремились на Игоря. Девочка, помедлив, села. Губы Игоря сурово сжались. «Да,— сочувственно подумал Поспелов.— Вот это и есть демагогия, с которой вы, ребятишечки, никогда не сталкивались. Такого ее мастера, как Фаддей, голыми руками взять и надеяться нечего... И чего, интересно, вы хотите добиться, милые вы мои?»

— Значит, добра желали,— слова Игоря тяжело упали в зал.— Тогда поясните, как это ваше утверждение согласуется с тем, что вы секретно писали и говорили о Пушкине Бенкендорфу?

Сжав пальцами край конторки, Булгарин подался вперед, будто желая лучше расслышать. Его глаза, в которых еще стояли слезы, моргнули, совсем как у старого, привычного к побоям пса. Никакого звука он, впрочем, не издал.

— Забыли? Может быть, напомнить вам некоторые ваши доносы? Этот, например: «К сему прилагаю все тайно ходящие в списках стихи г. Пушкина, содержание которых несомненно изобличает вредный уклон его мыслей...»

«Ого! — изумился Поспелов.— Где они нашли такой документ! Впрочем, что я... Это же артефакт, иначе в учебниках было бы. Конечно! Такого доноса Булгарина не сохранилось, но как палеонтолог по одной кости способен реконструировать скелет, так и центральный компьютер, к которому ребята несомненно подключились, может по известным фактам и записям воссоздать утраченный текст. Не дословно, но вряд ли и сам Булгарин хорошо помнит написанное им когда-то... Рискованно, но, кажется, ребята попали в самую точку».

— ...Назвать день, когда вы это написали?

Ответа не последовало. Что-то шепчущие губы Булгарина побелели, он пошатнулся, криво оседая в ближнее кресло.

— Страховочный импульс!!! — бешено крикнул Игорь.— Упредить не могли?!

— Спокойно, спокойно,— ломким басом отозвался второй с края подросток. Его короткие пальцы проворно коснулись чего-то на пульте дистанционного управления, который он держал на коленях. Склоненное лицо подсветили беглые огоньки индикатора.— Это не сердечный приступ (Поспелов невольно вздрогнул), даже не обморок. Просто испуг и ма-аленькая игра в жука-притворяшку.

— Но ты хоть сбалансировал тонус?
— Еще бы! Пусть посидит, отдохнет, поразмыслит...
— А обратная связь?
— Отключена. Не видит он теперь нас и не слышит — эмоционируй, как хочешь!
Поспелов вжался в тень, ибо ребята тут же повскакали с мест. Всех прорвало. Всем не терпелось высказаться, все спешили сказать и кричали наперебой, как только возможно в их возрасте.
— Вот тип!!! С таким слизняком возиться — потом год тошнить будет...
— Игорь, чего ты: «Пушкин да Пушкин!» Надо по всему спектру, исподволь, а ты — бац!.. Я тебе медитировал, медитировал...
— Нет, ты представь, каково было Пушкину! Вот только он написал «Пророка», в уме еще не остыли строчки «И внял я неба содроганье...», а в редакции к нему с улыбочкой Булгарин, и надо раскланиваться с этим доносчиком, руку жать...
— Раскланивался он с ним, как же! Он в письмах его «сволочью нашей литературы» называл...
— То в письмах! А в жизни от него куда денешься...
— ...Ленка, ты заметила, какие у Булгарина стали глаза? Печальные-печальные... И ведь Пушкина в своей газетке он величал Поэтом, не как-нибудь!
— А я что говорила! Жизнь у него была собачья, может, не так он и виноват...
— Кто?! Не виноват... Булгарин?!
— Ну о чем вы... Надо разобраться, выяснить...
— Нет, вы слышали?! Она ему сочувствует!!!
— Почему бы и нет? Надо по справедливости.
— А он к кому-нибудь был справедлив?
— Так это же он! Уподобиться хочешь?
— Что, что ты сказала? Повтори!
— Ничего я не сказала, только булгарины и позже были. Гораздо позже, а раз так...
— Увидите, каяться он сейчас будет. Возразить-то нечего. Даже скуч...
— Тихо! — Игорь предостерегающе вскинул руку.— Приходит в себя. По местам, живо! Петя, готовь связь, а вы думайте, прежде чем советовать...
Все тотчас смолкло. Будто и не было суматохи, крика, задиристой перепалки, привычка к самодисциплине мигом взяла свое. Свободно и непринужденно, в то же

время подтянуто и достойно в зале сидели... судьи? Нет. Но и не зрители. И уж, пожалуй, не дети. Исследователи. У всех в ушах снова очутились медитационные фоноклипсы, которые позволяли Игорю улавливать мысленные советы, отбирать лучшие, так что мышление становилось коллективным, хотя разговор вел только один. Поспелов невольно залюбовался знакомыми лицами, на которых сейчас так ясно отражалась сосредоточенная работа ума и чувств. Вмешиваться не имело смысла. Какой бы ни была поставленная цель, ребята подготовились серьезно, с той ответственностью и внутренней свободой, без которой не может быть ни личности, ни гражданина, ни самого человека.

Веки Булгарина меж тем затрепетали. Он исподтишка кинул быстрый, опасливый взгляд. Помертвел на мгновение. Вялая рука сотворила крестное знамение. Лицо его как-то внезапно успокоилось, он тяжело поднялся, старчески прошаркал вперед и выпрямился с кротким достоинством.

— Сидите, если вам трудно,— поспешно сказал Игорь.

— Не слабостью угнетен,— тихо прошелестело над залом. Губы Булгарина горестно дрогнули.— Тем сражен и повержен, что и тут настигла меня клевета...

— Вы хотите сказать, что никогда не писали доносов на Пушкина?

— То не доносы... То крик совести, то служба подданного, ради которой страдал и страдаю. Никем, никем не понят! — голос Булгарина надрывно возвысился, руки широко и моляще простерлись к залу.— Тебе, всеблагий, открыты истинные порывы моей души, суди справедливо!

Голос упал и сник. Поспелова точно обдало холодом, ибо теперь, после этих слов, ему с пугающей ясностью открылось то, о чем он уже смутно догадывался, но от чего, протестуя, убегал его смятенный ум. Ведь это же... Чем или кем должны были представиться Булгарину вот эти самые подростки?! Адским наваждением? Галлюцинацией? Самим судом божьим?!

В любое из этих допущений Булгарину, конечно, было поверить легче, чем в истину. Неважно, что никакого подлинного Булгарина здесь не было. Этот воссозданный голографией и компьютерной техникой призрак вел и чувствовал себя так, как в этих обстоятельствах мог себя вести и чувствовать живой Фаддей Венедиктович. Несом-

ненно, ребята успели ему внушить (или даже заранее вложили в него это знание), что с ним говорят потомки. Но психика, пусть всего лишь психика модели, руководствуется представлениями своей эпохи. Значит, фантом мог думать...

Разумеется, мог.

Поспелов растерянно взглянул на ребят. Ощущают ли они хоть каплю той жути, которая овладела им?

Не похоже. В жизнь Поспелова фантоматика вошла как новинка, а вот для них она была привычной данностью. Зато все ирреальное, потустороннее, что когда-то страшило ум, было для них фразой в учебнике, безликим фактом далекого прошлого, который надо было рационально учесть, когда имеешь дело с этим прошлым, только и всего. Просто Игорь нагнулся к Пете и осведомился шепотом: «Насчет бога, это он как, искренне?» Тот пожал плечами. «Судя по эмоционализатору — чистой воды прагматизм».— «Ага, спасибо...»

— Стало быть, Фаддей Венедиктович,— продолжал Игорь спокойно,— мотивом ваших поступков была общественная польза?

— Так, истинно так! Верю, вы убедитесь...

— Уже убедились. Все же поясните, пожалуйста, как именно ваши доносы в Третье отделение способствовали процветанию отечественной литературы.

— Каждодневно служили, каждодневно, и хотя не всегда ценились, как должно, благотворное влияние свое оказали. Что сталось бы с Пушкиным да и с другими литераторами, кабы неведение помешало властям тотчас подметить дурное на ниве словесности и мягко, отеческой рукой упредить последствия? Страшно подумать, каких лекарств потребовала бы запущенная болезнь! В том мой долг и состоял, чтобы, пока не поздно, внимание обращать и тревогу бить. Старался по мере слабых сил и преуспел надеюсь.

— Настолько преуспели, Фаддей Венедиктович, что эти ваши старания по заслугам оценены потомством.

— Ах! — пухлые щечки Булгарина тронул светлый румянец, глаза растроганно заблестели; всем своим обликом он выразил живейшую готовность заключить собеседника в объятия.— Писал, писал я как-то его высокопревосходительству Дубельту Леонтию Васильевичу: «Есть бог и потомство: быть может, они вознаградят меня за мои страдания». Счастлив, что оправдалось!

Булгарин многозначительно устремил указательный палец к небу.

— Да-а, Фаддей Венедиктович,— протянул Игорь.— Мы вас вполне понимаем. Служили верно, искренне, рьяно, а вознаграждаемы были не по заслугам. Хуже того, обиды имели.

— Страдал, еще как страдал,— с готовностью подхватил тот.— Даже под арест был посажен безвинно за неугодное государю мнение о романе господина Загоскина!

— Не только под арест... Случалось, жандармские генералы и за ушко вас брали, и в угол, как мальчишку, на колени ставили. Вас, литератора с всероссийским именем! Было?

«Неужели было?» — недоверчиво удивился не знакомый с документами той эпохи Поспелов, но вмиг осевшее лицо Булгарина развеяло его сомнение.

— Имел разные поношения...— голос Булгарина сразу осип.— Оттого и возлагал на потомков надежды, что даже со стороны их высокопревосходительства терпел мучения!

— Сочувствуем, Фаддей Венедиктович. Это не жизнь, когда не то что за мнение, за самые восторженные похвалы властям предержащим вы получали нагоняй. Ведь и так бывало?

— Святая истина! Побранил однажды в газете петербургский климат, так мне претензия: «Как смеешь ругать климат царской столицы!» Стоило отдать должное мерам правительства, так и тут не угодил! Сказали мне: «Не нуждаемся мы в твоих похвалах...»

— И все-таки вы продолжали служить этой унижавшей вас власти. О личном достоинстве не говорю, но отчего же вы так восхваляли строй, при котором вас за провинность в угол на колени ставили?

— Не ради почестей старался! Поносителей своих презирал...

— И Дубельта?

— Его особо!

— Чего же вы тогда к нему в письмах обращались: «Отец и командир»?

— Это же так принято по-русски, по-семейному...

— Барин холопа наградит, он же его накажет, а холоп еще и ручку облобызает, так?

— Снова я не понят! — с горечью воскликнул Булга-

рин.— Не дурным слугам — идее я был предан, за то и терпел...

— Ясно! В своих «Воспоминаниях» вы писали: «Лучше спустить с цепи голодного тигра или гиену, чем снять с народа узду повиновения властям и закону... Все усилия образованного сословия должны клониться к просвещению народа насчет его обязанностей к богу, к законным властям и законам... Кто действует иначе, тот преступает перед законами человеческими...» Вот это и есть та идея, ради которой вы, терпя унижения, трудились так ревностно?

— Да-с! За приверженность богу, царю и властям законным мятежники мне голову отрубить грозились!

— Положим, с декабристами вы сначала завязали крепкую дружбу, хотя для вас не было тайной, что они как раз хотят «преступить перед законами человеческими».

— Виноват, оступился по молодости, тут же раскаялся и делом доказал свою преданность!

— Совершенно верно! Сразу после декабрьского восстания вы представили проект усовершенствования цензуры и стали сотрудником Третьего отделения. Оставим это. Не будет ли ошибкой сказать, что Николай I и его правительство следовали той же, что и вы, идее?

— Несомненно! Иначе как бы я мог...

— Хорошая, неуклонно проводимая в жизнь идея должна принести народу благо. Согласны?

— Так...

— Тогда объясните, пожалуйста, слова из вашей собственной докладной записки о положении дел в России. «От системы укрывательства всякого зла и от страха ответственности одному за всех выродилась в России страшная система министерского деспотизма и сатрапства генерал-губернаторов...»

— То о дурных слугах царя писано, о недостатках, кои надлежит исправить!

— Дурные слуги, так у вас получается, это министры, генерал-губернаторы, сам шеф Третьего отделения, а недостатки — всеобщая система произвола и лжи. Вот что, по вашим собственным словам, расцвело под солнцем вашей идеи! Так чему вы служили в действительности? Может быть, не идее вовсе, не царю, не государству, а самому себе?

— Неправда! Все ложно истолковано!

— Ну зачем так, Фаддей Венедиктович! Есть факты и есть логика. Вы, полагаю, убедились, что нам известно о вас все самое тайное. Не лучше ли самому сказать правду?

На Булгарина было жалко смотреть, точно его, было согретого пониманием, внезапно окатили ледяной водой. Он съежился, поблек и онемел, казалось. Но в его затравленном взгляде мелькали колкие, злые искры, что никак не вязалось с жалобным и растерянным выражением его лица.

— Скажу-с,— выдавил он глухо.— Всю правду-с... Веру в добро и истину сквозь беды пронес, но затравлен был обстоятельствами, опутан ими, как пленник сетями, и... и...

— И?

— И оступился... Слаб человек, никому зла не хотел, но сволочью был окружен, завистниками, вынужден был бороться, святые не без греха...

— Кто же заставил вас сближаться со сволочью? В начале двадцатых годов к вам хорошо относились лучшие люди России.

— Они сущность мою видели! Останься жив Грибоедов, который, в Персию уезжая, мне как лучшему другу рукопись своей комедии доверил...

— Которую вы затем продали за несколько тысяч рублей. Вы и прежних друзей-декабристов предали. Только не говорите, что из идейных побуждений! Вы и своего могущественного благодетеля Шишкова тоже предали.

— Ради бога, поймите же меня наконец! Издатель и литератор в России — агнец среди волков...

— Позвольте! Никто из писателей, чьи книги стоят у нас на полках, не служил в Третьем отделении, не доносил на своих собратьев, хотя находился в тех же условиях.

— В других, совершенно других! Я не стыжусь своего прошлого, но в глазах властей...

— Вы не стыдитесь своего прошлого?

— Я храбро сражался против Бонапарта под Фридландом, ранен был во славу русского оружия...

— А потом во славу французского оружия сражались против крестьян Испании, позднее, в Отечественной войне 12-го года, бились против русских солдат...

— Даже пристрастная комиссия оправдала меня!

— От которой вы кое-что скрыли, да и Бенкендорф

замолвил словечко. Хозяева вами брезговали, но в вас нуждались, тут все понятно. И то, что вас в свое время заставило уйти к Наполеону, то же.

— Несправедливость полкового командира, отставка, злая нищета...

— Да, да, знаем, как вы в Ревеле стояли с протянутой рукой и хорошим литературным штилем, иногда даже стихами просили милостыню...

Округлая фигура Булгарина дернулась, как лягушка под ударом тока.

— Не было этого!!!

Все вздрогнули, ибо так мог бы возопить раненый.

— Было,— побледнев, но непреклонно повторил Игорь. В его словах Поспелову даже почудился лязг скальпеля.— Было, Фаддей Венедиктович. Таких ли мелочей вам стыдиться? И горькую вы тогда пили, и офицерскую шинель крали, все было.

Булгарин отшатнулся, ловя воздух широко раскрытым ртом, и боль, которую он сейчас испытывал, передалась всем, вызвала желание отпрянуть, защититься от горького, непрошеного, тягостного к нему сочувствия. И еще больше от острого, гипнотического, недостойного любопытства к невольно открывшимся уголкам этой выжженной цинизмом души. Даже оператор растерянно забыл о своих переключателях, хотя казалось, что Булгарина сейчас хватит непритворный обморок. Все словно коснулись клемм какого-то высокого и опасного психического напряжения, и уже готов был раздаться крик: «Выключить, выключить!»

Но Булгарин не грохнулся в обморок. Наоборот, его голос внезапно обрел твердость.

— Все правда,— он быстро облизал высохшие губы.— Падал я на самое дно бездны, молил о помощи, не оставили меня как бог, так и люди. Сколько я претерпел от них! Так я понял, в каком мире живу... Хотел потом забыть и очиститься, оттого и потянулся к лучшим людям России. Но знали, знали жандармы, какие на мне пятнышки! Что для них человек? Пылинка в делах государственных, звук пустой... Хорошо чистеньким! А мне под нажимом куда деваться? Снова в нищету, на дно, стреляться с похмелья? Уж нет-с! Во мне талант был сокрыт, его сам бог велел всем беречь. Стал я себя укреплять, ненавистников нажил, зато «Иваном Выжигиным» и многими другими своими сочинениями русскую словесность прославил!

От столь внезапного поворота, от дышащих искренностью слов Булгарина растерялся даже, казалось бы, готовый ко всему Игорь. «Вывернется!» — с отчаянием и безотчетным восхищением подумал Поспелов, и от этого мелькнувшего в душе восхищения ему стало гадко, совестно и противно.

— Вы считаете свои книги вкладом в литературу? — успел оправиться от замешательства Игорь.

— Нескромно было бы мне отвечать словами Александра Сергеевича: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Однако же редкая книга видывала такой успех, как мой «Выжигин». Даже мой поноситель Белинский признавал это. С меня русский роман начался, истинно так, как бы хулители это не отрицали!

— Верно, успех был. Только, несмотря на шумную рекламу, официальную поддержку и вами же организованное славословие, читатель очень скоро и прочно охладел как к «Выжигину», так и к другим вашим сочинениям. Вы не задумались — почему?

— Небо содрогнулось бы, начни я перечислять все интриги смутьянов, которые, вознося новомодные сочинения, портили вкус публики и отвращали ее от истинно патриотических образцов литературы! Но все вернется на свои места, все!

— С вашим «патриотизмом», Фаддей Венедиктович, мы, положим, разобрались. Поговорим лучше об обстоятельствах, которые вас заставили клеветать и доносить. Эх, Фаддей Венедиктович, и вранью есть мера! Обстоятельства... Вы очень скоро стали богатым. Могли бы спокойно отойти от дел и писать романы в своем имении. Только не говорите нам, что вас не отпускало со службы Третье отделение! Но вы упорно продолжали свою деятельность. Обогащались, не брезгуя ничем. Кажется, не было такого талантливого писателя, художника, актера, на которого вы хоть раз не напечатали бы хулу. Даже геометрию Лобачевского ваша газета охаяла... без права ответа, конечно. Десятилетиями вы точно, прицельно били по всему честному, талантливому, передовому, что возникало в России. Сказать, почему? Или, быть может, сами откровенно скажете?

Булгарин молчал, до ниточки сжав побелевшие губы.

— Во-первых, вы в глубине души прекрасно понимали, что без поддержки властей, без сотрудничества с Третьим отделением вы и ваши сочинения — ноль. Только

так, выслуживаясь, подличая, угождая, вы могли утвердить свое имя и обогатиться.

— Господи, дождусь ли я справедливости?! Имел я доходы — так разве это грех? Не затем я домогался влияния, а чтобы, заимев полное доверие властей, осторожно склонять их к улучшению дел и облегчению тягот! Мои записки правительству, кои вы уже трогали, и мои прожекты доказывают...

— Что даже вам было тяжело в обстановке всеобщего бесправия! Верим. Но вы же его и умножали. Не вы ли предлагали проект устройства новой сыскной полиции, во главе которой рекомендовали поставить самого что ни на есть зверя? Нет, Фаддей Венедиктович, не сидит на вас маска потайного либерализма. Все, увы, куда проще. Вот логика ваших поступков. Пушкина вы до поры до времени не трогали, даже печатали с расшаркиванием. Потом вдруг стали строчить на него доносы, печатно намекнули, что он плагиатор, чем даже вызвали царское неудовольствие. Откуда такая внезапная перемена, что произошло? Только одно: Пушкин с друзьями затеял газету, которая могла составить опасную конкуренцию вашей «Пчеле»...

— Поклеп, нет тому подтверждающих документов, а сказать можно все!

— Есть логика фактов. Ваша «Северная пчела», скверная, по единодушному мнению, газета, имела все же немало подписчиков. Она была единственной ежедневной газетой России, и у подписчиков просто не оставалось выбора. А где подписчики, там и доходы. Терять монополию вам никак не хотелось! Прошел слух — только слух! — что Вяземский хочет издавать газету. От вас тут же спешит донос с обвинением Вяземского в аморальном поведении. Привести еще факты того же рода или хватит? Хватит... И талантливых писателей вы стремились опорочить прежде всего потому, что их произведения составляли конкуренцию вашим, могли их зачеркнуть, что, разумеется, и случилось. Вот исток вашей ненависти ко всему талантливому! Вы еще потому хотели всех унизить, что чужая порядочность мешала вам жить. Если бы все кругом лизали сапог, гребли под себя, наушничали, то вам было бы куда уютней. А так даже царь, даже жандармы брезговали вами... Да, жизнь у вас была — не позавидуешь!

Булгарин дышал учащенно, с присвистом. До сих пор даже в испуге, в самом униженном подобострастии его

лицо сохраняло цепкую, ко всякому готовую энергию сопротивления. Теперь — никто не уловил мгновения, когда это произошло — его лицо погасло. В нем не осталось ничего, совсем ничего, кроме внешних примет старости: рыхло обвисших щек, багрово-синеватых склеротических жилок под дряблой кожей, безвольно полуоткрытых губ с капелькой набежавшей слюны. Вид этой жалкой, дрянной капельки внезапно обдал Поспелова такой пронзительной жутью, что он едва не заорал на весь зал: «Да что же вы делаете, наконец?! Булгарин давно мертв, его это не может коснуться, здесь призрак, фантом — кого же вы тогда мучаете? Зачем?!»

Ничего этого он не выкрикнул, не метнулся, чтобы остановить кощунственный разворот событий,— не успел. Булгарин, то, что представляло собой Булгарина, вдруг словно обрел второе дыхание. Исчезла дряхлость, напор энергии стер опустошенность, глаза ненавидяще блеснули, зло и четко грянули совсем неожиданные слова.

— Ваш приговор хуже чем нелеп. Факты? И убийство награждаемо, когда оно совершено на войне. Законы определяют, кто есть виновный! Установленные людьми, они соблюдаются земными властителями; мои же поступки были поощряемы самим государем. А ежели я виноват перед законом всевышнего, то каким? Тайному следовать невозможно, потому как он нам неведом, за соблюдением же открытых надзирает святая церковь, коя также не находила во мне больших прегрешений. Чист я перед государственными и божьими установлениями! Каким же тогда законам следуете вы? Никаким или бесовским! Но я-то им неподсуден, и за меня бог, раз я не нарушал его законов!

Он замер с торжеством. Сама оскорбленная святость глядела теперь свысока и упивалась явным замешательством судей. Какая разница, кто перед ним был,— потомки, жандармы, дьяволы или ангелы, если можно было отвести неведомую, но, с его точки зрения, реальную кару! Все годилось в той ужасной ни в каких книгах не описанной ситуации, в которой он очутился,— что ж, вся его жизнь была искусной борьбой, он умел приспосабливаться и побеждать в любых обстоятельствах. В любых, если его жизнь что и доказывала, то именно это. И еще она не хрестоматийно доказывала, что подлость и приспособленчество уживаются с мужеством, ведь мужеством, что ни говори, Булгарин обладал, крови, как он однажды заметил,

Фаддей действительно видел больше, нежели черпил. И теперь, как с ним бывало не раз, он стоял с победительным видом.

Поспелов вздрогнул от унижения и гнева. Подлость не могла, не смела торжествовать над его ребятами, а она вопреки всему нагло торжествовала. Он не имел больше права молчать, он лихорадочно искал и в отчаянии не находил слов, которые могли бы выручить, спасти растерявшихся подростков от разгрома и стыда поражения. Доводов не было. А он-то еще воображал, что ребята затеяли недостойную игру в кошки-мышки! Неужели и он, пусть не историк, не психолог, но все-таки взрослый человек двадцать первого века, педагог, бессилен опровергнуть чудовищную софистику лжи?! На что, на какие ненужные сейчас науки он тратил свое время, вместо того чтобы...

Но и тогда мог ли он что-нибудь? Должен? Воистину должен? Ребята все затеяли на свой страх и риск. Это была проба их собственного ума, понимания, душевных качеств и сил, поединок с заранее непредрешенным, как оказалось, исходом. Но так вернее всего крепнет характер, и надо ли вмешиваться, поправлять ошибки? Так выигранный бой — не хуже ли он поражения? В любом затруднительном случае помогать, всегда держать под опекой,— кем вырастут дети? Тут загвоздка была, и не малая.

Губы Булгарина уже кривила довольная усмешка; многоопытным чутьем он правильно оценил значение столь долгого и тягостного молчания. Но внезапно — Поспелов не сразу понял причину — веки прожженного демагога опасливо дрогнули. Он заметил — все заметили! — слабую, чуть грустную и, пожалуй, снисходительную улыбку Игоря. Поспелов в нетерпении подался вперед. Булгарин и его далекий потомок в упор глядели друг на друга. И Булгарин не выдержал — отвел взгляд.

— Почему вы не хотите смотреть мне в глаза? — стирая улыбку, тихо спросил Игорь.

Булгарин надменно вскинул голову, всем своим видом показывая, что его полная воля поступать так, как он хочет.

— Чего же вы боитесь, Фаддей Венедиктович, если за вами правда, закон и бог? Кстати, вам не кажется странным, что и в ваше время хороший поступок не нуждался ни в оправдании, ни в самооправдании, тогда как дурной требовал и того, и другого? Вы приняли наш суд уже тем, что оправдывались.

— Софистика! — Булгарин презрительно пожал плечами.— Истину я хотел утвердить — и только. А что вините меня в оправданиях, то должно вам знать, что чаще злодей в чужих глазах предстает невинным, чем наоборот. Или вам сие неизвестно? Неизвестно, как вижу.

— Тогда просветите, Фаддей Венедиктович. Верно ли мы вас поняли, что в глазах людей и перед законом невинный может оказаться злодеем, а злодей — невинным?

— Так, тысячу раз так!

— Но в таком случае благоволение к вам законов, на которое вы так упирали, ни о чем не говорит.

Булгарин смешался, но только на миг.

— Но не доказывает и обратного! — воскликнул он с жаром.— Толковать можно так, можно этак, одна философия, разве я что-нибудь утверждал? Одну истину, только истину!

— Какую из трех, Фаддей Венедиктович? Сначала вы представили себя борцом за идею, но это не оказалось истиной. Затем вы обвинили во всем, что заставляло вас поступать так, а не иначе, неумолимое давление обстоятельств. Но и в этом, как выяснилось, мало истины. Наконец, третья, и, надеюсь, последняя ваша истина: поступал с благословения всех законов, значит, моя жизнь — пример гражданской добродетели.

— И даже ваш всезнающий, но предвзятый, якобы потомков, суд того не опроверг! Потому как истина...

«Считалось: не пойман — не вор,— устало подумал Поспелов.— А тут и пойман, и уличен, а не вор... Одна, кажется, только одна осталась возможность, я ее теперь вижу, но видят ли ее ребята?» Ему хотелось уткнуть голову во что-нибудь мягкое и прохладное — таким вымотанным он себя чувствовал. А Булгарин — тот ничего, был свеж... «Только не сорвись, Игоречек, только не сорвись!» — молил в душе Поспелов.

— Коли ваши поступки, Фаддей Венедиктович, вполне соответствовали человеческим законам и нормам, поощрялись ими, то вам нечего было скрывать. Почему же тогда вы таили от всех свою службу в Третьем отделении?

Как и следовало ожидать, ответом была снисходительная усмешка.

— Высшие государственные интересы, да будет вам известно, требуют от такого рода службы немалой секретности.

— Эту вашу работу общество считало нравственной или только мирилось с нею как с неизбежным злом?

— Противу такой службы мог говорить лишь смутьян!

— Следовательно, ваш донос, к примеру, на Тургенева, из-за которого тот угодил в тюрьму, был морален. Тургенев же, написав неугодную статью, поступил аморально.

— Как закон судит, так оно и есть.

— А если закон в одних случаях карает, а в других поощряет преступника, то какова цена такому закону?

— Сие уже казуистика, в которой, благодарение богу, я не силен.

— Будто? Как часто вы брали взятки?

— Я?! Взятки?!

— Вы. Взятки.

— Поклеп, ложные слу...

— Полно, Фаддей Венедиктович! До сих пор не хотите верить, что нам о вас все известно?

— То одна видимость взяток! Благодарственные подношения, дружеские подарки...

— Врете. Показать, где, когда, с кого вы брали взятки за те или иные публикации в своей газете? Назвать имена этих фабрикантов, книготорговцев, актеров? Тому же Третьему отделению все это, кстати, было хорошо известно.

— Господи, да кто же у нас не берет взяток?! Обычай, можно сказать, такой. Все берут, и с меня брали, тут вывода никакого делать нельзя. Тут взвесить надо проступок, соотнести с заслугами...

— Иначе говоря, дело не в поступке, а в его оценке. Тургенев разгневал власть — и он преступник. Вы же, доносчик и взяточник, примерный патриот. Нет, оказывается, закона, есть благорасположенность свыше.

— Как во все времена, как во все времена!

— Судите о прошлых временах, но не трогайте будущие: вы о них ничего не знаете.

— Истинно говорите! Как зимой невозможно без шубы, так в мое время нельзя без нравственных отступлений.

— Таков был закон жизни?

— Таков, таков! Я, что ли, его установил? Жил согласно, как все. Таких людей, хотите, мог бы уличить, так высоко стоящих...

— Все одинаково черненькие, так?

— Кто к власти прикоснулся, те, почитай, все.

— И раз все виновны, значит, никто не виновен. Кажется, это уже четвертая ваша истина? Только и здесь неувязка, Фаддей Венедиктович. Большинство ваших современников доносы ненавидели, взяток не брали, лжи и угодничества не терпели. Не оттого ли общественное мнение и презирало вас, что вы воплощали в себе и то, и другое, и третье?

— Боже мой, я-то при чем?! Как свыше предписано было, так я и жил. Если пастух не туда ведет стадо, то разве ягненок в ответе?

— Но вы-то были сторожевым псом. В уме вам не откажешь, многое хорошо понимали, только превыше всего была для вас выгода.

— Что с того! Лишь праведников не интересует выгода, однако бог создал людей такими, что праведников среди нас немного. Велика ли тут моя вина? Соблазнов не избежал, грешен. Сам царь лгал о событиях декабрьского возмущения, я не святей царя. Доносы были поощряемы,— не я, так другой... Что допускалось, то делал, а чего не допускалось, того не совершал. Кругом взятки брали, и я брал. Пусть многогрешен! Зато не жил в праздности, как многие, мысли имел, труд уважал, написал девять томов сочинений. За промышленность ратовал, прогрессу способствовал, отечество тем укрепить старался. Неужели эта чаша весов не перевесит? Святой Петр трижды предавал Христа, покаялся и был возведен в апостолы. Мое же раскаяние не слабей.

— Не видно его что-то, Фаддей Венедиктович. Ваше раскаяние больше на оправдание и торговлю похоже, вы не находите?

— Клянусь, в мыслях того не было! — Что-то лихорадочное прорвалось в словах Булгарина. Он взвинченно озирался.— Чем, чем могу доказать свою искренность?! Чем и как?!

— В Третьем отделении вы, однако, не утруждали себя поисками,— едко усмехнулся Игорь.— Напомнить или не надо?

— Сего мало! — впиваясь взглядом в эту усмешку, вскричал Булгарин.— Должен со всей душой, по-нашему, по-христиански...

Внезапно он сложился втрое и, прежде чем кто-нибудь осознал смысл его движения, уже был на коленях.

— Как оплошавшее дитя стою перед вами многогрешен!

Все так и застыли, лишь кто-то, подавленно вскрикнув,

закрыл лицо руками. Постыдней и хуже вида упавшего на колени старика, его с дрожью простертых рук была та поспешная готовность, с которой он это проделал. Никто не допускал возможности такой развязки от одной лишь видимости намека на ее желанность. Но намек-то вышел не кажущийся... И во всем этом была своя страшная логика, ибо за ней стояла многоопытность холопа, который чутко улавливает окрик и точно знает, когда можно пререкаться, а когда следует униженно себя растоптать.

Смотреть на это было так омерзительно, думать о своей тут вине так нестерпимо, что Игорь с белым от ужаса лицом первым метнулся к пульту, вырвал его из сомлевших рук товарища. Все погасло с коротким, прозвучавшим, как пистолетный выстрел, щелчком. Исчезла обстановка девятнадцатого века, исчез и Булгарин. Но, и оставшись наедине со своим временем, все молчали, не смея поднять глаз, как будто рядом еще находился жуткий призрак.

Г. ГУРЕВИЧ

Крылья Гарпии

Некоторые писатели полагают, что название должно скрывать смысл книги. У захватывающего приключенческого романа может быть скромный заголовок: «Жизнь Марта» или «В городе у залива». Пусть читатель разочаруется приятно. Скучным же мемуарам разбогатевшего биржевика следует дать громкое имя — «Золотая рулетка» или «Шепот богини счастья». А иначе кто же будет их покупать?

Эта повесть названа «Крылья Гарпии». Естественное название, соответствующее содержанию, оно само собой напрашивается. Конечно, можно было бы озаглавить ее «Крылья любви», но это напоминало бы мелодраматический кинобоевик. Если же на обложке стояло бы просто «Крылья», люди подумали бы, что перед ними записки знаменитого летчика или же сочинение по орнитологии.

После заголовка самое важное — вводная фраза. Она должна быть как удар гонга, как отдернутый занавес, как вспышка магния в темноте. Нужно, чтобы читатель вошел в книгу, как выходят с чердака на крышу, и увидел бы всю историю до самого горизонта. Как это у Толстого: «Все смешалось в доме Облонских». Что смешалось? Почему? Какие Облонские? И уже нельзя оторваться. Вводная фраза должна быть...

Но, кажется, давно пора написать эту фразу.

1

На четвертые сутки Эрл окончательно выбился из сил. Он, горожанин, для которого природа состояла из подстриженных газонов и дорожек, посыпанных песком, четверо суток провел лицом к лицу с первобытным лесом. Эрл не понимал его зловещей красоты, боялся дурманящего аромата лиан, хватающих за рукава, трухлявых стволов, предательски рассыпающихся под ногами. При каждом шаге слизистые жабы выскакивали из-под ботинок, под каждым корнем шипели змеи, может быть, и ядовитые, в каждой заросли блестели зеленые глаза, возможно —

глаза хищника. Эрл ничего не ел, боялся отравиться незнакомыми ягодами, не спал ночами, прижимаясь к гаснущему костру, днем оборачивался на каждом шагу, чувствуя на своей спине грозное дыхание неведомых врагов.

Ему, уроженцу кирпичных ущелий и асфальтовых почв, тропический лес казался нелепым сном, аляповатой безвкусной декорацией. Шишковатые стволы, клубки змееподобных лиан и лианоподобных змей, сырой и смрадный сумрак у подножия стволов, сварливые крики обезьян под пестро-зеленым куполом — все удивляло и пугало его. Он перестал верить, что где-то есть города с освещенными улицами, вежливые люди, у которых можно спросить дорогу, какие-нибудь люди вообще. Четвертые сутки шел он без перерыва и не видел ничего, кроме буйной зелени. Как будто и не было на планете человечества; в первобытный мир заброшен грязный и голодный одиночка с колючей щетиной на щеках, с тряпками, намотанными на ногу взамен развалившегося ботинка.

Всего четыре дня назад он был человеком двадцатого века. Лениво развалившись в удобном кресле служебного самолета, листал киножурнал с портретами густо накрашенных ресничатых модных звезд. Был доволен собой, доволен тонким обедом на прощальном банкете и, когда смолк мотор, тоже был доволен — тише стало. Внезапно пилот с искаженным лицом ворвался в салон, крикнул: «Горим! Я вас сбрасываю». И ничего не понявший, ошеломленный Эрл очутился в воздухе с парашютом над головой. Дымные хвосты самолета ушли за горизонт, а Эрла парашют опустил на прогалину, и куда-то надо было идти.

Он шел. Сутки, вторые, третьи, четвертые. Лес не расступался, лес не выпускал его. Эрл держал путь на север, куда текли ручьи, он надеялся выйти к реке,— хоть какой-то ориентир, какая-то цель. На второй день развалился правый ботинок, Эрл оторвал рукава рубашки и обмотал ногу, но почти тут же наступил на какую-то колючку; а может, это была змея. В траве что-то зашуршало и зашевелилось — то ли змея уползала, то ли ветка выпрямлялась. Эрл читал, что ранку полагается высасывать, но дотянуться губами до пятки не мог. Давил ее что было сил, прижег спичками, расковырял ножом. И вот ранка нагноилась — от яда, от ковырянья, от спичек ли — неизвестно.

Ступать было больно, куда идти — неясно. Эрл смутно представлял себе, что океан находится где-то западнее, но никак не мог найти запад в вечно сумрачном лесу. Быть может, он никуда не продвигался, кружил и кружил на одном месте. Так не лучше ли сесть на первый попавшийся ствол и дожидаться смерти, не терзаясь и не бередя воспаленную ногу?

А потом забрезжила надежда... и надежда доконала Эрла. Сидя на трухлявом бревне, он услышал гул, отдаленный, монотонный, словно гул толпы за стеной или шум машин в цеху. Толпа — едва ли, завод — едва ли, но может же быть лесопилка в джунглях, или автострада, или гидростанция — жизнь, люди! Собрав последние силы, Эрл поплелся в ту сторону, откуда слышался гул, а потом просочился и свет. Эрл оказался на опушке, у крутого известкового косогора, упиравшегося в небо. Натруженную ногу резало, на четвереньках Эрл взбирался на кручу, переводя дух на каждом шагу, взобрался, поднялся со стоном и увидел... водопад! И без гидростанции! Гудя, взбивая пену, крутя жидкие колеса и выгибая зеленую спину над скалистым трамплином, поток прыгал куда-то в бездну, подернутую дымкой, сквозь которую просвечивали кроны деревьев.

И обрыв был так безнадежно крут, а даль так беспредельно далека, что Эрл понял — никуда он не уйдет, никуда не дойдет, лучше уж сдаться, тут умереть.

Нет, он не бросился с кручи, просто оступился на скользких от водопадной пыли камнях, упал, покатился вниз по осыпи и ударился головой. Бамм! Черная шторка задернула сознание, и больше Эрл ничего не видел. Не видел даже, как белокрылая птица, парившая в синеве, осторожными кругами начала приближаться к нему, как бы присматриваясь, готов ли обед, не будет ли сопротивляться пища.

1 а

Муха села на край чернильницы, и Март кончиком пера столкнул ее в чернила. Как раз под конторой помещалась кухня, и сытые мухи, глянцевито-черные с зеленым брюшком, заполняли комнату младших конторщиков. Мухи водили хоровод вокруг лампы, разгуливали по канцелярским бумагам, самодовольно потирая лапки, с усы-

пительным жужжанием носились над лысиной бухгалтера. Никакие сетки на окнах, ни нюхательный табак, ни липкая бумага не помогали.

Конторщик поглядел, как барахтается утопающая в чернилах, и написал каллиграфическим почерком на левой странице:

«Пшеница Дюрабль IV категории.

Остаток со стр. 246:

Кг... 6529, г... 600».

Девять лет изо дня в день Март записывал зерно. У зерна была категория, сорт, влажность, вес, цена, сортность, клещ. Конторщик в жизни не видел клеща, с трудом отличил бы пшеницу Дюрабль от ячменя Золотой дождь. Его дело было не различать, а регистрировать наличность. Девять лет изо дня в день зерно, записанное слева в приходе, медленно пересыпалось на правую страницу, в расход, и выдавалось по накладным за №... Потом приходила новая партия по наряду №... тоже с сортом, влажностью и клещом.

Девять лет текло зерно с левой страницы на правую. Девять раз в конце толстой книги Март подписывал: «Остаток на 31.XII... кг. ... г...» Это означало, что год прошел и до конца жизни осталось надписать на одну книгу меньше.

Муха выбралась все-таки из чернильницы и поползла по стеклу, волоча за собой лиловый след. Неприятно было смотреть на нее — горбатую, со слипшимися крыльями. Март стряхнул ее обратно в чернильницу, вздохнул и обмакнул перо.

Перо брызнуло, и на букве «о» расплылась большая клякса. Из кляксы выползла муха и заковыляла через все графы.

Март в сердцах сбросил ее на пол и раздавил. Страница была испорчена. Надо было начинать новую и писать терпеливо:

«Пшеница Дюрабль IV категории».

2

Теперь, когда Эрл был мертв, он удивлялся, почему люди боятся смерти. Со смертью кончается страх, голод, тоска и неуверенность, на душе становится покойно. Если

бы он мог, всем знакомым сказал бы: «Не бойтесь смерти! Страшен только страх».

Только непонятно было, почему после смерти так горит правая нога. Огонь распространялся по мышцам, захватывая клеточку за клеточкой. Глядя на себя со стороны, Эрл видел, как пылает огромное человеческое тело, и ветер тянет полосу черного дыма, словно от горящего самолета. Вместе с пожарными Эрл лез на свое тело и тушил его, направляя струю прямо в пламя. Вот взметнулись оранжевые языки, опаляя Эрлу брови и ресницы. Он закашлялся, пошатнулся и, дико крича, полетел в самое пекло.

Огонь в пекле горел оттого, что в самом низу у костра сидела девушка, старательно ломала сухие ветки и подкладывала их в огонь. Потом она становилась на колени и, смешно вытягивая губы, изо всех сил дула на ветки. Ее золотистые щеки наливались краской, становились похожими на зрелые абрикосы. Эрл любовался девушкой.

Одна черта не нравилась ему. У нее, как у греческих статуй, не было переносицы. Лоб и нос составляли прямую линию. И это придавало лицу непреклонное, строгое и вместе с тем лукавое выражение.

Когда костер разгорелся, девушка вытащила нож и стала точить его, поглядывая на Эрла. Эрлу стало страшно, он вспомнил, что находится в стране людоедов. Неужели золотистая девушка точит нож, чтобы зарезать его? Он хотел бежать, но, как это бывает во сне, не сумел даже шевельнуть пальцем. Мучительно морща лоб, с замирающим от ужаса сердцем Эрл старался приподняться и не мог.

Набитые хлопком мускулы отказались повиноваться. Тогда он понял, что он не Эрл, а только чучело Эрла, и жалобно заплакал...

Действительность постепенно входила в его мозг, перемешанная с бредовыми видениями, и выздоравливающий разум сам очищал ее от галлюцинаций. Задолго до того как Эрл окончательно пришел в себя, он уже знал, что лежит один в прохладной пещере, отгороженной от входа сталагмитами, что ксилофон, который он слышит,— это музыка падающих капель, что в пещеру его принесла девушка с греческим профилем, та самая, которую он видел в бреду у костра.

Ее звали Хррпр, если только можно передать буквами странные рокочущие и щебечущие звуки ее языка.

Словом «хррпр» назывался и весь ее народ, затерянный в тропических лесах, между чужими и враждебными племенами. Освоить произношение Эрлу не удалось, и он окрестил свою спасительницу малоподходящим, но сходным по звучанию именем Гарпия.

Два раза в день, утром и вечером, Гарпия приходила к нему с фруктами и свежей водой. Она разжигала костер, обтирала Эрлу лицо, кормила его незнакомыми плодами, очень ароматными, но водянистыми и безвкусными, и еще какими-то лепешками, пресными и вываляпными в золе. Как потом оказалось, соплеменники Гарпии употребляли золу вместо соли.

Не сумев овладеть гарпийской фонетикой, Эрл стал учить девушку своему родному языку. Внимательно глядя ему в рот, Гарпия повторяла за ним слова, смешно коверкая их и проглатывая гласные: «Эрл... члвек... вда... хлб».

Эрлу хотелось расспросить, как добраться до моря, но слов пока не хватало. «Где блит?» — спрашивала Гарпия. «Кшать? Пить?» «Все хорошо,— отвечал Эрл.— Ты хорошая». И, исчерпав запас слов, они дружелюбно смотрели друг на друга. Иногда, протянув загорелую, покрытую золотистым пушком руку, девушка осторожно поглаживала Эрла по щекам, уже заросшим курчавой бородой. «Неужели я нравлюсь ей? — думал Эрл.— Вот такой, как есть — грязный, заросший, с исцарапанной мордой? Неисповедимы тайны женского сердца! Впрочем, бедняжка горбата, вероятно, никто не хочет взять ее в жены».

А ум у девушки был светлый, жадно впитывал новые сведения. За один визит она запоминала сотни две слов. Уже через неделю Эрл рассказывал ей целые истории о волшебном мире телефона и авто.

Гарпия понимала и отвечала сносно, если не считать акцента.

Гарпия проводила возле Эрла часа два в сутки. Пока она сидела у костра, в пещере было весело и уютно. Но затем костер угасал, тени выбирались из своих углов, чтобы затопить пещеру сыростью и мраком. Сталагмиты угрожающе сдвигались, и капли гремели, как барабаны, заглушающие крики смертника на эшафоте.

Эрл твердил Гарпии, что не может жить без солнца. Она не понимала или не хотела понять. Эрл указывал на выход. Гарпия отрицательно мотала головой и стучала ладонью по шее, словно хотела сказать: «Пойдешь туда, го-

лову потеряешь». И Эрл решил сам пробраться к выходу. Однажды, когда девушка ушла, он пополз за ней на четвереньках. Белое платье, мелькавшее впереди, указывало ему дорогу в лабиринте сталагмитов. Вот платье мелькнуло где-то справа и исчезло. Но там уже брезжил свет.

Эрл прополз несколько десятков шагов навстречу солнечным лучам...

Тот же обрыв был у него перед глазами, но не затянутый дымкой; сегодня можно было разглядеть все подробности. Белые и полосатые горы окаймляли плотным кольцом глубокую котловину километров около двадцати в поперечнике. Морщинистые скаты гор были испещрены черными пятнами пещер, перед некоторыми дымились костры. Да и долина была вся густо заселена, повсюду сквозь шерсть лесов пробивались дымки, на полянах виднелись прямоугольники огородов.

Силясь разглядеть селения внизу, Эрл заглянул через край известковой площадки. Отвесная круча уходила вниз, в туманную мглу. Голова закружилась, как на крыше небоскреба у перил. Потянуло прыгнуть в бездну. Эрл в ужасе отпрянул.

Но как же Гарпия взбирается сюда?

Неужели два раза в день она карабкается на эти опасные кручи?

Он оглянулся в поисках тропки и вдруг увидел девушку неподалеку. Не замечая Эрла, она стояла на обособленной скале, остроконечной, похожей на рог. Эрл удержал крик ужаса: Гарпия могла вздрогнуть и сорваться. Смотрел на нее, шептал: «Осторожнее!»

Гарпия, не мигая, глядела на горизонт, заходящее солнце золотой каймой обвело прямой профиль, тонкую шею, высокую грудь. Потом девушка медленно подняла руки над головой, свела их, словно собиралась прыгать с вышки в воду.

Эрл замер.

— Не надо! — только и успел он крикнуть.

Но было уже поздно. Стройное тело летело вниз на хищные зубы скал. Такая молодая, и самоубийство! Зачем? И вдруг Эрл увидел, что за спиной девушки, там, где был уродливый горб, выросли крылья. Не бабочкообразные, как у фей, и не такие, как у ангелов — маскарадные, не способные поднять человека. Крылья у Гарпии были совсем особенные — из тонкой прозрачной кожицы,

просвечивающие перламутром, пожалуй, они напоминали полупрозрачные плащи-накидки, но громадные, метров восемь в размахе, целый планер. Почти не взмахивая ими, девушка спикировала вниз и теперь плыла где-то в глубине над дымными кострами и пальмовыми рощами.

Крылатая девушка! Как это может быть?

2 а

— Другие мужья,— говорила Гертруда,— давно бы имели собственный домик за городом.

Квартира у них и правда была не очень удачная: на самом углу, у оживленного перекрестка. Рычание грузовиков и зубовный скрежет трамваев с утра и за полночь мешали им слышать друг друга. А над окном висел уличный рупор и целый день убеждал их чистить зубы только пастой «Медея». Гертруда говорила, что она с ума сойдет из-за этой античной девки, что у нее начинается зубная боль от слова «Медея».

Но можно ли было рассчитывать на лучшую квартиру при заработке Марта!

У них были две комнаты, раздвижной диван-кровать, круглый обеденный стол и еще другой — овальный, за которым Герта писала письма своей сестре, несколько разнокалиберных стульев, кресло-качалка, пузатый шкаф оригинальной конструкции, но без зеркала. Трюмо не хватало.

— Другой муж,—говорила Гертруда,—давно купил бы трюмо.

У Герты были мягкие густые волосы с золотистым отливом, здоровый свежий румянец. Она любила покушать, но обычно жаловалась на отсутствие аппетита, полагая, что всякая интересная женщина должна быть эфирным созданием. И хотя Герте уже исполнилось двадцать девять, никто не давал ей больше двадцати трех. Поэтому Гертруда с большим основанием считала, что заслуживает лучшего мужа.

— Другие мужья,— говорила она,— не заставляют ходить своих жен в отрепьях.

В третий раз уже упоминается в нашей повести о «других мужьях», и это становится навязчивым. Март же изо дня в день вот уже шесть лет слышал, что другие мужья

сумели бы найти средства, чтобы лучше отблагодарить жену за ту жертву, которую она принесла, «отдав Марту свою молодость».

Они познакомились шесть лет назад. Гертруда была очень миловидной девушкой, еще более миловидной, чем сейчас (тогда ей давали не больше восемнадцати). Она пела приятным голоском опереточные арии и мечтала или говорила, что мечтает о сцене. Но артистическая карьера не состоялась. В театр приходили сотни миловидных девушек с приятными голосами, Герта не выделялась из общей массы. Режиссеры — люди, произносившие всю жизнь напыщенные речи о высоком искусстве,— отлично знали, что не боги горшки обжигают. Любая средняя девушка сумеет более или менее естественно закатывать глазки, целуясь на сцене. Из множества девушек режиссеры выбирали тех, которые соглашались целоваться не только на сцене...

Но Герта была из добропорядочной семьи и хотела выйти замуж.

Тут и подвернулся Март. Гертруде было двадцать три, она уже побаивалась, как бы ей не остаться в девушках. Мать с ее претензиями, подагрой и мнительной боязнью сквозняков порядком надоела Герте. Ей хотелось, наконец, уходить из дому, когда вздумается, и не просить денег на каждую порцию мороженого. Март был достаточно хорош собой, носил черные усики, писал стихи и, кроме того, выражал желание жениться, что выгодно отличало его от режиссеров театра «Модерн-Ревю». В довершение всего у него был приятный мягкий характер, и опытная мама сказала Герте незадолго до свадьбы:

— Только не бойся скандалов, деточка, и ты свое возьмешь. В браке командует тот, кто не боится скандалов.

Герта была возмущена и шокирована. Тогда она представляла себе замужество розовой идиллией. Но в дальнейшем достаточно часто применяла мудрый совет матери. Март действительно боялся скандалов, соглашался на все капризы Герты, но беда в том, что он был слишком беден, чтобы выполнять эти капризы. Право, он оказался бы приличным мужем, если бы зарабатывал раза в три больше.

Месяцами они откладывали деньги на новое платье, на трюмо, на холодильник, на летнюю поездку к морю. Серьги ожидали мифической прибавки к рождеству, переезд на новую квартиру зависел от выигрыша по займу.

Кроме того, у Марта были еще две акции серебряных рудников в Гватемале, которые должны были принести чудовищные дивиденды. Гертруда аккуратно покупала газеты только для того, чтобы на последней странице разыскать телеграммы из Гватемалы, а в хорошие вечера, вооружившись карандашом, подсчитывала будущие доходы, дивиденды, проценты и проценты на проценты. У нее получалось, что лет через десять Март сумеет преподнести ей автомобиль из гватемальского серебра.

Только будет ли она моложава в ту пору? Станут ли ей давать не больше двадцати трех?

Да, конечно, Герта заслуживала лучшего мужа.

3

— А разве у ваших девушек нет крыльев?

Гарпия с полчаса лежала молча, не мигая глядела в костер, где седели и с треском лопались смолистые сучки.

— Мне очень жаль ваших девушек,— продолжала она.— У них серая жизнь. Столько радости связано с крыльями! Еще когда я была девочкой и крылышки у меня были совсем маленькие и усаженные перьями, как у птицы, я каждый день мечтала о полетах и все прыгала с деревьев, сотни раз обдиралась и ревела. А потом я стала взрослой, и крылья у меня развернулись в полную силу, я начала учиться летать. Нет, это ни с чем не сравнимо, когда ты паришь и воздух покачивает тебя, как в колыбели, или когда, сложив крылья, камнем ныряешь вниз и тугой прохладный ветер свистит в ушах. У нас каждая девочка только и мечтает скорее вырасти и начать летать. Нет, ваши девушки несчастные. Это очень странно, что у них нет крыльев.

— Почему же ты удивляешься? — спросил Эрл.— Разве ты не видела, что у меня нет крыльев?

— Но ведь ты мужчина,— протянула Гарпия, все так же глядя в огонь.— Мужчины крылатыми не бывают. Они совсем земные, даже мечтать не умеют. Живут в другой долине, копаются там в земле. Они неприятные, мы не летаем к ним никогда.

— Но твоя мать летала же,— сказал Эрл, улыбаясь наивности девушки.

— Может, и летала,— произнесла Гарпия, подумав.—

Потому что у нее уже нет крыльев. Все девушки, которые побывали у мужчин, приходят от них пешком. Мужчины обрывают крылья. Они завидуют нашим полетам. Они вообще завистливые. Всегда голодные и ссорятся между собой. Один кричит: «Подчиняйтесь мне, я всех умнее». А другой: «Нет, мне подчиняйтесь, я всех быстрее бегаю». А третий: «Я всех сильнее, я могу вас поколотить». И они дерутся между собой, им всегда тесно. Все потому, что крыльев нет. Были бы крылья, разлетелись бы мирно.

«Какая смешная карикатура на общество! — подумал Эрл.— Действительно, вечно голодные и всегда нам тесно. Ходим и толкаем друг друга: «Посторонись, я тебе заплачу. Посторонись, я тебя поколочу!»

— У нас и женщины такие же,— сказал Эрл.— Каждая хочет, чтобы все другие ей подчинялись и завидовали и чтобы она лучше всех была одета — красивее и богаче.

— Понимаю,— отозвалась Гарпия.— Когда девушка возвращается от мужчин, она тоже становится злой. И сторонится подруг, и все смотрится в блестящие лужи, вешает на себя ленты и мажет красной глиной щеки. И тоже ей тесно, она плачет и жалуется. Все оттого, что крыльев нет уже.

— Очень странно! — повторил Эрл.— Какая-то нелепая игра природы.

— Почему же нелепая? — возразила Гарпия.— Ведь у муравьев точно так же. А муравей, можно сказать, человек среди букашек.

В ее огромных зрачках, зеленовато-черных, как у кошки, извивалось пламя. Она напряженно думала. Наверное, за всю жизнь ей не приходилось так много думать, как за последние недели.

— А ты не похож на наших мужчин,— произнесла она после долгой паузы.— Они маленькие, сутулые, а ты большой. Ты не станешь драться за ветку с плодами, за хижину. Возьмешь что понадобится и уйдешь. Я как увидела тебя, сразу поняла, что ты лучше всех. Наши мужчины такие скучные, такие крикливые. Скажи, зачем девушки летают к ним?

— Не знаю... любовь, наверное...

— А что такое любовь? — Брови Гарпии очень высоко поднялись над громадными глазами.

Что такое любовь? Столько раз в жизни Эрл повторял это слово, а сейчас не мог ответить. Что такое любовь? Всё называют этим емким словом: неукротимую страсть, и по-

храпывание в супружеской постели, и встречу в портовом переулке, и салонный флирт, и всепоглощающее чувство, ведущее на подвиг, или на самоубийство, или на самопожертвование.

— Вот приходит такая пора в жизни,— невнятно объяснил Эрл,— беспокойство такое. И в груди щемит — здесь. Ищешь кого-то ласкового, кто бы стоял рядом с тобой. И горько, и радостно, и места себе не находишь. Так начинается любовь.

— Понимаю,— прервала его Гарпия.— У меня бывало такое беспокойство раньше. Тогда я улетала за горы, далеко-далеко, носилась вверх и вниз, уставала, тогда успокаивалась. А теперь я прилетаю сюда, сажусь у костра, смотрю на тебя, и больше мне ничего не нужно.

Она подняла на Эрла большие чистые глаза, как бы с немой просьбой объяснить, что же такое творится в ее душе, и Эрл отвернулся, краснея. Там, в цивилизованных странах, его считали красивым. Не раз он выслушивал полупризнания светских женщин, уклончивые, расчетливые и трусливые. Он наизусть знал, какими словами принято отвечать кокеткам, произносил их машинально. Он никогда не смущался, сегодня это случилось в первый раз. Девушку, которая не знала, что такое обман, стыдно было бы обмануть.

3 а

После Нового года в конторе начались тяжелые дни. Оказалось, что хозяин получил на четверть процента меньше дохода, чем в прошлом году. Рождественские премии урезали. Поговаривали о больших сокращениях, каждый служащий из кожи вон лез, чтобы доказать, что именно он незаменимый работник, а все остальные лодыри и дармоеды, без них можно обойтись шутя.

— Знаете, какая сейчас безработица? — говорил контролер.— Люди по два года ищут место, теряют квалификацию, ходят целыми сутками по бюро найма. Лично я стар для того, чтобы поденно грузить хлопок в порту. Стар... и не сумел вовремя украсть. Был бы я вор, не дрожал бы сейчас из-за конверта в субботу.

Счетовод вздыхал о своем:

— По радио объявили: Манон — королева экрана — выходит за Вандербильта-младшего. Вот жениться бы на

такой, и никакие шефы не страшны. Сколько стоит Манон? Миллионов шесть.

— Сто тысяч за одну улыбку,— уточнил бухгалтер,— я сам читал в воскресном номере.

— Вот видишь — сто тысяч. Улыбнулась — и обеспечила.

Март внимал им со скукой, похожей на зубную боль. Девять лет слышал он мечты контролера о мошенничестве и рассуждения счетовода о женитьбе на богатой. И знал, что контролер никогда не решится на подлог, а на счетовода никогда не польстится владелица миллионов. Сам он давно уже не мечтал. Макал ручку в чернильницу и выводил каллиграфическим почерком: «Ячмень Золотой дождь. Сорт 2...»

Он мало разговаривал со служащими. Мысли его спали от десяти до четырех, пока он был в конторе. Глаза тоскливо следили за часовой стрелкой: почему не двигается? Он почти не замечал, что товарищи придираются к нему, а мошенник-мечтатель (он же контролер) громко отчитывает его каждый раз, когда в контору заходит хозяин.

И в ту субботу все было именно так, как в предыдущие дни. Март шелестел нарядами и накладными, поскрипывал пером, выводя бесстрастные, очень красивые и очень одинаковые буквы. Он был настроен благодушно, потому что была суббота, работа кончалась на два часа раньше, на два часа меньше скрипеть пером.

Служащие писали особенно усердно. Из-за тяжелой дубовой двери, где был кабинет управляющего, доносился сердитый голос хозяина. Это было похоже на отдаленные перекаты грома в летний день.

Потом в коридоре хлопнула дверь. Угодливо согнутая тень контролера проскользнула за перегородкой из матового стекла. Он заглянул в контору и кашлянул. Не то кашлянул, не то хихикнул:

— Господина Марта к управляющему. Хе-хе!

Март с замирающим сердцем взялся за медное кольцо тяжелой двери. Он переступал порог этого кабинета раза четыре в год, и всегда это было связано с ошибками, разносами, угрозами...

Что же сегодня? Ведь он так старается сейчас, когда не стихают слухи о сокращении. Правда, ошибки могли

быть. Всегда у него в голове постороннее, никак он не избавится от этой привычки.

В кабинете управляющего высокие окна с тяжелыми занавесками из красного бархата, стены, отделанные под орех, гигантский тумбообразный стол. Обстановка внушительная, все выглядит таким устоявшимся, утвердившимся навеки. Но, войдя, Март увидел, что управляющий усмехается и на каменном лице хозяина мелькает слабое подобие улыбки.

— Мексиканец в бархатном сомбреро,— неизвестно к чему сказал управляющий.

Контролер, проскользнувший в дверь за спиной Марта, угодливо кашлянул за спиной.

И тогда управляющий начал читать стихи... Поэму об удалом мексиканце, который увез любимую девушку на вороном коне.

Обернув красавицу портьерой,
Он ее забросил на мустанга...

Рифмованные строки очень странно звучали в устах управляющего. Он неправильно ставил ударения и терял рифму. Видно было, что после выпускного экзамена в школе ему ни разу не приходилось читать стихи. Март между тем соображал, каким образом эти куплеты могли попасть сюда. Ведь они лежали дома. Неужели он сам положил их в папку с делами? Проклятая рассеянность!

— Так вы поэт, господин Март? Так вы поэт, спрашиваю я? Почему не отвечаете?

Март пробормотал что-то в том смысле, что он не поэт, но иногда сочиняет из любви к прекрасному.

— Прекрасное! Вот этот мексиканец — прекрасное?

— О вкусах не спорят,— робко пролепетал Март.

Он остро презирал управляющего за то, что тот нагло рассуждал об искусстве, а еще больше себя за робкий извиняющийся тон.

Контролер кашлянул за спиной, не то кашлянул, не то хихикнул. Март понял наконец, каким образом его стихи попали сюда.

— Я из вас эту поэзию вышибу! — орал управляющий.

И тогда, неожиданно для всех и для самого себя, Март отчетливо сказал:

— Поэзию вышибить нельзя. Это врожденный дар. У некоторых его нет совсем.

Вот такой был Март. Девять лет он терпеливо сносил мелкие придирки контролера, а сейчас самому управляющему, и при хозяине, кинул в лицо: «У некоторых, у некоторых, его нет совсем».

Хозяин, молчавший все время, впервые шевельнул челюстью.

— Какое разгильдяйство! — сказал он.— Тратить рабочее время на вирши. Гоните его в шею, мне в конторе не нужны поэты.

Март ничего не ответил. А надо бы! Сказать бы что-нибудь ядовито-умное. «Вам поэты не нужны, но человечеству необходимы. А нужны ли вы, вот что сомнительно».

Когда-нибудь биографы напишут про Марта, как его выгнали с работы за поэзию. Имя хозяина станет нарицательным, станет синонимом невежества и тупого чванства. В полном собрании сочинений обведут рамкой поэму о мексиканце и мустанге. А потом когда-нибудь в виллу Марта придет разорившийся хозяин просить взаймы, и Март скажет ему:

— Эх вы, пародия на человека! Поняли теперь, как нужны людям поэты?

Март шел крупными шагами, высоко нес голову, довольно улыбался. Он так ясно представлял себе униженно-просительное выражение на топорном лице босса. Молодец Март, что ничего не сказал. Повернулся и ушел с презрением. Так лучше всего.

Весело бренча, он поднимался по лестнице к себе на четвертый этаж. И только на последней площадке подумал:

«Все это хорошо. Но что я скажу Гертруде?»

4

Они принесли с собой факелы, наполнив пещеру дымом и копотью. Тени от сталактитов ушли высоко под своды, там дрожали, сталкивались, переплетались. Дальний конец пещеры скрылся в ржаво-буром тумане. И всюду на глыбах и обломках сталактитов сидели гарпии, но исключительно бескрылые: жирные неопрятные старухи или старые девы со ссохшимися палками вместо крыльев за спиной. И мужчины собрались. Видимо, всех их провели

тайными ходами. Мужчины были все низколобые, кривоногие и лохматые, тоже большеглазые и прямоносые, но милый облик Гарпии как-то карикатурно искажался в них. Бросался в глаза вождь — с выпяченной челюстью и покатым лбом гориллы. Возле него стоял жрец в соломенной юбке, расписанный от макушки до пят, и еще какой-то худосочный юноша, глаз не отрывавший от Гарпии, Гарпии Эрла. Она была единственная крылатая тут, прочих девушек не допустили, видимо, оберегали от соблазна.

Высокая седая старуха с палками, болтавшимися за спиной, ударила в барабан:

— Горе тебе, чужеземец,— воскликнула она.— Горе тебе, укравший крылья!

Потом жрец вышел вперед. Время от времени подскакивая и завывая, он произнес речь. Так как фразы были короткие и каждая повторялась раз по пять, Эрл кое-как уловил смысл. Жрец говорил, как счастливы птицы-девушки, собирающие цветы на лугах, порхающие в свежих дубравах, и как подл, как гнусен, как зловреден хитрый чужеземец, тайком пробравшийся в их страну, чтобы обманом втереться в доверие девушки Гарпии и лишить ее крылатого счастья, возможности порхать в дубравах и собирать цветы.

— Вы посмотрите на это чудовище,— кричал колдун,— посмотрите на этого зверя. Только злыми чарами мог он привлечь к себе сердце невинной девушки. Но мы лишим колдуна силы... Выбьем из него волшебные чары.

Сначала Эрл хотел оправдываться, собирал весь свой запас гарпийских слов, чтобы объяснить, что он попал в их страну не нарочно, жаждет отсюда выбраться и больше ничего. Но где-то в середине речи жреца он понял, что оправдания не имеют смысла. Он приговорен заранее, все это сплошная комедия, такая же, как и в цивилизованных судах. В чем его обвиняют, в сущности? В том, что он хотел лишить Гарпию крыльев. Но ведь сами же они обрывают крылья у своих девушек, только об этом и мечтают. Просто он соперник, чужак и его хотят уничтожить. Так что же он будет спорить с похотливыми ревнивцами, со своим соперником, который глаз не сводит с Гарпии, со всеми этими ханжами, охотно отдавшими свои крылья, и с теми, которые жаждали, но не сумели отдать? Он культурный человек, не к лицу ему унижаться перед этим первобытным сбродом.

— Признаешься, что ты колдун? — спросил жрец.

Эрл молчал презрительно.

И тогда похожий на гориллу вождь шевельнул челюстью:

— Смерть ему! Мне не нужны колдуны в моей стране.

И вся толпа завыла, заревела, заулюлюкала:

— Смерть! Смерть! Смерть!

Эрл молчал презрительно. Думал только об одном: «Не унижаться!»

Десятки крючковатых пальцев впились в мускулы Эрла. Его поволокли по воздуху. В яростном экстазе женщины кусали и щипали его. Кто-то затянул хриплым голосом песню, где повторялись одни и те же слова:

Ты украл мои крылья,
Попробуй на них улететь!

Толпа вынесла Эрла на площадку, подтащила к краю пропасти. Эрл вновь увидел подернутую дымкой цветущую долину гарпий и кольцо неприступных гор, за которыми скрывалось заходящее солнце, для Эрла — навсегда скрывалось.

И он понял, какая ему уготована казнь. Сейчас его сбросят со скалы, именно об этом и говорила песня. Он жадно вдохнул воздух, свежий, насыщенный горной прохладой, протянул руки к уходящему малиновому закатному солнцу. Остро захотелось жить. Эрл невольно рванулся...

Гарпии захохотали. Смех их был похож на зубовный скрежет.

И в эту секунду Эрл перешел мысленно черту жизни. У него осталось только одно желание: умереть так, чтобы не было стыдно.

— Поставьте меня на ноги,— тихо сказал он.

Почему-то эти спокойные слова были услышаны за всеобщим улюлюканьем.

С трудом сохраняя равновесие на связанных ногах, Эрл сделал несколько шажков к краю бездны.

— Вы еще пожалеете, прокля...— крикнул он. И тогда жрец с хохотом толкнул его в спину.

Воздух расступился с резким свистом. Летя вниз, на острые камни, Эрл в последний раз услышал:

Ты украл мои крылья,
Попробуй на них улететь!

4а

Каждый день с утра Март надевал свой последний приличный костюм и отправлялся на поиски работы. Входил в бесчисленные двери, робким голосом осведомлялся, нет ли места. Это было унизительно — просить незнакомых людей. Ему казалось, что он протягивает руку за куском хлеба. А незнакомые люди — работовладельцы,— глядя на него свысока, смеялись почему-то: «Работу? Да ты, парень, как видно, шутник. Какая же работа в наши времена?» Другие отвечали раздраженным деловым тоном: «Нет работы, нет, идите, не мешайте!» Март извинялся и уходил, смущенно краснея: помешал занятым людям, неудобно.

Почти всюду у Марта спрашивали рекомендации, и, в сотый раз рассказывая, почему их нет, Март все еще смущался и бормотал что-то невнятное. Конторщики глядели на него подозрительно, говорили: «Подумайте, как интересно! Ну, что ж, зайдите к нам в конце лета, а еще лучше — в ноябре, если не найдете к тому времени места».

Не сразу решился он отнести в редакцию свои стихи. Редакторы были очень вежливы. Никто не сказал Марту, что он бездарность. Редакторы отказывали иначе:

— Стихи? — говорили они.— Стихами мы обеспечены на три года вперед. Каждый мальчишка пишет стихи, и все про любовь. Вы нам принесите фельетончик позабористее, скажем, о деревенском остолопе, впервые попавшем в столицу. Такой, чтобы все за животики держались.

Или же:

— Эти стансы-романсы-нюансы всем надоели, их никто не покупает. Дайте нам роман о ловком советском шпионе, побольше крови и секса. И покажите рядом нашего сыщика, благородного, смелого, сверхчеловека. Парни не хотят идти в полицию, надо их привлечь.

Или:

— Выдумки нынче не в моде, читатель требует подлинности. Вы раздобудьте подлинный материальчик о простом нашем парне, который волей и настойчивостью сделал себе миллионы. Факты, снимки, документы!

Разве Март не пробовал? Пробовал. Не получалось. Вот материальчик о том, как люди теряют последние гроши, он мог бы принести хоть сейчас.

А недели шли, и деньги текли, и работы не находилось.

Наконец Маргарита, сестра Герты — та, что танцевала в обозрении «100-герлс-100» седьмой справа во втором ряду,— вспомнила, что у нее есть хороший знакомый, брат которого встречается в одном доме с бывшим хозяином Марта. Март возмутился: «Унижаться перед старым хозяином? Ни за что!» Но у Герты были такие печальные глаза, такие худые щеки, что Март не выдержал, дал согласие. И Маргарита поговорила с хорошим знакомым при первом же удобном случае, и знакомый поговорил с братом, и брат поговорил...

Однажды, это было в тот день, когда в Стальной Компании Март дожидался шесть часов, чтобы услышать «Приходите через полгода, мы будем строить новый корпус, возможно, понадобятся люди», Герта встретила его на пороге с поджатыми губами. И она вошла за ним в комнату молча, и каблуки ее стучали жестче, чем обычно.

— У Маргариты ничего не слышно? — устало спросил Март, вешая шляпу на вешалку.

Герта уперлась руками в бока. На щеках ее проступили красные пятна.

— Слышно! — недобрым голосом произнесла она. И добавила без перехода: — Значит, ты все еще пишешь стихи?

Март с удивлением посмотрел на нее. Ведь Герта знала, что он пишет стихи. Он столько посвящал ей, когда они еще не были женаты. И Герта гордилась этими стихами, переписывала себе в альбом, читала на любительских вечерах.

— Пишешь стихи! — кричала Герта.— Женатый человек, виски седые, и туда же... как мальчишка! Вот полные ящики бумажек... Вот они... Вот они! Или ты думаешь кормить меня, продавая эту макулатуру сборщику утиля? Красотка, завернутая в занавеску! В каком притоне повстречал ты ту цветную потаскушку?

Герта рванула ящик стола, аккуратно сложенные стопки листков разлетелись по полу. Выхватила другой ящик, не удержала, уронила Марту на ногу.

Надо было знать Марта, чтобы понять, какая ярость охватила его. Он никогда не возражал Герте, соглашался, что он неумный, неловкий неудачник. Но эти бумаги быбыли лучшей частью его Я. Они оправдывали его

существование. И вот теперь Герта топчет ногами это лучшее Я.

Он оттолкнул ее. Герта упала, вероятно, нарочно, ударилась головой о стену и некоторое время смотрела на мужа больше с удивлением, чем с обидой. Никогда она еще не видела его в таком гневе. Потом, спохватившись, Герта заплакала громко.

Март молча подбирал и складывал листки.

— Несчастная я,— всхлипывала Герта.— Вышла замуж за лодыря, за сти-и-хоплета... Загубила свою молодость... Режиссеры делали мне предложения, умоляли, на коленях ползали. Всем отказывала ради этого... этого...

Она плакала и время от времени поглядывала на мужа. Почему Март никак не реагирует на слезы? И почему смотрит таким странным взглядом? Он же извиняться должен, вымаливать прощение, обещать исправиться.

А Март смотрел на Герту с ужасом, не понимая, не узнавая, и думал, сокрушаясь:

«Совсем чужая, совсем чужая!»

5

— Раз... два... три...

Кто знает, почему мозг Эрла вздумал отсчитывать секунды падения. И кто сочтет, сколько воспоминаний пронеслось в мозгу, пока Эрл летел, кувыркаясь и ведя счет.

Перед глазами кружились в беспорядке мазки белого, голубого, охристого, зеленого... И точно так же кружились обрывки воспоминаний: Эрл на крикетной площадке, Эрл у гроба матери, Эрл у классной доски, Эрл в тропическом лесу... А мозг продолжал отсчитывать: «пять... шесть... семь...»

Солнце блеснуло в глаза, затем тень закрыла его. Сзади что-то ударило, подтолкнуло. Совсем близкая земля мелькнула рядом и ушла. Эрл закрыл глаза.

— Не бойся, милый,— голос юной Гарпии звучал над ухом.— Я унесу тебя далеко-далеко. Глупые, они заперли всех крылатых девушек. Мы одни в воздухе, нас никто не догонит.

Сердце Эрла наполнилось благодарностью и нежностью.

Какая смелая, какая самоотверженная девушка! Она вовремя прыгнула со скалы, догнала Эрла, пикируя, подхватила на лету...

— Ничего,— шептала Гарпия, задыхаясь.— Мне совсем не тяжело. Мне так радостно. Только не двигайся, прошу тебя.

Эрл старался не двигаться, старался не дышать. Так стыдно было, что он совсем не может помочь нежной девушке, висит в ее руках, как мешок, связанный веревками.

Он глядел вниз как бы с невидимой башни. Под ним, метрах в десяти от его ног, медленно проплывали верхушки деревьев, щербатые скалы, водопады, лужайки. И когда прошел первый страх и прекратилось головокружение, Эрл понял, какое счастье досталось девушкам-гарпиям вместе с крыльями.

Это не имело ничего общего с полетом в пропахшей бензином кабине натужно ревущего самолета, откуда леса и поля выглядят лиловатыми пятнами разных оттенков. Отсюда, с малой высоты, лес показывал им свои интимные тайны. Эрл увидел огромную кошку-ягуара, который точил когти, царапая кору. Деревья повыше они огибали, плыли по извилистым лесным коридорам. И обезьяны, лохматые лесные акробаты, сопровождали их, прыгали по веткам, перебрасывая тело с руки на руку. Питон, дремлющий на суку, приподнял голову. Эрл поджал ноги, чтобы не задеть его.

Гарпия дышала с хрипом, ее горячее дыхание грело затылок, пальцы все больше впивались под мышки. Несколько раз она пробовала ногами обхватить ноги Эрла, но ей не удавалось это. При последней попытке она чуть не выронила Эрла, даже зубами ухватила его за волосы.

«Боже, как она удерживает меня? — думал Эрл.— Целых семьдесят килограммов на вытянутых руках».

— Брось меня, лети одна!

Гарпия лишь тихонько рассмеялась.

— Бросить? Ха! Мне тяжело, но... Я люблю.

...На следующий вечер они сидели на берегу океана. Гарпия задумчиво смотрела, как валы набегают на берег, крутыми лбами стараются протаранить скалы и разлетаются каскадами шипящих брызг. Морская даль отра-

жалась в зрачках Гарпии, сегодня они казались синими.

— Как велик твой мир,— говорила она Эрлу,— какая я крошечная у твоих ног! У меня жжет в груди и сердце ноет, когда я смотрю на тебя. Это и есть любовь, да?

Что мог сказать Эрл? Он и сам не разобрался в своих чувствах. Любил ли он? Да, да, да! Но ведь еще вчера поутру он снисходительно посмеивался над Гарпией, мысленно называл ее «наивной дикарочкой». Нет, это было не вчера. Тогда он не знал еще, что такое подвиг любви. Всей его жизни не хватит, чтобы отплатить Гарпии. Он покажет ей мир, приобщит к культуре, научит всему... Он обеспечен, у него есть все, чтобы осчастливить любую девушку.

— Я хочу смотреть тебе в глаза,— шептала Гарпия,— днем и ночью, и завтра, и всегда. Только смотреть в глаза. Это и есть любовь, да?

Эрл нагнулся и поцеловал ее в губы.

— Еще, еще! — Голос ее был сухим и жадным.— Милый, это и есть любовь, да? Я хочу быть счастливой, целуй меня, рви крылья, мне они не нужны больше.

Эрл увидел у самого лица бездонные расширенные зрачки и на мгновение ему показалось, что он чужой здесь, что Гарпия тут одна, наедине со своей беспредельной любовью...

Через три дня они пешком добрались до порта, а еще через неделю пароход увез их на родину Эрла.

5а

У Марта были золотые часы, у Гертруды — браслет и жемчужное ожерелье. Конечно, все это пришлось заложить. Потом Март продал пальто, затем кое-что из мебели. В комнатах стало просторно и неуютно. Они перебрались в другой квартал, чтобы меньше платить за квартиру.

Потом пришлось продать выходной костюм, выкупить драгоценности и тут же продать их. Почему-то эта операция кормила их не больше месяца. Где-то рядом, в том же городе, жили сотни людей, которые наживались и богатели, продавая и покупая. Как они богатели, для Марта оставалось тайной. Он продал все, что у него было, но не нашлось вещи, за которую он выручил бы больше четвер-

ти цены. Даже знаменитые акции гватемальских рудников пошли за пятнадцать процентов номинала.

История падения Марта была долгой и скучной, для всех — скучной, для Герты — раздражающе-глупой, а для самого Марта — полной горьких переживаний. К двум часам дня обессиленный от унижений Март возвращался домой. Гертруда встречала его на пороге настороженным взглядом. Но не спрашивала ничего. По лицу видела, что он вернулся ни с чем.

И легче было, когда Герты не было дома, не было молчаливого упрека в ее глазах. К счастью, в последнее время это случалось все чаще. Герта уходила к своей сестре Маргарите. И на здоровье! У Марта не было никаких претензий. Там она могла по крайней мере сытно пообедать.

Дома Март садился у окна, глядел на серое городское небо и мечтал. Мечтал о тех временах, когда его признают и люди будут гордиться, что встречали его, пожимали руку, жили на одной улице с ним. В предвкушении будущей славы Март счастливо улыбался. Жаль, что Герта не могла разделить его мечты. Во-первых, она не верила в них, а во-вторых, счастье ей нужно было сейчас, немедленно, пока не ушла молодость.

А однажды Март не пошел искать работы, просто не пошел. Был жизнерадостный весенний день, когда счастливое солнце улыбалось в каждой лужице, и Марту не захотелось в этот день унижаться. Он выбрал далекий скверик, подобрал старую газету, уселся на скамейку. Улыбался солнцу и думал, что ничего не скажет жене. Сил не было и мужества не было. Пусть будет однодневный отпуск. Днем больше, днем меньше, какая разница.

И вдруг в конце аллеи он увидел Гертруду. Она шла рядом с сестрой, оживленно разговаривала с ней. У обеих в руках были новенькие желтые чемоданы. Наверное, Маргарита уезжала на гастроли, как обычно, и Герта провожала ее. Март едва успел закрыться газетой. Женщины прошли совсем близко и не узнали его. Удалось избежать ненужных объяснений с женой и язвительных колкостей свояченицы.

Солнце погасло. Март вышел из сквера. Часы на перекрестке показывали без пяти час. Пожалуй, можно идти домой. Вряд ли Герта вернется скоро.

Через четверть часа он был в своей пустынной квартире. Какой мрачной стала она! В последнее время Герта даже не убирала, говорила, что не стоит трудиться ради такого мужа. Март не обижался. Верно, он виноват перед ней, но вину он исправит. Нужно только немножечко терпения и спокойной работы.

Он воровато глянул в окно, не возвращается ли жена, выпул из-под макаронного ящика клеенчатую тетрадь и начал писать.

6

Эрл встретился с Риммой ровно через год после своей свадьбы с Гарпией.

В первый раз расстался он тогда с молодой женой. Гарпия не переносила морской качки, и Эрл воспользовался этим (да, воспользовался!), чтобы поехать на курорт одному.

Стыдно сказать, но он немножко стеснялся появляться в обществе с Гарпией. Гарпия была мила, но чудовищно наивна и невоспитанна, она всегда ставила его в неловкое положение. Притом у нее не исчезли еще мощные мясистые наросты на спине, где прежде были крылья, и Эрлу приходилось постоянно слышать недоуменные вопросы, что он, собственно, нашел в этой горбатой красавице с греческим профилем.

Конечно, Гарпия любила его, очень любила. Так забавно было возиться с ней, словно с маленькой девочкой, показывать, как обращаться с водопроводным краном и со штепселем, пугать ее радиоприемником, катать в автомобиле по городу, ошеломлять магазинами. Незаметные детали нашего быта — стул, карандаш, мыло — все это было проблемой для нее.

Гарпия очень старалась приобрести навыки культурной женщины, ей так хотелось угодить мужу. Но почти каждый день, приходя домой, Эрл получал доклады от экономки:

— Мадам изволит спать на полу в гостиной. Она говорит, что так прохладнее.

— Мадам напустила воды в ванну и забыла закрыть кран. Паркет испорчен в трех комнатах.

И в строгих глазах старушки Эрл читал осуждение: «Человек из хорошей семьи... и такая жена!»

Гарпия была необычайно мила... но Эрлу не с кем было посоветоваться о делах, получить поддержку в трудную минуту, не с кем поделиться удачей. Гарпия просто не понимала, чем он занят. Поцелуи... и только.

И сюда, на курорт, два раза в неделю приходили реляции экономки: отчеты о затратах и сообщения о проказах жены. А в конце старательные и корявые буквы: «Дарагой муш. Я тибя очень лублу. Приижай скореи».

Эрл с умилением читал эти каракули и чувствовал, что на расстоянии он любит Гарпию гораздо больше.

Римма Ван-Флит была очень богата, богаче Эрла и очень умна, пожалуй, умнее его. Она великолепно плавала и играла в теннис, немножко пела, немножко рассуждала о литературе, все это делала превосходно для дилетанта.

Она была хороша собой: огненно-рыжие волосы, тонкий острый нос, красота острая, вызывающая. И брови, подбритые чуть тоньше, чем нужно, губы, намазанные чуть ярче, декольте чуть глубже, чем принято, платье чуть прозрачнее, чем прилично. Зато каждый мог видеть, какая у нее красивая спина и плечи. А спина была человеческая, нормальная, без мясистого горба.

— Все говорят о вашей будущей пьесе,— сказала она Эрлу при первом знакомстве.— Твердят, что вы затмите Шекспира и Эсхила.

И Эрл получил возможность, такую приятную для автора, рассказать о своих замыслах и затруднениях. Римма слушала, неумеренно восхищаясь, и время от времени вставляла замечания, которые поражали Эрла меткостью и остроумием.

— Вам нужно самой писать,— сказал он Римме.

Собеседница его засмеялась особенным грудным смехом, воркующим и многозначительным:

— Что вы, ведь я только женщина, и ум у меня женский, пассивный. Мое дело чувствовать талант, понимать, восхищаться, любить его... творчество.

Потом они пили коктейли. У Риммы блестели глаза, щеки заливал румянец. Говорили как старые знакомые, переходя с темы на тему, все не могли наговориться. И о любви с первого взгляда, и о родстве душ, и о взаимном понимании, и о том, как редко встречается в жизни настоящее чувство...

Потом они каким-то образом оказались на пляже. На жемчужном песке лежали четкие тени пальм. Луна расстелила свой золотой коврик на стеклянной поверхности моря.

Зыбь колыхалась у берега, рокотали камешки. Римма на тонких каблучках не могла идти по песку, завязла и хохотала над своей беспомощностью.

Эрл взял ее на руки. Бледное лицо женщины сразу стало серьезным. Эрл понял, что пора ее поцеловать.

Утром он послал жене телеграмму:

«Доктора настойчиво советуют морское путешествие. Знакомые приглашают на яхту. Напишу подробно».

Но он так и не написал. По телеграфу было легче лгать.

Прошел еще год. В отдаленном австралийском порту Эрл, не простившись с Риммой, сел на встречный пароход, чтобы вернуться домой. У него было чувство, будто он выбрался из гнилой лужи и никак не может отмыться. Вся эта грязь с Риммой, ее мужем, предыдущим любовником, случайными знакомствами. И скандальные статьи о мнимых оргиях и выдуманных дуэлях. И все — на первых страницах газет... Как он мог попасть в эту трясину?

Но по мере того как пароход приближался к дому, настроение Эрла улучшалось, будто морские ветры стирали с его губ следы поцелуев Риммы. Как-то поживает его Гарпия? «Дарагой муш, приижай скореи». Вот и приезжает, с опозданием на год.

Только бы Гарпия ничего не знала. Счастье еще, что она не читает газет. Эрл не верил в бога, но сейчас он горячо молился, упрашивая небесные силы скрыть его похождения. Давал обещание любить жену вечно, сделать ее жизнь радостной. И хорошо бы, чтобы у них были дети, лучше девочки. Пусть порхают по саду, а они с Гарпией будут стареть и радоваться, на них глядя.

И вот с замирающим сердцем Эрл вступает в собственный дом.

Старая экономка хмурит брови, встречая его. Взгляд у нее укоризненный. Уж она-то читает газеты. Наверное, знает все.

Эрл отводит глаза, небрежным тоном спрашивает:

— Ну, что дома? Наша проказница здорова?

И ему страшно хочется услышать что-нибудь о наив-

ных проделках Гарпии: посадила цветы в картонку от шляпы, поливала сад горячей водой.

Экономка медлит, зачем-то подводит Эрла к диванчику, придвигает столик с сифоном, уговаривает держать себя в руках. Эрл начинает догадываться.

— Она... она узнала?

Экономка кивает головой.

— Ничего не поделаешь, все говорили об этом. Я старалась скрыть, как могла. Но однажды ночью она прибежала ко мне в слезах и сказала: «Я знаю, он не любит меня больше». И она плакала ночь напролет, и у нее сделалась горячка, и мы боялись за ее жизнь целый месяц. А потом она выздоровела и стала, извините меня, довольная и веселая. И песни пела, звонко так, и в спальне запиралась. А я, простите, поглядела однажды в щелку, что она делает. Представьте, она шила себе платье из белого муслина и все примеряла перед зеркалом. А на спину сделала крылышки, сначала маленькие, как у бабочки, а потом побольше, а потом уж совсем громадные. И мы не знали, что она не в себе, даже радовались, что занятие нашла. А как-то ночью она поднялась на башню и прыгнула в воду.

Эрл вскочил и обнял плачущую старушку.

— Она жива! — воскликнул он.— И я найду ее. Просто у Гарпии выросли крылья, и она улетела.

Старушка положила ему на лоб сухую руку.

— Что вы, побойтесь бога! Разве она птица, чтобы летать?

6а

Солнце зашло за кирпичную стену, и в комнате стало сумрачно. В предвечерней тишине особенно явственно звучали голоса мальчишек, игравших в войну на мусорной куче. Издалека доносился благовест. А Март все писал и писал, горбясь над подоконником, почти не видя букв и не желая отвлечься, чтобы зажечь свет. Никогда ему не писалось еще так легко и свободно. Он отчетливо видел перед собой эту ненавистную рыжую Римму и заурядного Эрла, похожего на него самого, только богатого и

благополучного, и удивительную Гарпию, несущуюся над морем на перламутровых крыльях.

Наконец Март дописал заключительные слова главы, выпрямился, провел ладонью по лбу, как бы стирая фантастические образы, и сладко потянулся, возвращаясь к действительности. Несколько секунд радостный подъем творчества еще бодрил его. Потом он вспомнил о бедности, безработице и Герте.

Где же Гертруда? Сколько времени можно провожать сестру?

Он зажег свет и заметил возле зеркала приколотую к салфетке записку:

«Дорогой Март!

Я долго ждала и терпела, но больше не могу. Ты сам понимаешь, что жить так невозможно. Тебе самому без меня будет легче. Если бы ты любил меня достаточно и думал обо мне, ты давно нашел бы в себе энергию, чтобы устроиться как следует.

Прощай, будь счастлив по-своему. Не старайся отыскать меня. Это будет неприятно нам обоим.

Герта»

Март перечитывал записку и никак не мог понять, что это значит «неприятно обоим» или «устроиться как следует»? И только взглянув на разбросанные вещи, он все осмыслил и застонал, схватившись за голову.

Ушла! Убежала! Улетела, как Гарпия!

Он недостаточно любил Герту, и она улетела.

7 и 7а

Больше Март не написал ни слова. Он не знал, как кончить рассказ.

По первоначальному замыслу Эрл должен был очнуться после болезни, вся история Гарпии оказывалась бредовым сном. Но теперь Март понял, что такой конец был бы фальшивым. Гарпия не была, не могла быть миражом. И Эрл не должен был отступиться, легко расстаться с ней, как с сонным видением. Он обязан был искать ее... как Март искал Герту.

Должен был ходить к Маргарите и что-то выведывать, стойко вынося насмешки. Должен был навещать дядей, теток и прочих самодовольных родственников, хитря, задавать им наводящие вопросы, ловить на противоречиях, внимательно осматривать комнаты в поисках забытой на диване косынки — улики, свидетельствующей о спрятанной Герте. Должен был, притаившись за оградой, ждать, не мелькнет ли за окошком силуэт жены. И дарить медяки соседским мальчишкам и выспрашивать, не видали ли они блондинку в клетчатом жакете.

«Если бы ты любил меня достаточно...» — писала она. Март и сам только теперь понял, как он любит жену. Он мог быть резок, мало говорил ей ласковых слов, но как же она не понимала, что и нудная работа в конторе, и сверхурочные, и подарки родственникам, и унизительные поиски работы — все делалось ради нее. И даже стихи, которые она не ценила, и даже эта, тайком написанная повесть о Гарпии — все было для того, чтобы получить ее признание.

А теперь Март перестал искать работу. Работа больше не интересовала его. Он продавал последние вещи и на вырученные деньги давал объявления в газеты. А время тратил на хождение по знакомым, у которых мог случайно встретить Герту.

Они с Эрлом очень беспокоились о своих женах. Ведь и Герта, как Гарпия, совсем не знала практической жизни. Что она видела, в сущности, кроме кухни, портних и универсальных магазинов? Каждый мог ее обмануть, каждый мог обидеть.

Март часами ломал голову, угадывая, куда они делись. Он ходил на вокзалы и в порт. В порту кто-нибудь мог видеть Гарпию. По всей вероятности, она полетела на родину. Это было безумие — лететь за тысячи километров на слабых, заново выросших крыльях, но ведь у нее не было ни малейшего понятия о географии. А если буря? А если она потеряла направление? Сколько может лететь над океаном слабая женщина? Она была такая нежная, лицо еще хранило воспоминание о ласке ее мягких рук.

Нужно было побороть застенчивость и каждого служащего, каждого матроса в порту спрашивать о Гарпии. И ничего, если люди смеются в глаза и отвечают издевательски: «Крылатая женщина? Как же, знаю. Она продает

пиво в баре за углом». И не надо бояться насмешек в отделах объявлений. Пусть печатают слово в слово: «Размах крыльев шесть-восемь метров, клетчатый жакет, блондинка высокого роста, греческий профиль».

Пусть смеются. Прочтет кто-нибудь, кто ее заметил.

Он сидел в порту до поздней ночи, пока непроглядно черное небо сливалось с черно-лаковым морем на горизонте. Всматривался, ловил пролетающие тени. Что там маячит? Не чайка, слишком медлительно. Порхает, как летучая мышь. Великовата для летучей мыши. И все перебирал воспоминания. Как хорошо было в тихой пещере: ксилофончики капель, смолистый запах дыма, задумчивый профиль Гарпии, освещенный костром. И в полете было так хорошо: плыл над ветвями, поджимая ноги, чувствовал горячее дыхание девушки на затылке...

Днем и ночью Эрла мучил кошмар. Он видел, как истомленная Гарпия, тяжело двигая крыльями, летит над волнами. Полет ее неровен. Она рывком набирает высоту и устало планирует к воде. Грузные валы протягивают жадные губы, лижут кайму платья. Пена, как голодная слюна, течет по гребням. Гарпия отдергивает ногу, коснувшись холодной воды, судорожно машет тяжелыми, набухшими от брызг, разъеденными солью крыльями, шлепает ими по воде, бьется в смертельном испуге...

— Эрл! — кричит она пронзительно.— Эрл!

Марту было до слез жалко Гарпию. Он сидел с ногами на неубранной кровати, жадно тянул окурки, чтобы успокоиться. Он не хотел, чтобы Гарпия утонула. Ведь она же такая сильная — целый день несла по воздуху Эрла — взрослого человека. Правда, тогда была любовь... и хорошая погода.

А какая была погода на этот раз? Впрочем, путь дальний, всякие могли быть перемены. В тропиках часты циклоны. Вспомнить бы число, послать запрос в бюро погоды. Какое же было число?

Ах да, никакое. Он все выдумал.

А когда ушла Герта, был весенний день, солнечный и ветреный. В городе-то было приятно, свежо, а в океане, наверное, разыгралась настоящая буря. Клетчатый жакетик Герты в мгновение превратился в холодный компресс. Герта так боялась простуды...

Но ведь не она летела. Летела Гарпия.

А если Герта не улетела, почему же он не может ее разыскать?

Однажды Марту приснился сон. Он шел с Гертой по волнолому. И вдруг у Герты за спиной оказались перламутровые крылья, громадные, метров восемь в размахе. И Герта была оживленна, довольна, много смеялась.

— Сейчас я полечу,— говорила она.— Вам, мужчинам, не дано такое счастье. Вы слишком много едите, у вас животы тяжелые. Жадность держит вас на земле. Если бы ты научился не есть...

Вот такой был сон. А может, это был и не сон, потому что дня через два на том же волноломе Март встретил зеленого матроса, который сказал ему, что он замечал, не раз замечал крылатую женщину над заливом. «Вы можете видеть ее в сумерки,— добавил он.— Она часто залетает сюда».

Очень странный человек был этот матрос. Лицо у него было какое-то мутное и меняющееся, по нему струилась вода. И, поговорив с Мартом (правда, он называл его Эрлом, но Март не протестовал, он, в сущности, имел право на это имя), матрос как был, в одежде, спустился с волнолома в воду. Рядом стояли кочегары с французского парохода и негритянка — торговка бананами, но никто из них не удивился. Видимо, таковы были повадки зеленого матроса.

После этого, выполняя совет Герты, Март старался не есть ничего. В голове у него было светло, как-то по-праздничному чисто. А тело стало легким, невесомым, по земле уже трудно было ходить, ветер отрывал его от асфальта. И Март понимал, что скоро, когда ветер будет посильнее, он сможет полететь за женой.

Однажды поздно вечером он сидел в порту (теперь он уже никуда не уходил отсюда). Разыгрывалась непогода. Тяжеловесные оливковые валы напирали плечом на волнолом, и брызги летели шрапнелью в небо, где неслись, задевая за мачты, клочья дымчатых туч. Барки со спущенными парусами топтались у причалов, стонали, охали, лязгали якорными цепями.

И вдруг Март увидел ее. Она летела над водой очень низко, задевая гребни намокшими крыльями. Волны лизали кайму ее платья, клетчатый жакет намок, превратился в холодный компресс. Герта кашляла, испуганно поджимала ноги, рывком старалась набрать высоту и тут же устало планировала вниз.

Вот она над самой водой. Черный вал нависает над ее спиной... Обрушился!

Герта бьется на воде, беспомощно ударяя слипшимися крыльями.

— Март,— кричит она пронзительно.— Март!

Март протягивает к ней руки.

Порыв ветра поднимает его. Март летит, Март плывет на помощь любимой.

Горькая вода плещет в лицо, льется в рот, соль ест глаза. Март бьет руками по воде и по воздуху...

И это конец повести о крыльях Гарпии.

О. ЛАРИОНОВА

Развод по-марсиански

— Корели?

Он вскочил и уставился на свою жену. Ну да, Корели. В чем же дело? Что ему было вскакивать и орать на весь дом? Корели...

— Корели, черт бы тебя побрал...

Он снова сел на постель и долго тер виски. За эти четыре года буквально не было дня, чтобы у нее не появилось очередной ангельской привычки. Вот и сегодня — смотреть на спящего человека...

— Что за манера — смотреть на спящего человека?

Вот уже четыре года, как из тысяч таких вот маленьких привычек она пытается создать самое себя. Каждый день она старательно изыскивает новую блажь, при этом не забывая и периодически повторяя старые. Вероятно, про себя она называет это «активным протестом против нивелирования собственной личности». Сейчас этот активный протест выражается в том, что она упорно смотрит на него круглыми пуговичными глазами, разделенными надвое узкой прорезью стоячего, остекленелого зрачка. Она смотрит на него, как снежная птица чичибирилинка.

— Ну, что ты смотришь на меня, как чичибирилинка?

Но стоячая вода зрачков — стоячая вода. Совершенно очевидно, что воспоминание о снежной птице не обременяет памяти жены. А это была очень красивая птица. Совсем маленькая, с ладонь.

— Неужели не помнишь? Совсем маленькая птица, с мою ладонь...

Только глаза у нее были не круглые, как у людей, а удлиненные, с перламутровой инкрустацией белка. Снежная птица, встреченная ими в их первое лето, когда они забирались все дальше и дальше на север, пока не дошли до бурых полярных болот. Он хотел вернуться, но Корели потянула его дальше, ей хотелось обязательно дойти до самого полюса, чтобы увидеть настоящий снег, и они его увидели, потому что лето было холодное, и полярная шапка растаяла не до конца. Но если бы лето было жаркое, они напрасно дошли бы до самого полюса, и, может быть, Корели потащила бы его на юг, на самый-самый юг, потому что ей приспичило увидеть снег.

Островок снега был совсем крошечный, они дошли до него к ночи и провели на нем ночь. И тогда к ним прилетела белая птица.

— Она прилетела к нам...

— Я помню,— сказала Корели.— Я все помню, Сит.

Он перестал тереть виски и вскинул голову:

— Да ну? — оказывается, она помнила еще что-то, кроме своих бесчисленных привычек, входивших в комплекс ее старательно придуманного Я.

— Не надо,— попросила Корели,— не надо так. Это была действительно красивая птица. Она села перед нами и чуть-чуть распустила крылья, чтобы кончиками их опираться на снег. Она долго смотрела на нас и все не могла понять, кто мы такие.

— Как же,— сказал Сит,— старалась она понять. Она просто тупо переваривала пищу, потому что обожралась всякими червями из бурых болот, прокисшей ягодой и разложившейся падалью. Она всеядная, твоя снежная птица чичибирилинка. Всеядная тварь.

— Не надо,— снова попросила Корели,— тебе самому потом бывает неприятно, когда ты так говоришь.

Сит быстро глянул на нее и потянул к себе одежду.

— Миленькая моя,— он дернул вверх язычок застежки так, что взвизгнули металлические зубчики,— за последние четыре года ты удивительно научилась распознавать, что мне приятно, а что — нет. А потом являться на рассвете и пялить на меня глаза, так что я просыпаюсь в холодном поту.

Корели повернулась и пошла в свою спальню. Теперь, когда она уже не смотрела на него немигающими птичьими глазами, а бесшумно скользила вдоль стены, легко касаясь ее пальцами опущенной руки, и каждое ее движение было удивительно прежним — из того далекого первого лета — теперь все вдруг перевернулось.

— Да постой же ты, ради бога,— досадливо крикнул он,— иди сюда, раз уж ты меня разбудила. У меня ведь есть еще время.

Она остановилась, прислонясь к стене и спрятав за спиной руки.

— Нет,— сказала она.— Не надо, Сит.

Так. Значит, теперь с интервалом в два-три дня она будет говорить ему «не надо». Нарождение второй привычки за одно только утро.

— Сит, я не хочу так — только потому, что у тебя есть время...

— Миленькая моя, я что-то не припоминаю, чтобы мы с тобой когда-нибудь задумывались над мотивировками.

— Да,— сказала она,— потому что раньше была белая птица, и снег, и звезды, такие яркие, что отражались в снегу.

Он прикрыл глаза и честно припомнил снег, и птицу, и тень от птицы, когда он высек огонь, и все это появилось, но звезды в снегу не отражались.

— Нет,— сказал он,— такого не бывает.

— Белая птица,— повторила она,— и звезды, которые отражались в снегу.

— Птица была,— сказал он.

— И звезды, которые отражались в снегу.

— Черт с ними, пусть отражались.

Корели ничего не сказала. Вот так все четыре года, все четыре проклятых года. Жуткая болезнь — несвертываемость крови. Она сама по себе не делает с человеком ничего страшного, она только позволяет крови вытекать — капля за каплей, беспрестанно, до самого конца.

С каждой каплей все легче и легче становится тело. Вот оно стало совсем легкое. Невесомое. Чужое.

Чужое.

— Ну вот,— сказал Сит,— вот теперь у меня и времени не осталось.

Он пошел к двери и остановился.

— Ты будешь выходить из дому? — спросил он.

— Да,— сказала она,— но к твоему приходу я вернусь.

Он переступил порог и пошел по узенькой тропинке, стараясь думать о дневных делах, чтобы прогнать раздражение, которое не покидало его с того самого момента, как он проснулся. Но все кругом — и капли росы на шершавых оранжевых листьях, и сиреневая чистота близкого горизонта, и свежий хруст промерзшего за ночь гравия — все непрошенно возвращало мысли Сита к тому, что сейчас утро, раннее утро. Нехорошо начавшееся утро.

Он свернул с тропинки, подошел к гаражу и выбрал себе мобиль; задав обычный курс, почувствовал, как машина плавно набирает высоту. Он прикрыл глаза, чтобы окончательно сосредоточиться на дневных делах, и это ему, наконец, удалось. Так он и сидел уже совершенно спокойный еще несколько минут, пока мобиль не нырнул вниз,

и тогда Сит приоткрыл глаза — и разом вспомнил свое пробуждение. Так же, как и сейчас, он тогда лишь приподнял ресницы и увидел край лилового платья и совершенно чужие, незнакомые ему руки.

Тогда он вскочил и крикнул: «Корели?» — и действительно, перед ним стояла жена. В лиловом платье, спрятав руки за спиной, и потому он не мог припомнить, что же так поразило его в самый момент пробуждения.

А сейчас он отчетливо вспомнил эти смуглые, никогда не виденные им прежде руки, и понял, что Корели уходит от него.

Сит задохнулся, словно его мобиль на полном ходу врезался в полосу непроглядного, материально существующего одиночества. Так, значит, она уходит. Но почему именно сейчас, и почему это явилось для него такой неожиданностью?

Ее поступок выпадал из логической схемы их взаимоотношений, до сих пор превосходно объяснявшей ему как его собственные, так и все ее поступки. Кроме вот этого. Следовательно, или действовавшая годами схема неверна, или поступок...

Сит вдруг успокоился. Схема верна. Такая, как Корели, не может уйти от такого, как он. Бессмыслица. Здесь не было ни тени самодовольства — напротив, он чересчур хорошо знал собственные недостатки. Именно потому она и не могла покинуть его, что он был достаточно безобразен и невыносим, чтобы иметь право на постоянную нескончаемую доброту и нежность. Потому он и не ждал, что она решится покинуть его.

А может быть, руки — это только показалось? Он ухватился за это утешение и заставил себя обрести прежнюю самоуверенность и уже окончательно успокоился, когда вспомнил, что Корели обещала вернуться к его приходу. Если бы она решилась уйти совсем, она сделала бы это сразу. На постепенный уход требуется слишком много сил. Все только показалось. Миленькая моя, никуда ты от меня не уйдешь.

Корели так и стояла, прислонившись к дверному косяку и спрятав руки за спиной, пока мобиль мужа не взмыл над садом; тогда она быстро пробежала по той же дорожке, по которой только что проходил Сит, и села в первую попавшуюся машину. Мобиль рванулся так, что ее вжало в губчатую спинку сиденья. Это уже слишком похоже на

бегство. Не надо так. Она ведь еще вернется. Она обещала вернуться.

В темном — не всем хочется быть узнанными — вестибюле было многолюдно. Корели быстро подошла к свободному экранчику фона и наклонилась, заслонив его плечами.

— Би, пожалуйста,— проговорила она,— выйди ко мне.

Би подошла сзади, и Корели вздрогнула, когда та крепко взяла ее за руки.

— Ну, что, глупыш, все-таки пришла?

Корели несколько раз кивнула.

Би потащила ее в нишу, и обе уселись на каменную скамеечку, низко опустив голову.

— Не заметил? — спросила Би, разглядывая руки своей подруги.

— Кажется, нет,— ответила Корели.— И напрасно я остановилась на этом. Все надо было кончить еще вчера. Чтобы от меня ничего-ничегошеньки не осталось.

— Успеешь,— сказала Би.— Это никогда не поздно. Я сама когда-то тоже вот так торопилась.

— Пожалуйста, Би, не начинай все сначала. Вчера я тебя послушала, и напрасно.

— Глупыш, это необходимо — говорить, говорить, говорить... Потому что когда от тебя ничего не останется, ты, может быть, захочешь все вернуть, и — не сможешь.

— Но почему же, Би? Ведь ты сама вчера сказала: попробуй сначала изменить только руки; если передумаешь, я сделаю их такими же, как прежде.

— Ничего не возвращается, чтобы стать, как прежде. И руки твои будут прежнего цвета и формы, но они один день были другими. В них навсегда останется память о том, что целые сутки они были гибкими, смуглыми руками южанки. И потом...

— Что — потом, Би?

— Ладно, не будем все сначала.

— Тогда, пожалуйста, Би, сделай меня совсем другой. Чтобы ни одна черточка не напоминала о том, какой я была прежде.

— Нет ничего проще. И все-таки потом... Потом ты, может быть, попросишь меня вернуть тебе твой прежний вид, но будет поздно.

— Ты — о себе, Би?

— Конечно, глупыш. Ведь я вижу его почти каждый

день. Он и не подозревает, что я — это я. Сейчас я ему не нужна, ни прежняя, ни нынешняя.

— Значит, все было правильно.

— Ничего не правильно. Все еще можно было склеить. А я поторопилась. Глупо все получилось, сгоряча и вдребезги. Так что подумай еще, глупыш.

— Кто же из нас глупыш?

— Ты, потому что сейчас ты торопишься.

— Би, пожалуйста, не уговаривай меня больше, потому что сейчас у меня еще есть силы хоть что-нибудь сделать, а скоро и сил этих не будет. Если бы ты только знала, как это страшно — когда ему все равно, абсолютно все равно, что бы я ни сделала. Одна и та же усталая насмешливость. Это равнодушие впитывает все мои силы, всю кровь, всю жизнь. Еще немного — и от меня останется одна пустая шкурка, съежившаяся кожица. Сделай меня новой, Би, я куда-нибудь уйду, спрячусь и, может быть, оживу. Пожалуйста, сделай меня совсем другой.

— Если ему все равно, то зачем же — совсем?

— Потому что ему все равно, пока я с ним. Но когда я уйду, его будет мучить мысль о том, что кто-то другой целует мои руки, и губы, и волосы; и дотрагивается до меня, и все другое. И потом, уходить надо совсем — чтобы без случайных встреч, совпадений и неожиданностей в будущем. Не я это придумала и не сейчас.

— Да,— сказала Би,— не ты и не сейчас. Но даже когда лист отрывается от ветки или ежик теряет иголку, им больно. Давным-давно люди пытаются расставаться безболезненно, они перепробовали тысячи способов, и этот — всего лишь последний, но не думай, что наиболее удачный. Все равно больно.

— Знаю,— сказала Корели.— Но насовсем — это честнее. И мужественнее.

— И все-таки — подумай еще.

— Нет, Би, пожалуйста, Би, сделай, чтобы это было поскорее.

За спиной бесшумно поднималось тепло, нагнетаемое дверными калориферами, а впереди, по самому горбу уходящей за горизонт дорожки, апатично и безболезненно катилось по острому гравию маленькое вечернее солнышко. Узенький порог — граница домашнего тепла и вечерней пронизывающей сырости. Узенькая полоска, которая уже не твой дом и еще не тот мир, который лежит за пределами твоего дома. А ведь ты выбрал себе подходящее

место, ни о чем не думая, ты выбрал себе удивительно точное место — на границе того дома, из которого ушла твоя жена, и того мира, в котором она теперь будет жить без тебя.

Сит вытянул ноги, он сидит на пороге пустого дома, теплые гладкие языки вылизывают ему спину.

Село солнце.

Сит просидел еще долго, и ноги его, длинные, как тени, совсем закоченели на уже покрывшейся инеем дорожке; тогда он встал и сделал несколько шагов вперед, чтобы размяться и согреться, но, перестав ощущать за спиной привычную теплоту жилья, он вдруг разом утратил прежнюю раздвоенность и понял, что нет больше дома, из которого Корели ушла, и мира, который есть все остальное, кроме этого дома,— мира, где она пребывает ныне; он, наконец, осознал, что то и другое не разделены больше узеньким порогом — его прежней Корели одинаково не было нигде.

Сит вернулся в дом и долго искал теплую ночную одежду — последнее время они с Корели никуда не выходили по вечерам. Они с Корели... «О, черт,— подумал Сит,— вот уже и «мы с Корели». Вранье это. Добрая ложь, как над покойником». Все эти четыре года для него существовало только «я не выходил по вечерам». Что же делала Корели? Может быть, иногда она и уходила. Одна. Он не замечал. А теперь — «мы с Корели». Нет, подумать, как трогательно. И это тогда, когда ее уже нет.

Он, наконец, оделся и пошел по дорожке прямо туда, где только что закатилось солнце. Он шел очень долго, не сворачивая к гаражу, шел, пока впереди не засветились огни центра. И весь этот длинный путь он пытался вспомнить, уходила ли Корели по вечерам, а если и уходила, то что при этом надевала. Но сама одежда не была для него доказательством достоверности ее вечерних прогулок — нет, просто ему хотелось с предельной точностью увидеть, как его жена двигается по комнате, и раздевается, и одевается, и все другое; и тоненькая фигурка жены послушно маячила перед ним в полутьме и все надевала и снимала, надевала и снимала все те одежды, которые действительно у нее были, а потом и те, что Сит придумал; но когда он подошел к самым первым домам центра, вдруг что-то словно оборвалось, и созданная его собственным воображением картина перестала ему повиноваться, отделилась от плоскости его видений и двинулась ему навст-

речу, запрокинув голову и высоко подняв худенькие острые локти, как это делают женщины, когда им нужно что-нибудь застегнуть сзади на спине.

Сит задохнулся и закрыл глаза. Подумать только, ее больше нет. Нет ее больше — такой. Подумать только. Как будто об этом можно думать. Это если женщина вспоминает мужчину, она помнит его ум, его тело и душу его ума. Но когда мужчина вспоминает женщину, он вспоминает и тело ее, и ум, и душу ее ума, и душу ее тела... Ох, не то, все не то! Только душу ее тела вспоминает он, если это была такая женщина, как Корели. Разве это память мысли?

Сит приоткрыл глаза, глотнул, собираясь с силами, чтобы снова пойти вперед. Странно, как ему не приходило в голову, что от Корели еще что-то осталось и это «что-то», запаянное в капсулу чужого тела, живет, и двигается, и скорее всего думает сейчас о нем. Малюсенькое такое «что-то». Ах, черт, что же ты сделала, Корели, как же ты убила душу своего тела! Он подумал еще раз, что малюсенькое «что-то» думает сейчас о нем, и часть прежней уверенности вернулась к нему. Не разлюбила ведь, миленькая моя. Устала, не выдержала, а ведь любит. Решила спасать душу своего ума. Ты еще пожалеешь, миленькая моя.

Он перестал думать об этом, малюсеньком, и вошел в центр уже совсем прежним.

К нему подошла девочка и села рядом, положив локти на мокрую стойку. Сит скосил глаза и начал думать, поздороваться ему с ней или это излишне, и еще он понял, что не случайно забрел в этот тихий замызганный бар, а выбрал его потому, что здесь принято разговаривать с посетителями. Он был здесь не впервые, но до сих пор хозяин не высылал к нему никого. Было видно, что ему этого не надо. А сейчас вот подошла, совсем глупый ребенок, и округлые локотки под узеньким рукавом, намокшим снизу.

— Один? — спросила девочка и носком туфли пошевелила теплую куртку Сита, валявшуюся на полу.

— Один,— медленно ответил Сит.

— Совсем? — переспросила она.

— Совсем,— сказал Сит, с трудом отлепляя губы от края стакана.

— Ка-кой! — протянула девочка.— А почему ты один?

Сит вдруг подумал, что бывают такие минуты, когда ты совершенно беззащитен и кто угодно может влезть в тебя и вытянуть самое сокровенное, и ты сопротивляться не сможешь. Он совершенно точно знал это о себе и подозревал, что и у других так бывает.

— У меня ушла жена.

Девочка положила подбородок на руки и стала смотреть на него широко раскрывшимися глазами.

— Совсем?

Сит кивнул.

— Стала... другой? — спросила девочка почти шепотом.

Сит снова кивнул.

— А это очень больно?

— Да,— сказал Сит, хотя ему и в голову не приходило, как же это на самом деле люди становятся неузнаваемыми.— Да. Это... Это так, словно с тебя сдирают кожу. И по голому мясу красят другой краской, чтобы непохоже было. А волосы наматывают...

— Ой, не надо, пожалуйста, не надо, а то я убегу, а хозяин...

Ну да, она расплачется и убежит, а хозяин ее выгонит. И всем будет хуже. Вот что ты натворила, Корели.

Девочка подняла куртку, встряхнула ее и положила Ситу на колени. Он машинально следил за ее движениями, безотчетно думая о том, что ни в чем она не напоминает ему Корели. Хотя, если уж меняться, то именно так, до неправдоподобия, до парадокса; и ведь она еще любит его, ну конечно же, любит, и знает, что ему худо, хуже некуда, и ее неминуемо потянет узнать, что с ним и кто с ним и, уповая на свою неузнанность, она пойдет навстречу ему...

И уже не существовало ничего, абсолютно ничего на всем свете, кроме этого огромного и жалкого: «а если?..»

Сит тихонько наклонился и осторожно, чтоб не напугать, чтоб не убежала, спросил:

— Ты бывала на самом севере?

— Ага,— сказала девочка,— совсем недавно.

— Там белые птицы.

— Да, мы видели.

— И снег.

— Да, глубокий, вот досюда.

— И звезды, такие яркие...

— Да, большие,— сказала она.

— А ты помнишь, какие именно?

Она покрутила головой, отыскивая то, с чем можно было бы сравнить звезды; ничего не нашла.

— Вот такие,— сказала она, отмеряя половину мизинца и показывая ему.— Вот.

— Они были такие яркие, что отражались в снегу,— горько сказал он.

— Наверное,— доверчиво согласилась она.

К середине этой ночи от него не осталось уже ничего прежнего. Отрезвевший и опустошенный, он брел по бесконечным улицам окраин, отыскивая последние ночные бары. Если ему попадалась отпертая дверь, он входил и, торопливо озираясь, находил ту, которая меньше всего походила на прежнюю Корели. Тогда он подзывал ее и говорил ей: «Холодно». И она отвечала: «Да, на улице холодно, но мы закрываем». Мучаясь раз от раза все больше, он говорил: «Холодно, как на севере, ты бывала на севере?» Она что-нибудь отвечала, но он продолжал: «Там белые птицы, и снег, и звезды». Она снова отвечала ему что-нибудь, все равно что, и он, не в силах уйти, не задав этого вопроса, спрашивал: «А ты помнишь, какие это были звезды?..»

А потом приходилось вставать и уходить, и он снова брел по затворенным от него улицам ночных окраин, и путь его был бесконечен.

В. КОЛУПАЕВ

Самый большой дом

Девочка проснулась, но лежала не шевелясь и не открывая глаз. Ручонки вцепились в простыню. Ее разбудила тишина, которая была только во сне. Потом девочка осторожно открыла глаза и увидела над собой лицо мамы.

Утро еще не наступило, только чуть посветлел восток. Едва заметный ветерок слегка шевелил мамины волосы.

— Что с тобой, доченька?

Девочка потянулась к маме и обняла ее за шею.

— Хорошо дома...

— Хорошо. Ты спи. Еще рано.

— Я не хочу спать. Там тишина, а потом пусто, и я просыпаюсь.

— Хочешь, я посижу с тобой?

— Посиди и спой песенку. Помнишь, которую ты мне пела, когда папа ремонтировал отражатели и у него заело трос, и он никак не мог попасть к нам? Про самый большой дом.

— Я спою тебе другую. Про лес и солнце.

— А ту ты уже не помнишь?

Мама чуть покачала головой и погладила девочку по черным, рассыпавшимся по подушке волосам. Она не забыла эту песенку. Она не знала ее. Она не знала почти ничего, что касалось ее дочери.

Да и кто это знал? Мама чувствовала себя виноватой перед девочкой.

— Закрой глаза, хорошая моя. Я буду тихо-тихо петь. А ты ни о чем не думай. Просто слушай.

И мама запела. У нее был низкий и ласковый голос. И, наверное, она любила эту песню. Девочка заложила руки за голову и, не мигая, смотрела маме в глаза. Так они и смотрели друг на друга. И одна из них пела, а другая слушала и молчала. А потом мама вдруг поняла, что девочка не видит ее, что она смотрит сквозь нее, что в мыс-

лях своих она не на этой увитой цветами веранде, а где-то далеко-далеко...

...Едва заметное привычное тиканье. Оно настолько привычно, что без него стало бы страшно. Без него абсолютная тишина. Это ласково тикает индикатор нормальной работы всех жизнеобеспечивающих систем корабля. Девочка сидит в глубоком кресле рядом с креслом отца и играет самодельной куклой. Куклу сделала ей мама из обрезков своих старых платьев, которые не пошли на одежду самой девочке.

Отец хмуро вглядывается в индикаторы приборов, снова и снова вводит в математическую машину колонки цифр, изменяет программу и, дождавшись ответа, составляет новую. Обзорный экран открыт только на одну треть, и в него видны тусклые точки звезд. Туда, к одной из них, мчится корабль.

— Там наш дом,— внезапно говорит девочка и показывает рукой в самый центр экрана.

— Да, маленькая. Там наш дом.

Девочка привыкла показывать в центр экрана. Так ее научили отец и мать. Так было раньше. Но сейчас ее палец указывал на какую-то другую звезду, которая теперь была в центре экрана. Отец ничего не говорил ей о том, что корабль потерял управление. Ей это не нужно было знать. Да она ничего бы и не поняла.

— Эльфа, тебе не скучно сидеть здесь?

— Нет, па... Я учусь быть капитаном большого-пребольшого корабля.

«Нет, доченька, я постараюсь, чтобы ты никогда не улетела с Земли»,— думает отец.

А мама спит. Четыре часа сна. Потом четыре часа они все будут вместе. Потом заснет на четыре часа папа. И Эльфа вместе с ним.

И тогда мама будет решать головоломку: как повернуть корабль к Земле.

Дверь открылась, и на пороге появилась мама. Ох, как красиво она была одета! Она все время меняла платья, комбинировала что-то, перешивала. А волосы у мамы рассыпались по плечам, и узенький золотой ободок пересекает лоб.

Мама сейчас похожа на добрую волшебницу из сказки. Девочка так и говорит:

— Ты сейчас волшебница?

— Она у нас волшебница,— радостно подхватывает папа.— Правда ведь?

— Правда, правда!

— А если правда,— говорит мама,— то закройте глаза.

Капитан и его дочь закрывают глаза, и у них в руках вдруг оказывается по яблоку.

Эльфа даже чуть повизгивает от восторга. А папа незаметно шепчет. Он, кажется, даже немного сердит.

— Ты опять не спала?

— Нет, нет. Я спала. А потом была в оранжерее.— Она смотрит на него умоляюще.— Ничего?

— Нет.

Мама, наверное, любит петь. Уже почти совсем рассвело, а она все гладит девочку по головке длинными ласковыми пальцами и поет. Поет про смешных зверюшек и ручеек, голубой-голубой, чистый-чистый. Девочка вдруг чуть приподнимается на локте.

— Мама, ты говорила, что у нашего дома будет голубой потолок... и черный.

Мама чуть было не сказала: «Разве я так говорила?»,— но вовремя спохватилась.

— Хорошо, доченька. У нас будет голубой потолок. А ночью, когда темно, он будет черным.

— Со светлячками?

— Со светлячками? Ну конечно, со светлячками.

— И по голубому будут плыть белые кудри?

— Да,— согласилась мама и подумала, что это можно будет сделать.

— А иногда потолок будет разрываться пополам?

— Все будет, как ты захочешь.

— А у нас правда самый большой дом?

— Ну не совсем. Есть и больше. А тебе хочется жить в самом большом доме?

— Ты говорила, что я буду жить в самом большом доме.

— Людям лучше жить в маленьких домах. Таких, как наш. Чтобы кругом был лес, трава и речка, и обрыв над речкой. А в лесу...

— Да, так лучше. Только ты говорила...

— Спи. Еще можно поспать. Еще только светает и очень рано. А утром мы пойдем с тобой на ферму. Ты ведь видела, как доят коров?

— Да, я пойду.— Девочка села в кровати. Ночная рубашка спустилась с ее худенького плеча, но она не заметила, не поправила ее.— Я пойду. Я хочу идти. Ты отпустишь меня, мама?

— Я отпущу тебя, только сначала мы попьем молока... Значит, тебе не понравилось у меня?

— Мне очень понравилось у тебя. Но я хочу идти. Я хочу посмотреть на другие дома. Ты ведь не обиделась, мама?

— Нет, нет. Но мне очень не хочется отпускать тебя.

Девочка оделась. Они вдвоем выпили молока, и Эльфа, осторожно ступая по чуть влажному от росы песку, дошла до садовой калитки и помахала маме рукой:

— Я пошла!

Девочка ушла, и тогда женщина повернула небольшой диск на браслете.

Диск вспыхнул и матово засветился.

— Главного воспитателя,— сказала женщина.

На экране тотчас же возникло лицо мужчины.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Она... она ушла,— сказала женщина.

А девочка шла по проселочной дороге, иногда поднимая голову вверх и смотря на звезды, угасающие в летнем утре...

...Капитан последнее время появлялся в рубке корабля редко. Эльфа вообще стала видеть его редко. И, когда он все же появлялся, весь замасленный и испачканный металлической пылью, она тотчас же взбиралась ему на колени, не давая даже умыться. Он играл с ней, потом осторожно снимал с колен, наскоро мыл руки и исчезал. Теперь Эльфа почти все время проводила с мамой.

Потом начались странные события. Сначала отец вынес ее диван в маленькую библиотеку, а мама сказала, что она будет спать здесь. Эльфа только на миг представила себе, как ее окружает темнота, и залилась слезами. Отец впервые строго посмотрел на нее, она по-детски удивилась этому и успокоилась. Ей казалось, что первую ночь она не спала. Но приборы, датчики которых папа предварительно

вмонтировал в диван, показали, что она плакала лишь пятнадцать минут и сразу же уснула.

А однажды отец и мать посадили ее в кресло за небольшим круглым столом в зале отдыха и сказали, что она уже почти взрослая. (Ей и вправду было уже шесть лет.) И, чтобы проверить, насколько же она взрослая, они решили запереть ее в библиотеке на неделю. Неделю она не должна видеть их. Мама пыталась было что-то сказать про три или четыре дня, но папа был тверд: неделю.

— Это очень нужно? — спросила Эльфа.

— Очень,— сказал папа.

— Я хочу, чтобы ты увидела наш дом,— сказала мама.

— Куклы вы у меня не отберете?

— Нет,— сказал папа.— Ты можешь взять с собой все, что захочешь. Мы просто решили проверить твою храбрость.

На следующий день ее заперли в библиотеке. Сначала ей нисколечко не было страшно. Было даже интересно. Потом стало немного скучно. А к вечеру она расплакалась, но к ней никто не пришел. Отец в это время что-то сверлил в небольшой мастерской, расположенной в подсобных помещениях корабля. А мама сидела за вычислительной машиной. Рядом с пультом был установлен небольшой телевизор, на экране которого плакала девочка. И чем больше она плакала, тем больше морщинок появлялось на мамином лице, но она продолжала заниматься вычислениями. Иногда ее вызывал по телефону капитан и спрашивал:

— Ну как вы там? Держитесь?

— Держимся,— бодро отвечала она.

— Ради нее держитесь обе.

Через неделю Эльфа вышла из библиотеки. Отец носил ее на руках, а мама все время говорила:

— Теперь все будет хорошо. Я верю, что все будет хорошо.

После недельного затворничества Эльфа будто и вправду повзрослела. Мама учила ее мыть посуду, готовить пока еще нехитрые обеды, стирать под краном платьица. Она учила ее читать и писать.

А однажды Эльфа с отцом вышла из корабля. В скафандрах, конечно.

Они долго неслись в пустоте, то удаляясь от корабля, то вновь приближаясь к нему.

— Ты не боишься остаться здесь одна? — спросил ее отец.

— Нет,— храбро ответила девочка.

В десять часов утра Эльфа подошла к стоянке глайдеров. Она протопала несколько километров и немного устала, хотя ей и нравилось идти по полям и лесочкам, разговаривать со встречными людьми и спрашивать их, не знают ли они, где находится самый большой дом — ее дом. Если ей отвечали, что знают, где такой дом, она начинала расспрашивать о нем. Нет, это все были другие дома, не такие, о каком рассказывала мама. Но она не отчаивалась, потому что кругом было весело, желтое-прежелтое, ослепительное солнце сияло в голубом небе, а кругом были цветы, незнакомые, красивые, названия которых она еще не знала.

И всегда, стоило ей захотеть, рядом оказывались мама или папа.

На стоянке глайдеров было только две машины. В одну грузили какие-то большие ящики, вторая уже была готова взлететь.

Эльфа смело подошла ко второй и знаками попросила пилота открыть дверцу.

— Эльфа! — удивился тот.— Ты откуда здесь взялась?

— Пап, я хочу с тобой полетать.

— Полетать? Это хорошо. Это можно. Но ведь я оказался здесь случайно и больше не вернусь сюда. Придется тебя потом с кем-нибудь отправить.

— Я останусь с тобой, папа.

— Со мной? Ты это твердо решила?

— Нет еще, но у тебя красивая машина.

— Ну хорошо. Садись.

Он осторожно поднял Эльфу в кабину, захлопнул дверцу. Глайдер взмыл в небо.

Пилот показал рукой вправо и вниз и, когда девочка прильнула к стеклу, рассматривая с детским восторгом то, на что ей указали, осторожно повернул диск на браслете левой руки. Диск заблестел, заискрился.

— Главного воспитателя,— сказал пилот.

На маленьком матовом экране появилось лицо человека.

— Она у меня в кабине,— сказал пилот.— Глайдер ти-

па «Божья коровка» № 19-19. Лечу в таежный поселок на Алдане.

Человек на экране улыбнулся:

— Ну что ж. Придется тебе везти ее туда. Мы предупредим людей поселка. Как она тебя называет?

— Папой...

— Спрашивала про самый большой дом?

— Нет еще... А его так и не разыскали?

— Нет,— покачал головой главный воспитатель.— Ведь она не знает, где он был. Да и был ли он вообще? Скорее всего это какая-то детская гипербола. Жаль, что это становится ее навязчивой идеей... Но пусть пока путешествует. Благодарю за сообщение.

Эльфа с удивлением смотрела вниз на зеленые пятна лесов, слегка пожелтевшие поля, синие прожилки рек и крапинки озер.

— Это ковер? — спросила она.

— Где?.. А... Вот это? Очень похоже на ковер. Тебе нравится?

— Мне нравится. Это очень похоже на мой дом.

В таежном поселке глайдер сразу же обступили геологи. Они уже знали о прибытии Эльфы.

— Здравствуй, мама,— сказала Эльфа невысокой женщине, одетой в голубой комбинезон. У женщины были черные живые глаза, загорелое лицо и короткие черные волосы.

— Здравствуй, доченька...

...Мама тогда тоже была в голубом комбинезоне. Она всегда появлялась в нем, прежде чем надеть скафандр. И отец был в голубом. Последние дни они оба подолгу оставались с ней. Отец играл с Эльфой, часто сажал ее в маленькую одноместную ракетку, рассказывал, зачем здесь разные рычажки, кнопки, разноцветные глазки. Она уже разбиралась во всем этом, вернее, просто все запоминала своим еще детским умом. Во всяком случае, она могла водить ракетку. Несколько раз она стартовала с корабля, удаляясь от него на сотню километров, и там делала развороты, меняла ускорение, тормозила и снова возвращалась к кораблю. Управление ракеткой, конечно, дублировалось с корабля.

Отец был необычайно ласков с нею. И мама... Она будто все время сдерживала слезы. Словно ждала чего-то. Ждала и боялась.

И вот однажды отец сказал:

— Сегодня.

Они снова усадили ее в кресло в библиотеке. А сами сели напротив, совсем рядом, чтобы можно было держать ее руки в своих.

— Эльфа,— сказал отец.— Ты уже взрослая девочка. Помнишь, мама рассказывала тебе о самом большом доме?

— Она мне про него пела.

— И пела про него. Это твой дом. Ты должна жить в нем. И ты туда полетишь в маленькой ракетке, в которой ты уже столько раз летала.

Девочка радостно захлопала в ладоши. Она так хотела увидеть этот дом!

— Ты будешь лететь одна. И ты будешь лететь долго-долго. Но ты ведь не боишься лететь одна?

— Нет,— храбро ответила девочка.

— Ну и молодец. Ты не должна скучать. Я сделал тебе маленького смешного человечка. Он умеет ходить и даже разговаривать, хотя и не очень хорошо. Ты возьмешь его с собой.

— А вы? Почему вы не полетите со мной?

— Но ведь ракетка рассчитана только на одного человека. Да и потом, нам нужно работать. Так ведь? — обратился он к жене.

Она не смогла ответить, только стиснула руку девочке да сглотнула комок в горле.

— Но вы прилетите позже?

— Да, да. Мы постараемся. Но пока нас не будет, у тебя дома будет другая мама и другой папа. Ты их сама выберешь.

— А они будут такие же хорошие, как и вы?

— Эльфа, ты их сама выберешь.

Девочка неуверенно кивнула головой.

— Ты умеешь делать все, что тебе нужно. А когда ты подлетишь к Земле, тебя встретят. Тебя обязательно встретят.

И вот она уже сидит в ракетке. Рядом с ней маленький смешной человечек — робот. На коленях кукла. Над головой пространство в полметра. Перед ней пульт, некоторые ручки и тумблеры которого закрыты колпачками, чтобы Эльфа не могла их случайно задеть.

В ракетке все предусмотрено. Запасы пищи, воды и воздуха. Книги, написанные от руки, которые сделала са-

ма мама. Бумага, карандаши. Маленький эспандер, чтобы развивать мускулы рук, и велосипед, прикрепленный к полу. Всего четыре кубических метра пространства.

— Ведь ей всего должно хватить? — в который уже раз спрашивает мама у капитана.

— Ей хватит всего на полтора года. Но ее должны встретить раньше. Через четыреста дней.

— Она не...

— Она не пройдет мимо Солнца. Я считал все много раз, да и ты проверяла.

— Да, проверяла...

Под креслом ракетки небольшой ящичек с бумагами и микропленками. Это их отчет об экспедиции. Экспедиции, в которую они вылетели вдвоем. Они сделали все, что было нужно. Вот только не могут вернуться на Землю, в свой дом.

Но она, Эльфа, должна увидеть Землю.

Почти год отец переделывал эту маленькую ракетку, последнюю из трех, когда-то имевшихся на корабле. Он предусмотрел все.

Мама едва сдерживается. Как только ракетка стартует, она упадет, не выдержит, забьется в плаче. Ведь она никогда больше не увидит свою дочь.

— Пора,— говорит папа. И движения его стали какими-то неестественными, угловатыми.— Эльфа, ты летишь к себе домой. Это твой дом. Самый большой дом в целом мире, во всей Вселенной...

— Эльфа...— шепчет мама.

— У него голубой потолок? — спрашивает Эльфа.

— Да, да, да! — отвечает мама.— И по голубому потолку плывут белые облака, похожие на кудри! А ночью он... черный... и светлячки...

— Эльфа. До свидания, маленькая моя девочка. Будь мужественной.

— Эльфа...— это сказала мама.

И вот Эльфа уже сидит в ракетке.

— Старт,— говорит отец и нажимает кнопку на пульте.

Короткая молния срывается с обшивки корабля и уходит в сторону Солнца.

Мама не плачет, она просто не может плакать, не в силах. Плачет отец.

Неуправляемый корабль мчится вперед, куда-то далеко от Солнца.

— Сейчас мы будем обедать,— говорит женщина в голубом комбинезоне.— Прямо под открытым небом, у костра. Ты еще ни разу не сидела возле костра?

— Нет,— отвечает Эльфа.

— А потом мы пойдем в горы и встретим медведя.

— Настоящего?! — спрашивает девочка, а у самой от нетерпения горят глазенки.

— Настоящего.

— Пойдем сразу, мама.

— Нет, доченька. Надо сначала набраться сил.

А вся геологическая партия стоит вокруг и улыбается. Здоровенные парни в выцветших комбинезонах и совсем молодые девчонки.

— А правда ведь, что внизу ковер, когда летишь на глайдере? — спрашивает она всех.

— Правда,— отвечает пилот.— И когда идешь, тоже ковер. Смотри, какой ковер из брусники. Красивый, правда?

— Красивый,— отвечает Эльфа и садится на корточки и осторожно гладит жесткие мелкие листики.— А правда, что небо похоже на голубой потолок? Помнишь, мама, ты мне рассказывала о самом большом доме?

— Помню,— на всякий случай говорит женщина в голубом комбинезоне. Но она почти ничего не знает об этой девочке. Да и кто о ней знает больше? Разве что главный воспитатель Земли...

...«Возьмите меня на борт! Возьмите меня на борт!» Такие сигналы услышали однажды несколько кораблей в окрестностях Плутона. Чей-то спокойный мужской голос повторял: «Возьмите меня на борт!»

Один из кораблей изменил курс и принял маленькую, неизвестно как здесь оказавшуюся ракетку. В ракетке не было мужчины. Его голос был записан на магнитопленку. В ракетке была маленькая девочка.

— Я хочу домой, папа,— устало сказала она седеющему капитану грузового корабля, который подобрал ее.

— Где же твой дом, крошка?

— У меня самый большой дом.

А потом, уже на Земле, с ней разговаривал главный воспитатель. Девочка была удивительно развита для своих

семи с половиной лет. Она многое знала, многое умела. На лету схватывала все, что ей объясняли. Но две странности были у нее. Она вдруг неожиданно для всех называла какого-нибудь мужчину папой, а какую-нибудь женщину — мамой. Проходил день, и у нее уже были другой папа и другая мама. И еще. Она все время просила показать ей ее дом, самый большой дом.

Совет воспитателей навел справки о ее настоящих родителях. Нет, у них никогда не было большого дома. Вообще никакого дома не было. Прямо из школы астролетчиков они ушли в Дальний поиск.

— Я буду искать свой дом,— заявила Эльфа и ушла от главного воспитателя. Тот ее не удерживал. Он сделал единственное: каждый человек на Земле теперь знал, что Эльфа ищет свой дом. Все обязаны были ей помогать. Каждый должен был заменить ей отца и мать.

— А правда, что крыша дома может загрохотать и сверкнуть? — спрашивает Эльфа.

— Ну нет,— сказал кто-то.— Крыши сейчас очень прочные.

— Правда,— вдруг сказал пилот глайдера.— Может. Вот будет гроза, и ты сама увидишь.

— Это страшно?

— Страшновато, но очень красиво.

— А правда, что стены дома раздвигаются, когда ты к ним приближаешься?

— Вот смехота-то...— шепнул кто-то, но на него недовольно зашикали, и он замолк.

— Правда,— сказал пилот.— Вон видишь ту стену, за горой? Мы будем подлетать к ней, а она будет отодвигаться дальше. И сколько бы мы за ней ни гнались, она будет отодвигаться все дальше и дальше.

— Это очень похоже на то, что ты мне рассказывала о самом большом доме, о моем доме,— сказала Эльфа женщине в голубом.

— Так это же и есть твой дом. Вся Земля — твой дом. Это самый большой дом во всем мире, во всей Вселенной.

— Да, ты так мне и говорила...

А вечером, когда они спустились с гор к костру, небо уже потемнело.

Женщина спросила:

— Ты ведь не уйдешь от меня? Ты останешься со своей мамой?

— Мама,— ответила девочка,— я вернусь. Но сначала я хочу посмотреть свой дом. Я хочу осмотреть его весь.

А утром Эльфа снова была в глайдере. И когда он долетел до горы, она крикнула пилоту:

— Смотри, папа, стены моего дома раздвигаются!

СОДЕРЖАНИЕ

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Сборник

Составитель Вл. Гаков

Главный отраслевой редактор *В. П. Демьянов*
Редактор *В. М. Климачева*
Мл. редактор *Н. А. Васильева*
Художник *А. А. Огурцов*
Худож. редактор *М. А. Бабичева*
Техн. редактор *Л. А. Солнцева*
Корректор *В. И. Гуляева*

ИБ № 7561

Сдано в набор 25.03.85. Подписано к печати 13.09.85. А 09036. Формат бумаги 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,69. Уч.-изд. л. 19,09. Тираж 150 000 экз. Заказ 5-323. Цена 1 р. 20 к. Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 857729.

Киевская книжная фабрика, 252054, Киев-54, ул. Воровского, 24.

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В 1978 году издательство «Знание» приступило к выпуску книг Библиотеки «Знание». В Библиотеку включаются наиболее интересные из научно-популярных произведений, изданных нами в разные годы. Это книги по различным отраслям знаний, получившие широкое читательское признание, одобрение научной общественности.

Так, в Библиотеке «Знание» вышли или выйдут в ближайшее время следующие книги:

Володин Б. Г. И тогда возникла мысль... (Развитие учения о клетке).

Демидов В. Е. Как мы видим то, что видим (О самых последних исследованиях советских ученых в области зрения).

Демьянов В. П. Геометрия и Марсельеза (О создателе начертательной геометрии и Политехнической школы, геометре и якобинце Гаспаре Монже и его эпохе).

Зуев В. А. Третий лик (О новейших исследованиях вирусологов).

Карцев В. П. Приключения великих уравнений (История открытия уравнений Максвелла).

Пекелис В. Д. Твои возможности, человек!

Хургин Я. И. Как объять необъятное (О теории вероятностей и математической статистике).

1р.20к.

научная фантастика